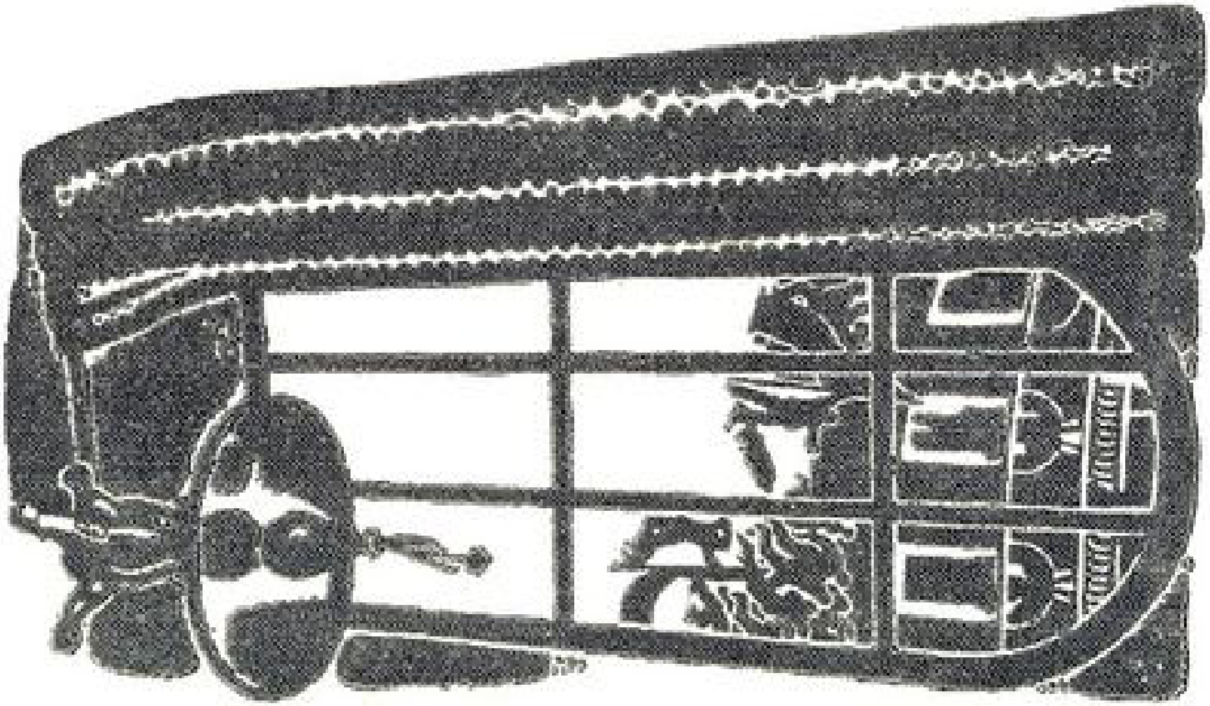
Кому вершить суд

ВЛАДИМИР БУДАНЦЕВ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

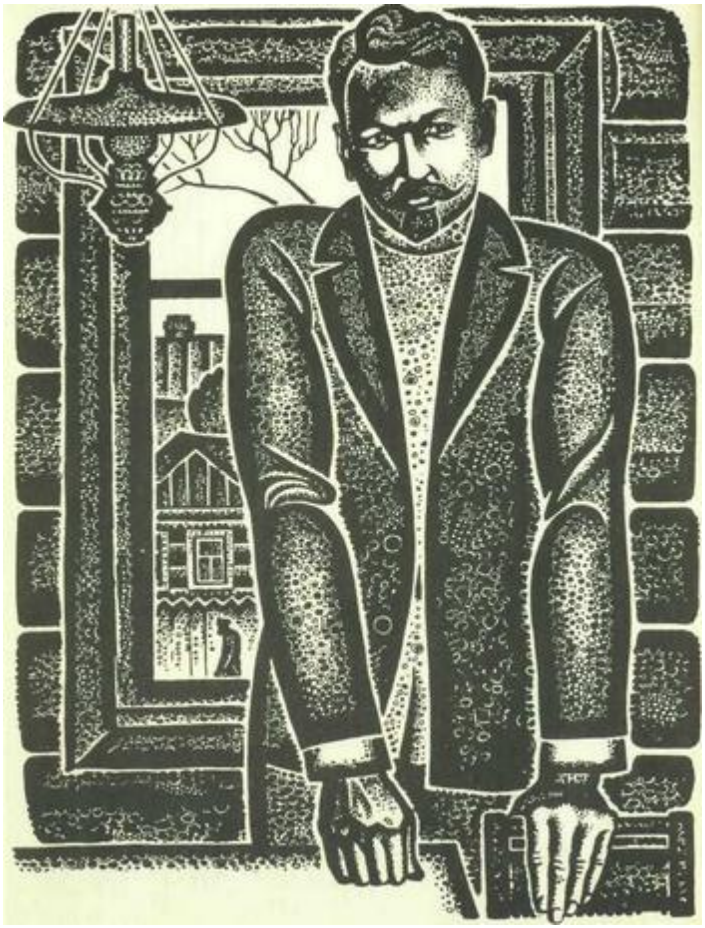
Владимир Буданин — юрист по образованию, на протяжении ряда лет занимавшийся практической работой. Поэтому закономерно, что герои двух его романов — «Путь без привала» и «От весны до весны», нескольких рассказов и очерков — советские судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, занятые трудным делом осуществления правосудия. Недавно вышедшая повесть В. Буданина «Море кипит» воспроизводит события Великой Отечественной войны и во многом автобиографична.

«Кому вершить суд» — первое историческое произведение автора. Это повесть о Петре Красикове, пламенном революционере, непоколебимом ленинце. Читатель встретится в книге также с ближайшими друзьями Красикова — Е. Д. Стасовой, П. И. Стучкой, П. Н. Лепешинским. Многие страницы повести посвящены В. И. Ленину, общение с которым определило направление всей жизни Петра Красикова.

Повесть выходит вторым изданием.

- Владимир Буданин
  -
  - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
  - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
  - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
  - ЭПИЛОГ
- notes
  - 1

Владимир Буданин
Кому вершить суд
Повесть о Петре Красикове



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
«Святой и правый»

I

Большую часть пути преодолели на перекладных, «по ниточке», как говорили сибиряки. Однообразная тряская дорога, стена тайги слева и справа, изредка проплывающие мимо освещенные солнцем поляны, еще более редкие деревни, речные переправы, неумолчный стук копыт — путешествие казалось бесконечным. Сменявшие друг друга бородатые возницы с темными, дубленными морозом и ветром лицами добродушно посмеивались, оглядываясь на молоденькую парочку, словно бы несколько испуганную и вместе с тем счастливую.

Петра смущали эти улыбки немолодых мужиков. Он еще не свыкся с положением женатого человека и, посматривая на краснеющую Викторию, чувствовал себя обязанным оградить ее от всяческих неудобств путешествия. Он брал руку жены, нежную и невесомую, и подбадривающе заглядывал в глаза. Странно все-таки это было: он — муж! Всего каких-нибудь месяца три тому назад он щеголял по Красноярску в гимназической форме и вообразить тогда не мог, что в его жизни может случиться (да еще так скоро!) нечто подобное. Началось все с той встречи в Батальонном переулке.

…По пути в Юдинскую библиотеку он повстречался с гимназическим приятелем Михаилом Трегубовым, сыном видного инженера с гадаловских промыслов. Михаил только окончил гимназию, собирался к осени в Петербург, в Технологический институт, а пока наслаждался свободой и правом разгуливать по городу без формы. Михаил вызвался проводить Петра до библиотеки. У католического костела Трегубов окликнул выпорхнувшую из толпы прихожан девушку в гимназическом платье. Она тряхнула коротко остриженными волосами, улыбнулась — губы у нее были полные и подвижные, а над верхней темнел пушок — и повернула к приятелям. В одной руке она держала толстую библию, в другой — зеленую веточку пихты. Она подала Михаилу руку, взглянула на Петра и почему-то смешалась.

Они скоро расстались. Петр глядел девушке вслед, испытывая странное волнение. Михаил усмехнулся:

— Зря глядишь. У Виктории ухажер имеется — адвокатский

сын Васька Кусков.

— Славная девушка. — Петр как бы и не услышал дружеского предостережения. — Непременно познакомлюсь поближе…

Виктория даже не удивилась, когда в Батальонном переулке перед ней внезапно возник едва знакомый гимназист, встреченный однажды в обществе Михаила. Петр смотрел на нее настороженно — не сомневался, она возмутится и прикажет оставить ее в покое. Но нет, Виктория словно бы желала этой встречи. Даже покраснела от радостного смущения. Однако спросила строго:

— Сознайтесь, вы нарочно здесь оказались?

— Каюсь, — в ответ засмеялся Петр, — караулил вас.

— Это мне нравится. — Она тоже засмеялась, как бы поощряя его. — Знаете что, приходите сюда завтра. Я буду свободна.

Они стали встречаться тайком от ее родителей. Она очень тревожилась, как бы они не дай бог не проведали об их с Петром встречах. Тогда все погибнет…

И вот сейчас они, окончив гимназию и обвенчавшись вопреки воле ее и его родни, едут учиться. Он — в Петербург, в университет, она — еще дальше, в Швейцарию. В России женщине получить высшее образование, по сути, невозможно.

На исходе второй недели они миновали деревянный, серый и пыльный Новониколаевск, и опять потекла навстречу знакомая дорога между зелеными стенами тайги. Однажды, проехав какое-то селение, они услышали приближающийся навстречу странный шум. Словно бы медленно катилось огромное металлическое колесо. Затем показалась большая колонна людей в арестантских полосатых одеждах, охраняемая вооруженными конвойными. Когда приблизились к звенящим кандалами этапникам-каторжанам, Петр увидел почти неживые лица, угасшие глаза, механические движения ног, волокущих железные цепи.

Они пронеслись мимо кандальников и как будто выскочили из тоннеля в солнечный мир. Петр посмотрел на Викторию. Она была бледна, в глазах у нее застыл ужас…

Петру вспомнилось одно давнее собрание ссыльных «политиков», когда в Красноярске только появился польский революционер Феликс Яковлевич Кон. Он рассказывал о трагедии в Карийской каторжной, тюрьме, откуда сам только освободился. Слушая его, Петр тогда живо вообразил, как в тюремном дворе караульные солдаты на глазах у арестантов порют розгами каторжанку Надежду Сигиду и худенькое тело ее извивается после каждого удара…

— Это же… Это же невозможно!.. Этих убийц самих надо на каторгу! Это не люди — варвары!.. — негодовал Петр, провожая

поздней ночью ссыльного студента Арсения.

— На каторгу? — усмехнулся Арсений. — Кто же, по-вашему, Петр, отправит их на каторгу? Те, кому они служат верой и правдой? Им, напротив, дадут в руки оружие и еще солдат вооруженных приставят, чтобы оберегали их драгоценные жизни.

— В таком случае их всех надо уничтожить…

Ямщик взмахнул кнутом. Лошади побежали резвее. Кандальный звон делался все глуше и глуше, пока вовсе не затих вдали…

Мысли уносили Петра Красикова вперед, в столицу, туда, где живут, ходят по университетским коридорам, собираются на сходки, ведут занятия в рабочих кружках те, кому посчастливилось встречаться с Александром Ульяновым, Василием Генераловым и другими первомартовцами восемьдесят седьмого года. Петр верил, что сойдется с ними, потому что они ищут единомышленников.

— Какая жизнь у нас впереди! — мечтал он вслух, склоняясь к Виктории. — Ученье в университетах, знакомства с необыкновенными людьми, борьба за справедливость. В этой борьбе мы с тобой всегда будем вместе, правда?

Виктория согласно кивала.

В Екатеринбурге пересели на поезд. В вагоне второго класса было удобно, хотя и чересчур шумно. Поскольку пассажиры публика по преимуществу не в меру любопытная, то на юных молодоженов глазели все кому не лень. Петр и Виктория сидели как на раскаленных угольях и не могли дождаться конца путешествия.

На Николаевском вокзале в Петербурге их встретил Михаил Трегубов, ныне уже студент-технолог второго курса. Встреча была сердечная. Михаил в прежние годы знался с друзьями Красикова, ездил с их компанией за Енисей, к «Столбам», бывал на собраниях «политиков», наравне со всеми произносил крамольные речи о губительности для России царского самодержавия.

Однако было в их нынешнем свидании на перроне и нечто удручавшее Петра. Ему казалось, что Трегубов удивлен столь ранним замужеством Виктории и не одобряет его.

Выяснив, что до отхода поезда на Вену осталось менее двух часов и что поэтому нет времени для прогулки по Петербургу, они взяли извозчика и отправились на Варшавский вокзал.

Состав уже был подан, и по перрону прогуливалась возбужденная публика: дамы в дорожных платьях, господа в мундирах различных ведомств или партикулярном платье, дети-гимназисты в форме, едущие, должно быть, домой после вакаций. Носильщики с форменными бляхами на груди и тяжеленными

чемоданами и саквояжами на спинах басили грозно: «Сторонись!»

У вагона Виктория расплакалась. Чтобы не стеснять их, Михаил отошел в сторонку, закурил. Вскоре ударил станционный колокол, прозвучала долгая трель свистка. Петр шел за поездом, пока не закончился перрон. А там остановился и долго смотрел вслед удаляющемуся составу…

Трегубов снимал комнату на Лиговке, неподалеку от Николаевского вокзала. Пролетка доехала до огромного серого здания, и Михаил понес наверх чемодан и сундучок Петра. Поднялись на третий этаж, вошли в просторную комнату с двумя высокими окнами, кроватью в алькове, двумя креслами и письменным столом. Одну стену закрывал большой книжный шкаф.

— Недурно устроились, господин студент, — оглядев помещение, сказал Петр. — Не предполагал…

— Да уж, как видишь. — Михаил слегка смутился. — Однако не думай, что все это я ради тебя. Увидишь, поди, кто здесь бывает.

Чтобы никто не мешал, Михаил запер дверь. Он был возбужден, разговорчив, смешлив. И Петр заразился его настроением. Вспоминали Красноярск, гимназию, друзей, Альберта и Бориса, ссыльного студента Арсения. И оба сознавали себя повзрослевшими, умудренными жизнью. Не ложились до поздней ночи. Уже начало светать, когда хозяин предложил гостю не съезжать от него вовсе. Места, мол, здесь довольно, и им вдвоем будет веселее. Петру было не по душе одалживаться. Но он прикинул, насколько это облегчит положение, принял в расчет заверения Михаила, что им, землякам, надо держаться друг друга, и согласился.

Уже под утро Михаил отправился к хозяевам на второй этаж и возвратился с подушкой, простынями, одеялом. Сказал: «Нешто мы не расстараемся?» — и принялся составлять стулья и кресло. Соорудил себе ложе, а Петру приказал располагаться на кровати. И после этого они еще некоторое время курили и вели разговор. Больше, правда, говорил Михаил. Он рассказывал о своих петербургских знакомых, обещал представить Петра Сибирскому землячеству, состоящему, по его словам, из самых замечательных столичных студентов — «это народ не чета нашим красноярским „политикам“», — и свести еще кое с кем. Он давал понять, что год в столице не прошел для него зря.

Уснул Михаил внезапно, на середине фразы.

А Петр еще довольно долго курил и думал. Трудно было свыкнуться с мыслью, что он на самом деле в Петербурге, что не сегодня-завтра станет студентом университета, войдет в

Сибирское землячество и познакомится с теми, кто совсем недавно представлялись ему существами высшего порядка, живущими в мире, недоступном пониманию простого смертного…

Вместе с тем только что смолкший голос Михаила, столь привычные уху сибиряка слова «однако», «поди», «нешто», сонное дыхание земляка — все это словно бы вырывало его из того чудесного мира, где ему надлежало теперь пребывать, и возвращало в бесконечно далекие края, откуда он добирался до столицы более трех недель. Вспомнился давно умерший отец, мама, сестры, дед, гимназические товарищи, тамошние ссыльные. И как ни был он счастлив, оказавшись в Петербурге, при воспоминании о доме приостановилось дыхание.

…С той поры, как он себя помнил, главным человеком в их семье был отец. Вспыльчивый, шумный, несдержанный в словах, Ананий Петрович громко изъяснялся, оглушительно кашлял, не имел обыкновения таиться от детей, когда бранился с женой, но был отходчив. Домашние прощали ему и яростные вспышки, и обидные слова. А вот чужие не оставляли без возмездия ни одного его прегрешения.

Вообще-то отец не принадлежал к роду людей удачливых. Никак не удавалось ему устроить семье достойную жизнь. Он казнился из-за своей неуживчивости, неумения ладить с начальством. На службе у него все что-то случалось. Из года в год покидали они обжитые места и отправлялись из одного сибирского города в другой искать «человеческого понимания». Для семьи это было весьма обременительно. Пете всякий раз надо было привыкать к новым гимназическим учителям и приятелям. Девочкам приходилось и того хуже — далеко не во всяком городе имелась женская гимназия.

Впервые судьба смилостивилась над ними в Енисейске. Отец оставил казенную службу и поступил учителем в частную гимназию Лютова. Стала болеть грудь, донимал кашель. По этой причине задиристости у него несколько поубавилось. Отношение со стороны Лютова к нему было гораздо более уважительное, нежели во всех прежних местах. И городом они с матерью были довольны. И с квартирой вышло удачно: три просторные светлые комнаты обходились дешевле, чем обыкновенно с них брали. И гимназия Лютова помещалась неподалеку. И дочерей учиться устроили.

Жить бы им и жить в Енисейске да и горя не знать. Но, видно, не были написаны им на роду благополучие и оседлость. Прослышал отец о небывалом казнокрадстве в Красноярске и позволил себе высказаться об этом с негодованием в учительской.

На его беду, оказалось, что губернский казначей Лютов, растративший более прочих, — родной брат владельца гимназии. За казначея, разумеется, вступились отцовские сослуживцы. Ему бы смолчать…

И вновь им предстояло по окончании учебного года отправиться на поиски «человеческого понимания». Мама была в отчаянии. Отец выглядел сконфуженным. Он стал больше курить, озлобленно кашлял и, вопреки обыкновению, смиренно выслушивал слезные укоры жены. Она твердила, что жизнь его никогда ничему не научит. Он печально улыбался и согласно кивал головой.

Однажды в конце зимы на их улице зазвенел ямщицкий колокольчик. Дети прильнули к окнам. Легкие сани, запряженные тройкой, остановились у калитки. Из саней выбрался важный поп в собольей шапке и куньей дохе поверх рясы. Спустя минуту на крыльце послышался стук обиваемых валенок.

Мама вышла в прихожую и обрадованно вскрикнула. За ней выбежали дети. В прихожей поп повесил на гвоздок доху и шапку и словно бы лишился недавней своей величественности. Петя тогда еще не знал, что это его дед, отец матери, красноярский соборный протоиерей Василий Дмитриевич Касьянов, и смотрел на него с равнодушным любопытством. Гость первым прошел в комнату, перекрестился на образ в углу, обнял дочь, трижды звучно поцеловал, затем принялся обнимать и целовать внуков. От него пахло ладаном и морозом, и был он по-иконному суров и тщедушен.

Дед всех одарил гостинцами. Внуку достался новенький учебник закона божьего, дочери и внучкам — пуховые платки. Затем дед долго рассматривал корешки немецких и французских книг, плотно уставленных в шкафу, что-то бормотал и осуждающе покачивал головой, не считая, должно быть, уместным выражать вслух свое неодобрение.

Когда стемнело, пришел отец. Мама, необыкновенно суетливая, зажгла лампу. Отец увидел идущего к нему деда, удивленно вскинул брови, но после секундного раздумья шагнул навстречу гостю.

После обеда взрослые закрылись в спальне. Петя, охваченный недобрыми предчувствиями, весь напрягся. Из-за двери доносилось недовольное ворчание деда, всхлипывая, о чем-то просила мать, зло гремел отец…

Потом они вышли, и отец, как всегда в минуты неудовольствия, стал шагать взад-вперед по столовой. Говорил о каких-то «потерявших совесть» людях, «преступниках по душевному облику и достойнейших членах общества по

положению». Он беспрерывно курил, жестикулировал и был красен от негодования. А дед широко сидел в кресле, хмурился и осуждающе покачивал головой, похожей на необлетевший одуванчик.

— Вы все крестным знамением осеняете! — Отец остановился перед ним, привычным движением распушил свою и без того пышную бороду, поднял кверху руку. — И добро, и мерзость — любой грех отпустите, только бы покой ваш не нарушился. За справедливость вступиться, как и преступление действительное осудить не посмеете. Вот вам, пожалуйста, новый порядок хранения казенных сумм: председатели земств воруют, директора разных казенных и частных акционерных обществ грабят и, наконец, казначей и управляющий банками руки в казну запускают. Да еще как! А вы молчите. Воры с положением для вас почтенные прихожане. Эх вы, слуги господни, пастыри!..

— Довольно! — Дед рявкнул так, что все в комнате обмерли. — Не пристало мне речи богохульные слушать. Не за тем сюда ехал!

В Красноярск к деду они перебрались после смерти отца.

На стену между окнами мама повесила фотографический портрет покойного. Отец словно бы поселился с ними и как бы наказывал — в свои шестнадцать Петр это понимал достаточно ясно — не свыкаться с ханжеством и показным благочестием соборного протоиерея.

Однажды мать сняла со степы портрет, положила на стол и беззвучно зарыдала. Закрытые глаза, влажные от слез щеки, скорбно сжатые губы объяснили Петру все обстоятельнее слов: дед потребовал, чтобы его дом не оскверняло изображение «вольтерьянца».

«Не позволит повесить на место — не стану здесь жить!» — вознегодовал Петр и отправился к деду.

Застал его на коленях у образов и одним духом выпалил все, что рвалось с языка. Старик недовольно стрельнул глазами из-под мохнатых бровей, но молитвы не прервал. А закончив ее, резво открыл комод, извлек из глубины красный сафьяновый альбом с серебряным крестом на переплете, порылся в нем и протянул внуку порыжевший от времени конверт.

— Почитай-ка. Письмо сие не мною, а его отцом было писано. Он, твой дед Петр Иванович, достойнейший был человек. Почитай да подумай.

На сложенном вчетверо, потертом на сгибах листе бумаги чернильные строки поблекли. Давней жизнью, чем-то затерянным в вечности повеяло на Петра от полуистлевшей бумаги.

«Получив откровенное письмо Ваше… о безобразной жизни

моего сына, совратившегося с доброго пути, я не в состоянии выразить всей моей горести… Не придумаю, что могу сделать к спасению этого заблудшего сына. Одно средство — скрепя сердце отказаться от него навсегда…»

Это было писано еще до рождения Петра деду Василию Дмитриевичу дедом Петром Ивановичем из Иркутска. Осуждал он совсем еще молодого сына. Ныне же этого сына не было в живых, а ему все еще не прощали каких-то давних грехов.

— Вот видишь, — убеждал дед, беря у внука конверт. — Родной отец предал его анафеме за богопротивные мысли. Посуди же, как мне, слуге господню, допустить, чтобы в моем доме красовалось изображение безбожника? Ты ведь уже не дитя несмышленое.

— Он мой отец, — упрямо сказал Петр. — Если ты не позволишь повесить портрет на место, не стану здесь жить. Уйду!

Дед посмотрел на него вопросительно, словно не расслышал сказанного. Но не переспросил, а, повернувшись к иконостасу, перекрестился, положил на место альбом, грузно опустился в кресло и некоторое время в задумчивости шевелил бровями. Затем поднялся со вздохом и заговорил стоя:

— Упрям ты и своенравен — весь в отца. Упрям и своенравен чрезмерно. Не к добру это, не к добру. Человеку в смирении жить следует, а не бунтовать, коль жизнь идет не по его прихоти. Натерпишься премного из-за гордыни своей. Укрощай себя, Петр.

Но портрет зятя все же позволил повесить на место…

Ему шел девятнадцатый год, когда он поступил в седьмой класс красноярской классической гимназии. Образование, полученное в Енисейске, было весьма скудно. Всего-то шесть классов в глухом заштатном городишке — чему там было научиться? А у них в семье — это пошло от покойного отца — за правило почиталось дать детям основательное образование.

Красноярская классическая гимназия во многих отношениях превосходила енисейскую. И здание, двухэтажное, каменное, с колоннами у входа, было внушительнее, и преподаватели, с бесстрастно-грозными лицами, в застегнутых на все пуговицы мундирах, — величественнее, и классы, светлые, с портретами царей и великих князей, — наряднее, и народу на переменах в коридорах было — не протолкнешься. Губернский город…

К новичку в классе несколько дней приглядывались, изучали. В этой настороженности угадывались годами утверждавшиеся традиции некоего сообщества, замкнутого и враждебного всему вне себя. Петр чувствовал себя чужаком, но и сам держался независимо и, замечая, что к нему пробуждается интерес, не

торопился завязывать знакомства. Замкнутость не отвечала его нраву, но уязвленное самолюбие оказалось сильнее.

Уже в первые дни Петр обратил внимание на беспокойного однокашника с клювоподобным носом. Его звали Альбертом Залкиндом, и был он словно обойден дружбой соучеников, хотя по отметкам шел первым в классе. У Альберта списывали домашние задания, он, сидя на первой парте, подсказывал «гибнущим» у доски. Это воспринималось как должное. Но на переменах Альберт обыкновенно оказывался в стороне от шумных забав сверстников и после уроков домой уходил один. Прочие же вырывались на Воскресенскую громогласной толпой.

Петр был признателен Альберту, когда тот на исходе второй недели заговорил с ним. Они вдвоем отправились после уроков к Енисею и долго бродили по берегу реки, по-осеннему потемневшей, нехотя омывающей прибрежные камни. Альберт расспрашивал о Енисейске, о порядках в тамошней гимназии, о книгах — любит ли Петр читать и где добывает литературу. Петра расположил этот странный, почему-то робеющий перед ним и вместе с тем несколько беззастенчивый однокашник, и он рассказывал об отце, получившем образование в университетах Петербурга и Гейдельберга и тратившем при жизни изрядную долю своего весьма скромного дохода на книги. Потому-то после его смерти у них осталась порядочная библиотека. Альберт же сознался, что ему с сестрой приходится тайком от отца бывать в библиотеке чудаковатого купца Юдина.

— Есть у нас в Красноярске такой удивительный библиофил. Состояние большое, сам не слишком образован, а вот на книги денег не жалеет. И души не чает в тех, кто пристрастен к чтению.

Альберт проводил Петра до Соборной площади. И тут, словно бы решившись, рассказал, что познакомился кое с кем из ссыльных «политиков» и надеется сойтись с ними более коротко. Поразительно образованные люди!

Разговор с Альбертом воодушевил Петра. Ему захотелось поделиться с ним своими мечтами. Рассказать о намерении закончить гимназию с медалью и, подобно отцу, продолжить образование за границей, изучить языки, добиться положения в обществе, чтобы никогда ни от кого не зависеть. Ни от кого, и прежде всего — от невежд, которые обыкновенно забирают власть над людьми. Но он ничего не сказал. Слишком уж потаенными были эти мечты…

Альберт стал частым гостем в деревянном флигеле, занимаемом Красиковыми. Гимназисты не уставали рыться в книжных завалах в чулане и на антресолях. Добывали чрезвычайно любопытные издания на немецком и французском

языках, привезенные когда-то из Гейдельберга отцом Петра. И все же чаще попадались им русские книги — старательно переплетенные комплекты «Современника», сочинения Гоголя, Писарева, Салтыкова-Щедрина, Успенского. Набрав порядочно книг, друзья забирались в угловую комнату флигеля либо в пустующий сарай и часами читали вслух.

Особенно нравились им умные статьи Писарева, отвечавшие настроениям гимназистов. Петр и Альберт несколько дней находились под впечатлением от вычитанной у него фразы, что «широкая нравственность… желает только, чтобы человек был самим собою, чтобы всякое чувство проявлялось свободно, без постороннего контроля и придуманных стеснений». А как по душе им были рассуждения Руссо из «Общественного договора» о праве и справедливости! Они по нескольку раз прочитывали те места, где шла речь о власти духа над телесными наклонностями, и верили, что люди способны устроить жизнь по разумному соглашению, договориться между собой так, чтобы никому не было нужды добиваться необходимого посредством насилия…

Сквозь щели в ставнях пробивался уже совершенно дневной свет. На сооруженной из кресла и стульев постели спал Михаил. А Петр все курил, стряхивая пепел в поставленное на пол у изголовья кровати блюдце. Ему хотелось уснуть — день впереди был трудный, а много ли сделаешь с тяжелой головой? Но сна все не было.

Осенью Альберт познакомил Петра с Борисом Чернявским, застенчивым, по-девичьи краснеющим шестиклассником. Выяснилось, что в доме Чернявских по вечерам собираются ссыльные, и теперь с помощью Бориса они надеялись получить доступ на эти собрания. Где еще было можно выяснить подробности о недавнем покушении на царя в Петербурге, о суде над новыми первомартовцами, о казни Александра Ульянова, Генералова и их товарищей.

Из Красноярска, с берегов Енисея, случившееся в столице империи представлялось невероятным — так не походило оно на однообразную, бедную событиями жизнь губернского города, затерянного в тайге.

Еще до поступления в гимназию Петр услышал от старшей сестры Евгении, знавшейся с «политиками», имя петербургского студента Арсения, сосланного в Красноярск за связь с первомартовцами восемьдесят седьмого года. Петр тогда просил сестру познакомить его с Арсением. Она отказалась наотрез: нельзя!

Ныне же, придя в дом Чернявских, Петр сразу обратил внимание на молодого человека с окладистой светлой бородой, в

изрядно потертой, застегнутой до последнего верхнего крючка студенческой тужурке. Нетрудно было догадаться, что под ней нет сорочки. В обществе ссыльных светлобородый, должно быть, пользовался немалым влиянием. Среди собравшихся были «политики» и постарше студента, и куда более представительной наружности. Никого, однако, не слушали так внимательно, ничьи слова не производили такого действия, как его речи. Имя студента было Арсений. Петр понял, что это тот самый петербуржец.

Далеко за полночь Петр и Альберт отправились провожать его домой, на Узенькую улицу. Город спал глубоким сном. Вокруг не было ни огонька, ни звука. Гимназисты шли слева и справа от Арсения, расспрашивали о первомартовцах.

Арсений отвечал охотно. Однако говорить ему было трудно — на него то и дело обрушивались приступы кашля. Отдышавшись и выпрямившись, Арсений всякий раз произносил: «Измучил, проклятый…» Он живо напомнил Петру умершего отца, и гимназист всем сердцем пожалел молодого и такого больного студента.

Затем они побывали в его скромном жилище: железная кровать, застланная вытертым синим одеялом, в уголке приткнулась этажерка, забитая книгами. В двух клетках под потолком попискивали и стучали клювами по кормушкам синица и дрозд.

Легко и просто завязалась беседа. Говорили о том, что действительность такого, казалось бы, значительного города, как Красноярск, способна, подобно трясине, засосать с головой любого обывателя. Поэтому надо искать спасения в книгах, приходящих из-за Урала, и в общении с ссыльными. Собственно, рассуждал преимущественно один Арсений. Гимназисты лишь изредка вставляли реплики или отвечали на вопросы студента.

— Вы вот у Чернявских о Карле Марксе говорили, — напомнил Петр. — Не дадите ли чего-нибудь из Маркса почитать?

— Маркс, друзья, у вас впереди. Кто-кто, а вы-то на своем веку Карла Маркса еще начитаетесь вдоволь. Пока же, полагаю, он вам не по плечу. Дам вам вот что, тоже со смыслом. — Он достал из-под тужурки небольшую книжицу. — Вот. Плеханов. «Социализм и политическая борьба». Ее вы осилите и без моей помощи. Одна просьба: у вас никто не должен ее видеть.

— Мы понимаем.

Кто-то постучался в дверь. Громко, с очевидным сознанием дозволенности. Арсений нахмурился и крикнул:

— Входите! Чего уж там? Все равно ведь…

Пристав Никита Лукич Лесихин, сосед Красиковых по

Соборной площади, появился в комнатке ссыльного студента в самый неподходящий момент. Держался Никита Лукич начальственно, на поднадзорного смотрел недовольно, как на провинившегося озорника. Арсений стоял перед ним в некотором смущении, проистекающем, очевидно, оттого, что он видел растерянно-сочувственные взгляды гимназистов. Пристав сказал со значением:

— Я одобряю, господин студент, что вы с хорошими юношами знаетесь. Вот с Петром, внуком отца Василия, и его приятелем… Одобряю. Однако поскольку вы есть ссыльный да поднадзорный, то предписания вам надобно соблюдать. А вы без моего ведома устраиваете у себя собрания.

— Помилуйте, Никита Лукич, — возразил Арсений, — какое собрание? Зашли ко мне эти юноши…

— Вижу, что зашли! — прервал его Лесихин. — Вижу, чай, не слепой. А меня почему не уведомили? Вам как приказано было?

Все это: и надменная властность пристава, и унизительная зависимость Арсения, и собственное бессилие — все это так поразило Петра, что ему захотелось тотчас же, без промедления осадить Никиту Лукича, дать ему почувствовать, что и полицейский произвол не способен убить в людях их достоинства.

— Не мог он вас уведомить, — вступился Петр. — Не мог, — мы ведь пришли без предупреждения.

— Как так без предупреждения? — Никита Лукич повернулся к Петру. В его слезящихся глазах без ресниц Петр увидел неудовольствие. — Вы что же, бывали здесь и прежде? Не первый раз к господину студенту пожаловали? Верно я понял?

— Нет… первый…

На непроницаемом лице пристава Петр угадал угрозу, отнюдь не безобидную, а вполне действительную, предвещавшую нечто неведомое, способное роковым образом нарушить всю жизнь.

— Ай-ай-ай, — осуждающе покачал головой Никита Лукич. — В доме такого почтенного человека живете, в гимназии вас обучают, а полицейскому чину не желаете правды сказать. Бог с вами, однако. Идите. Не вас в крамоле винить надобно, а этого господина…

Они еще с минуту потоптались в нерешительности и вышли на Узенькую. У Петра было такое ощущение, будто они с Альбертом поступили недостойно, спасовали перед мерзостью, оставив человека в безвыходном положении, струсили. Нечто подобное, должно быть, испытывал и Альберт. До Соборной площади не произнесли ни слова.

— Вот что такое блюститель порядка, — первым нарушил молчание Альберт. — Власть…

— А мы-то, приятель, оказались не самыми храбрыми, — отозвался Петр. — Сбежали. Оставили Арсения с этим…

Ночью мысли долго не подпускали к нему сон. Петр воображал Арсения в комнатке, слабо освещенной керосиновой лампой: ходит с папиросой во рту из угла в угол, то и дело переламываясь от приступов кашля и бормоча: «Измучил, проклятый…» На стены медведем наваливается его тень. За окном воет ветер. Арсению тоскливо и жутко в своем глухом углу, и на всем белом свете нет никого, кто сумел бы скрасить его одиночество…

— Так не может, не должно так быть, — прошептал Петр. — Человек не может быть бесправным и позабытым.

На следующее утро Красиков и Залкинд в гимназии не появились. Наняв перевозчика, они переправились через Енисей, нашли поляну, поросшую молодой травой, устроились на столоподобном пне и принялись читать. Шрифт на простой газетной бумаге был мелкий, и им, сидящим плечом к плечу, надо было низко склоняться над страницами.

Уже в предисловии они обнаружили рассуждения, сходные с теми, что слышали в последнее время от Арсения. «Старые формы нашей народной жизни… — писал Плеханов, — не могут „развиться в высшую коммунистическую форму“ без непосредственного воздействия на них сильной и хорошо организованной *рабочей* социалистической партии. Поэтому я и думаю, что рядом с борьбой против абсолютизма русские революционеры должны стремиться, по крайней мере, к выработке элементов для создания такой партии в будущем. В этой созидательной деятельности им по необходимости придется перейти на почву современного социализма, так как идеалы „Земли и воли“ не соответствуют положению промышленных рабочих. И это будет очень кстати теперь, когда теория русской самобытности становится синонимом застоя и реакции, а прогрессивные элементы русского общества группируются под знаменем осмысленного „западничества“».

Позже они натолкнулись еще на одно место, изумившее их совершенно неожиданным взглядом на будущее России: «Мало-помалу все или почти все признали, что начатая политическая борьба должна продолжаться до тех пор, пока широкое освободительное движение в народе и обществе не разрушит здания абсолютизма, как землетрясение разрушает курятник, если можно употребить здесь энергичное выражение Маркса». Петру, как, должно быть, и Альберту, представилась картина: рушатся дворцы, полицейские участки, здания губернских канцелярий, тюрьмы, жандармские управления… А вот что

появится на их месте, вообразить было не под силу. Но это должно быть нечто невиданно светлое, солнечное, просторное.

Петр и Альберт посмотрели друг на друга в восхищенном изумлении. Майское солнце нагрело темные гимназические тужурки, от реки волнами шел прохладный влажный воздух. Пахло сырой землей и намокшей старой древесиной. В таежной чаще перекликались птицы, слышалось плескание речных волн. Где-то далеко загудел пароход. Время перевалило за полдень.

— Перевозчик вот-вот пожалует, — огорченно проговорил Петр. — А мы с тобой и до середины не добрались. Хочешь не хочешь — завтра опять придется сюда ехать.

— Что же делать? — Альберт вздохнул. Чрезвычайно прилежный в ученье, он более всего не любил нарушать гимназические порядки.

Михаил Трегубов примкнул к их с Альбертом сообществу в последнем классе гимназии. И чуть ли не с первого дня стал зазывать Петра к себе в гости. Богатый трегубовский дом стоял неподалеку от губернаторского дворца на Воскресенской улице, где обитали самые состоятельные и уважаемые жители Красноярска.

Петру, разумеется, было любопытно посмотреть, как там идет повседневная жизнь, И все же он довольно долго отказывался от посещения трегубовского особняка. То ли потому, что не было желания ублажать гордыню Михаила, то ли — это было весомее — по той причине, что Трегубов-младший приглашал одного Петра, словно бы не помня об Альберте.

И все-таки однажды, когда Залкинд уехал на несколько дней с отцом в Ачинск, Петр не устоял перед настойчивостью Михаила.

В просторной, обставленной дорогой мебелью столовой, куда привел его приятель, сидели трое: две дамы и крупный мужчина в форме чиновника судебного ведомства. Они были так увлечены разговором, что почти не обратили внимания на гимназистов. Мужчина воодушевленно рассказывал об уголовном деле. Оказалось — об этом шепнул Михаил, — речь шла о каком-то Богодухове, осужденном за убийство на каторжные работы.

Из двери, завешенной тяжелой бордовой портьерой, незаметно появился пожилой быстрый человек в сером костюме-тройке. На узком лице его поблескивала золотая оправа очков. Это был инженер Гордей Захарович Трегубов, отец Михаила.

Он кивнул Петру, ласково потрепал черный чуб сына, уселся во главе стола и, повернувшись лицом к двери, приказал:

— Марья! Пускай подают! — Тотчас позабыв об этом, поглядел на чиновника: — О Николке Богодухове говоришь? Вижу, гордишься, что лучшего в Сибири старателя на каторгу

упек.

— Как же было не упечь? — Гость обиженно заморгал. — Ведь потерпевший кто? Почитай, сын второго человека в городе, Прохора Бородина. Закон, он…

«Что же, что сын Прохора Бородина? — Петр слышал разговоры об убийстве каким-то старателем жены и ее возлюбленного. — А если бы убили не сына видного золотопромышленника?» — он взглянул на Михаила. Тот был, кажется, смущен. Петр догадался, приятелю неловко за отца и его общество.

— Законник! А еще прокурор судебной палаты! — Не замечая насупленного лица сына, воскликнул Трегубов-старший. — А рассудили вы, почему это случилось? Известно ли вам, что Николка готов был душу дьяволу запродать из-за Евдокии своей? А у человека от неудач разум помутился. Не фартило ему третий год кряду. Хоть помирай. Опять бы удача пришла, все бы и уладилось.

— Но ведь убил он. Двоих убил…

— Знаю, убил. Не случись этого, хозяин мой тебя, Иван Савельевич, за такую твою ретивость и на порог своего дома не пустил бы. Да и я, братец, тоже. Какого старателя загубили!

— А молчал все, — искательно улыбаясь, упрекнул Трегубова Иван Савельевич. — Мог бы ведь по-приятельски и предупредить.

Петр обратил внимание, какой уничтожающий взгляд бросил на гостя Михаил. Его глаза словно бы кричали: «Да замолкните вы! Не смейте унижать меня перед друзьями!» И Петр, сочувствуя ему, подумал: «Разве твоя в том вина, что так устроено общество?»

— Ловок! Ловок ты, Иван Савельич! — Хозяин захохотал. Затряслась бородка, засияли золотом зубы. — Фу ты! Насмешил… Хороши же ваши законы! «Можно ведь было предупредить!» Насмешил…

Гордей Захарович долго еще не мог успокоиться, а Петр смотрел на сидящих за столом взрослых людей словно бы даже с сомнением. Трудно было поверить, что они думают так же, как рассуждают вслух. Ему в голову даже пришла мысль, что они кривляются, неизвестно чему радуясь. Не могло ведь быть, чтобы убийцу судили по-разному, в зависимости от прихоти совершенно посторонних людей, хотя бы и весьма богатых…

II

Так с мыслями об Арсении, Никите Лукиче, Альберте,

деревянном доме на Соборной площади в Красноярске Петр и уснул. И тотчас — а может быть, ему это показалось — в дверь стали стучать. Некоторое время он сонно соображал, где находится, и в первое мгновение ожидал увидеть Арсения, Никиту Лукича, но услышал голос Михаила:

— Ты, что ли, Андрюха? Заходи.

Распахнулась дверь, в комнату кто-то вошел. Хотя ставни были еще закрыты, света в комнате стало довольно, чтобы рассмотреть смуглого человека в студенческой тужурке. Ранний визитер, увидев хозяина, расположившегося так необычно, а на кровати в алькове — незнакомого человека, несколько изумился и чуть было не пошел обратно.

— Не тревожься, Андрюха, — сказал Михаил. — Это мой земляк.

Михаил познакомил их. Андрюха — Андрей Гурьев — учился, как и Трегубов, в Технологическом, но уже на последнем курсе. Как выяснилось, он был в свое время близко знаком кое с кем из первомартовцев, а с пребывающим в ссылке в Красноярске Арсением дружил едва ли не с детства.

— Однако обо всем этом у нас еще будет время поговорить, — сказал Андрей и встал. — А сейчас мне некогда.

Он извлек из-за пазухи аккуратный сверток, попросил спрятать на несколько дней и объяснил, что у какого-то Арона ничего оставлять нельзя — «Кузьмич по три раза на дню наведывается». В свертке оказались нелегальные издания, полученные из-за границы. На прощанье Андрей крепко стиснул руку Петра, сказав, что рад знакомству со «своим» человеком.

С гимназических лет Петра влекло к естественным наукам, и на другой день он отправился в университет с аттестатом и прошением о приеме на физико-математический факультет. А неделю спустя начались занятия, и в аудиториях и шумных коридорах теперь можно было встретить тонколицего и большеглазого юношу с высоким лбом — сибиряка Петра Красикова. Столица с ее громадами каменных зданий, широченными проспектами, конкой, газовыми фонарями, электричеством в окнах богатых домов, неисчислимыми извозчичьими пролетками и дорогими экипажами на Невском, Литейном, Садовой не так поразила Петра, как студенческая братия. Внушительные бородачи и совсем зеленые юнцы, сынки важных сановников и почти нищие — у них под обтрепанными форменными тужурками не было и сорочки, — петербуржцы, москвичи, малороссы, поляки, евреи, кавказцы, сибиряки, — вся эта разношерстная и разноплеменная масса представлялась Петру

на первых порах недоступной.

Но на самом деле это ему только казалось — каждый новый день увеличивал число его знакомых, сближал со студенческими кружками, землячеством, помогал понять, что волнует этот молодой народ.

Легче всего Петр прижился в Сибирском землячестве, куда ввел его Михаил. Бывали они там обыкновенно втроем — прихватывали Андрея Гурьева. Собрания под видом «именин» и «чаев», споры, когда любой волен был, не таясь, высказывать решительнейшие суждения, — могло ли это не увлечь только что оказавшегося в столице молодого провинциала?

Едва ли не в первый день после приезда Петр услышал от Михаила о «замечательных людях Петербурга». Трегубов пообещал свести Петра в дом на Садовой, где собирались они вечерами по субботам.

В гостиной стояли старинные кресла, пол был устлан ковром, блестел полировкой рояль. В креслах сидели гости. Народ был самого разного вида: почтенные господа в сюртуках — один даже с орденом, — чиновники, тоже по преимуществу солидного возраста, в форме всевозможных ведомств, студенты, — все, должно быть, из порядочных семей. Шел негромкий спокойный разговор.

Михаил и Петр остановились у двери, не находя пока места, где бы можно было устроиться, не мешая общей беседе. Петр довольно быстро уловил совпадение взглядов местной публики со взглядами большинства ссыльных «политиков» из Красноярска, извечных противников Арсения. О марксизме не упоминали. Плеханова для них словно бы и не существовало. Петр поглядел на Михаила. Тот не сводил восхищенного взгляда с господина в пенсне, рассуждавшего о значении крестьянской общины для устройства российского общества. «Арсения бы сюда! — подумал он. — Объяснил бы он вам, господа, что не крестьянской общиной следует восхищаться, а смотреть в будущее».

Вошел еще один — очевидно, хозяин дома. У него было очень живое лицо с выпуклым лбом и глубоко спрятанными глазами. Именно этот господин впервые упомянул о Плеханове. Собственно, имени он не называл, но по тому, с каким злым сарказмом шла речь о людях, «растерявших убеждения свои на альпийских курортах», ничего не стоило догадаться, что имеется в виду именно живущий в Швейцарии Плеханов.

— Они там позабыли обо всех жертвах, понесенных нашим движением. Швейцарские курорты не располагают к пониманию особенностей народа. Где уж там помнить о том, что

капиталистический расчет чужд самому духу русского мужика? Быть может, относительно Европы Маркс и прав, но для нас, для России…

— Простите, — Петр не сдержался. Он чувствовал, что лицо его пылает, и от этого еще больше злился. — Вы-то читали труды Маркса или Плеханова? Боюсь, что нет.

Господин с сигарой обернулся так быстро, словно над его ухом щелкнули бичом, и шагнул к двери. Присмотрелся к тем, кто там стоял. Определил, должно быть, по выражению лица Петра, что именно его мальчишеский голос только что прозвучал. Подошел, по-отечески потрепал Петра по плечу.

— Читал, юноша, читал. А вот вы, судя по всему, мало знаете о прошлом нашего движения, о героях наших. И…

— Спорить не стану. — Петр вскинул голову. — Об этом вы, очевидно, осведомлены лучше. Но это прошлое. А бороться следует во имя будущего. Вперед надо смотреть. Вот скажите: строительство железных дорог может оставить Россию в прежнем состоянии? А рудники, фабрики? Разве мужик, покинув деревню, остается прежним? Разве не делается он пролетарием, как пишет Маркс и как утверждает Плеханов? — Петр краем глаза увидел, что Михаил отошел к высокой голландской печи.

Только что казавшееся благодушным лицо господина с сигарой сделалось непроницаемым. Он уставился на Петра ледяным взглядом. Да и молчавшее до сих пор общество зашумело, заволновалось. Петра обступили, ему что-то доказывали, от чего-то убеждали отказаться. Не слыша ни слова, он кое-как возражал, не надеясь, разумеется, переубедить местную публику, но вместе с тем не желая и уступать.

Уехали они оттуда далеко за полночь. Холодный осенний дождь не ослабевал. Мостовая сияла отраженным светом газовых рожков. Не погасшие еще окна расплывались в дождевой завесе. Отчетливо цокали копыта. Извозчик лениво помахивал кнутом, словно отгоняя сон. Брызги осыпали лицо уколами — не спасал даже поднятый верх пролетки.

— А ты все же молодчина, Петр Красиков! — Михаил положил руку на плечо земляка. — Переполошил все общество. Как они на тебя насели! А ты не спасовал. Но ведь и суждения твои верные. Может ли случиться, чтобы Россию миновал капитализм? Им-то и крыть нечем.

Потом долго ехали в молчании.

— Спросить хочу, — Петр повернулся к Трегубову, как только они вошли в комнату. — Какого дьявола ты с господами этими знакомство водишь? Если время девать некуда, ходил бы лучше в Зимний буфф. Там оперетки показывают, шампанское подают, я

слышал, девиц множество…

— Ты по какому праву меня, учишь? У меня-то в доме…

Как будто по лицу его хлестнули. Петр тотчас принялся заталкивать свои пожитки в чемодан. Собрался — и к двери. Михаил схватил его за руку:

— Ты что? Ишь какой обидчивый! Погоди, пошутил я.

Взбешенный, Петр выбежал из парадного и остановился. Литовский проспект был безлюден и темен. В необлетевшей листве шумел дождь. «Каков! Друг, называется! — В груди у него было тесно от негодования. — Приютил! Нет, не зря те, с Садовой, для него „самые замечательные люди“. Проживу и без его милостей…»

А дождь не унимался, и ночь делалась чернее, холоднее и непригляднее. «Как быть? — внезапно подумал он. — Куда идти? Не стоять ведь всю ночь под дождем. К Андрею, что ли, отправиться?»

К Гурьеву — тот снимал комнатенку в полуподвале на Выборгской стороне — Петр заглядывал лишь однажды и вовсе не был уверен, что сумеет найти его.

Но делать было нечего, и он долго шел под все усиливающимся дождем по совершенно безлюдным ночным улицам. Шел и шептал, не в силах успокоиться: «Благодетель! Смилостивился…»

Свернул с Невского на Литейный, миновал мост через Неву. Промок насквозь. На Выборгской стороне не было ни огонька. Петр остановился на перекрестке. Стоял, дрожа от озноба и пытаясь сообразить, куда идти дальше, где искать дом Андрея.

Уже начинало светать, когда, наконец, увидел он трехэтажное кирпичное здание со ступеньками, ведущими к двери, наполовину вросшей в землю. Это был тот самый дом и та самая дверь.

Стучать пришлось довольно долго.

— Кто там? — прозвучал наконец недовольный сонный голос.

Минуту спустя он уже сидел у стола в убогом жилище Гурьева. Хозяин прикрыл одеялом неприбранную постель, ополоснул лицо над эмалированным тазом в углу тесной комнатенки и, ни о чем не спросив, лукаво подмигнул:

— Не печальтесь, уговорю хозяйку, поживете здесь, пока не подыщем чего-нибудь получше. А с Трегубовым вы, по-моему, и так чересчур долго уживались. Право, не понимал я этого и удивлялся.

— Чему? — Петр пожал плечами. — Земляки мы с ним все-таки, гимназические товарищи. А ведь это…

— Мало ли что! Нас теперь не землячество и не

воспоминания о розовом детстве должны объединять, а идеи и цели в борьбе. Вот в этом-то, по-моему, у вас с Трегубовым не сыскать ничего общего. Вы человек твердый во взглядах, он же, насколько я могу судить, способен лишь примыкать к тем, у кого есть идеалы.

— Слишком благополучно жизнь у него складывается, чтобы твердость убеждений образовалась. Благополучие, оно не способствует этому. Вы согласны?

— Нисколько. Вот есть у меня приятель Арон Бесчинский — так он в день своего рождения уже был миллионером. Куда уж благополучнее. А вот ведь наш, совершенно наш. И брат его отца — народоволец, сосланный в Сибирь и погибший там… О! — прервал он себя. — Да вы дрожите. Озябли?

— Да, знаете, простыл я, кажется, — сознался Петр. — Как бы не захворать…

— Ничего, сейчас поможем беде.

Андрей укутал его одеялом, затем принес от хозяйки горячего чаю. Перекусив, Петр согрелся и почувствовал себя исцеленным.

Весь день они никуда не выходили. Рассказывали друг другу о себе и друзьях, мечтали. Петр узнал, что Андрей из Твери, что мать его, вдова мелкого чиновника, постоянно болеет и никак не дождется, когда он закончит учение и вернется домой. Затем Гурьев принялся расспрашивать Петра о Красноярске, тамошних ссыльных, их образе жизни, предмете споров. Особенно оживился он, когда услышал об Арсении. Кивал головой, улыбался, вздыхал.

— Большой человек, могучий ум погибает, — сказал он.

— Чахотка…

— Чахотка чахоткой, — возразил Андрей. — С ней он, должно быть, еще бы пожил и успел бы талант свой обнаружить. А ссылка его убьет.

Вечером они вместе отправились к одному из знакомых на «чай». В просторной квартире студента-юриста собрался весь цвет столичных студенческих землячеств. Петр привык уже к их пламенным речам народнического толка, напыщенным и весьма расплывчатым. Он обыкновенно не вступал в полемику, но произносил страстные внутренние монологи, разбивающие в пух и прах изощренных петербургских ораторов.

На сей раз он не совладал с собой. Витийствовал румянощекий филолог Яша Гуревич, член Совета студенческих землячеств. Петр не помнил ни одного собрания, на котором Гуревич не разразился бы многословной речью. Вот и сейчас он не унимался:

— Лишь люди, не понимающие мужика русского, могут проводить параллель между Европой и Россией. Сознания русского мужика никогда не коснется дух капиталистического расчета, и страна наша не станет походить на благополучную цивилизованную Европу. Россия — особенный феномен в мире, и исторический путь в грядущее у нее особенный!

— Позвольте спросить, — Петр встал. — Вы, что же, в самом деле полагаете, что Россия, раскинувшаяся на половине Европы и половине Азии, связанная со всем миром торговлей, промышленностью, судоходством, искусством, наконец, может оградить себя от других стран непреодолимой пропастью? Вы способны вообразить грядущую Россию, допустим, Россию двадцатого века, не знающей великих ученых и поэтов Европы? В России не помнят Гете и Байрона, Дарвина и Маркса!.. Что же, по-вашему, грядущая Россия потеряет память, оглохнет и ослепнет?

Он говорил ожесточенно и зло и, пожалуй, впервые обнаружил в себе склонность к язвительности в полемике. С не меньшим удивлением ощутил он почти паническую тишину в столовой. Публика слушала его без сочувствия, но с очевидным интересом. Лишь один человек кроме Андрея смотрел на него без неприязни. Студент-технолог с тонким, по-девичьи нежным лицом и огромными светлыми глазами сидел по другую сторону стола, и взгляд его был полон восхищения. Андрей познакомил Петра с ним, когда они только пришли. У него была трудная польская фамилия — Кржижановский.

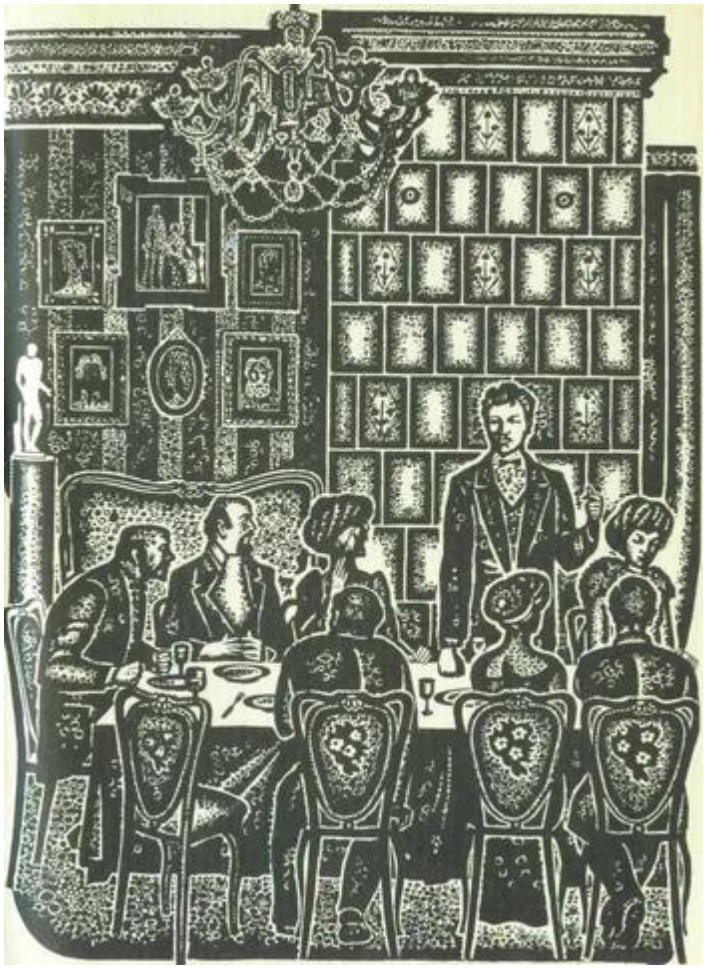
Едва Петр умолк, почти все общество дружно набросилось на него, посыпались упреки в неуважении к заслуженным людям и к традициям землячества. Особенно негодовала какая-то курсистка, миловидная, с ярким румянцем и падающими на лоб светлыми кудряшками. У нее был пронзительный высокий голос, и она забивала всех прочих. Петра поддержали лишь Андрей Гурьев и Кржижановский.

Они и ушли оттуда втроем. У Петра еще оставались деньги от последнего материного перевода, и он, чувствуя себя Крезом, взял извозчика. Сначала отвезли домой Глеба Кржижановского.

— Давайте, — предложил Андрей, — съездим к моему знакомому.

— Нет уж, поезжайте сами, — хмуро возразил Петр. — Я денег дам. А мне о ночлеге побеспокоиться надо.

— Да не тревожьтесь вы. На худой конец, еще раз хозяйку уговорим — у меня переночуете. Но я надеюсь, что как раз мой знакомый и поможет выйти из затруднения. Он у нас добрый ангел.



Поехали на Морскую. Андрей остановил извозчика у дома с сияющими электричеством окнами. За стеклянной парадной дверью величественно застыла монументальная фигура швейцара. Он открыл дверь перед поздними визитерами и что-то проворчал.

— Добрый вечер, Кузьмич, — весело поздоровался Андрей как со старым знакомым и справился: — Арон дома?

— Дома, дома, — недружелюбно пробасил швейцар. — Вы, господа, глядишь, и за полночь скоро людей беспокоить станете. Чего в такой час?

— Дела, Кузьмич, дела.

По плавной мраморной лестнице они поднялись на второй этаж и попали в широкий светлый коридор. По стенам его шеренгами выстроились одинаковые дубовые двери с блестящими медными ручками. Шагая рядом, Андрей объяснял Петру, несколько подавленному великолепием дома, кто из

многочисленной родни купца первой гильдии Бесчинского занимает ту или иную комнату.

Они подошли к последней в коридоре двери. Андрей постучался. Из-за двери донесся мальчишеский голос:

— Входите, пожалуйста.

Странное это помещение было обставлено высоченными библиотечными шкафами и походило на книгохранилище. Между шкафами потерялись оттоманка и крохотный, в сравнении с прочими вещами, письменный стол с лампой под зеленым стеклянным абажуром.

Из-за стола выбежал хозяин этой книжной берлоги, рыжий толстяк в наброшенной поверх шелковой белой сорочки студенческой тужурке. У него были такие огненные волосы, такие яркие веснушки и такие красные губы, что казалось, будто под его кожей не гаснет пламя. Лицо толстяка расплылось в улыбке.

— Ах, Андрюха, какой же ты молодец! Клянусь честью, я уже и не надеялся тебя увидеть. А ты ведь обещал, дьявол.

— Обещания, Ароша, я всегда выполняю. Тебе это известно. На сей раз ничего нельзя было поделать. «Чаевничали» очень длинно. До тебя Глеба домой свезли. А на «чае» засиделись, потому что вот Петр, — он кивком указал на Красикова, — наших «оракулов» приводил в чувство. Знакомься, это и есть Петр Красиков.

— Вы хорошо сделали, что пришли! — Арон с такой поспешностью схватил Петра за руку, словно опасался, что спустя мгновение у него уже не будет этой возможности. Тотчас повернулся к Андрею: — А не я ли говорил, что не к «оракулам», а к нам теперь будет приставать молодежь? То-то! Нас будет становиться больше день ото дня. Так что пора приниматься за настоящее дело. Отдадим землячество «оракулам», пусть витийствуют. А мы вот чем займемся. — Он взял со стола какую-то книгу. — Вот вещь! «О коллективизме» Жюля Геда. Надо ознакомить с ней рабочих. Это будет полезнее, чем на «чаях» речами самих себя пугать. Вы со мной согласны? — повернулся он к Петру.

— Я еще не подумал, — улыбнулся Красиков. Толстогубый конопатый парень ему все больше нравился.

— Слышишь, Андрюха! — Арон захохотал. — Он еще не подумал. Вот как надо! Не то что я: на ум пришло — и ляпнул. А он вот… — Арон спохватился: — Да, комнату вам подыскали. Утром сведу. Комната подходящая — удобная и недорогая. Задаток внесен.

Для Петра это было полной неожиданностью.

— А вы не желаете одну ночь у меня провести? — Арон не

дал ему опомниться. — Принимаете мое приглашение? Согласны? Вот и превосходно.

Он оказался немыслимо разговорчивым человеком. Сначала Петра даже озадачила его болтливость. Однако чем дольше он слушал Арона, тем с большим интересом присматривался к нему. Сын купца первой гильдии определенно не случайно оказался в обществе тех, кто ставил своей целью революционную борьбу. В его рассуждениях ощущалось не только понимание смысла их движения, но и осознанная готовность принять неминуемые в предстоящей борьбе лишения.

Арон говорил, что отец его, человек далеко не глупый, хотя и почти неграмотный, сам иной раз в приступе откровенности сознается в том, что не понимает, почему фортуна так благоволит к нему. Он, мол, вовсе не самый честный и не самый душевный из пятерых братьев. А вот ведь богач, в то время как другие либо еле-еле сводят концы с концами, либо уже отправились на тот свет.

— Это он о Пинхусе, — пояснил Арон. — Пинхус, между прочим, единственный из пятерых закончил гимназию и даже поступил на медицинский факультет. Он был на две головы выше братьев, и моего папаши в том числе. А если человек хотя бы немного умеет думать и если он чему-нибудь учился, то может ли он не стать революционером? Наш Пинхус был народником и погиб в якутской ссылке…

Уснули они лишь на рассвете…

III

На физико-математическом факультете Петр проучился недолго и перешел на юридический. В глубине души он очень давно, еще при жизни отца, мечтал в будущем изучать право. Со временем эта тяга ничуть не ослабевала, а, быть может, даже усиливалась от его соприкосновения с несправедливо устроенной жизнью. Ныне же он пришел к убеждению, что для России гораздо важнее переустройство общества по законам справедливости, чем самые крупные достижения ученых-естественников.

Была, правда, и другая — должно быть, не менее важная — причина. У студентов-юристов оставалось неизмеримо больше времени. А ему теперь был дорог каждый час. Они втроем — Андрей, Арон и он, Петр, — организовали кружок рабочих пропагандистов. Занятиями руководили попеременно. Помещение для встреч всякий раз находил Арон. При капиталах его папаши это не составляло большого труда.

И с землячествами они решили не порывать. Не отдавать же их на откуп «оракулам». С некоторых пор ни один «чай», ни одни «именины» не обходились без бурных столкновений между «оракулами» и их молодыми противниками. Во всяком случае, Петра к концу второго семестра избрали в Совет петербургских студенческих землячеств. А это дело тоже требовало времени.

Первое письмо из Женевы пришло еще в сентябре. Виктория писала, что Женева не похожа ни на один русский город. И народ в Швейцарии, не в пример нашему, живет сытнее и благоустроеннее. Потому и люди там добрее, приветливее. Даже русские эмигранты — а их там порядочно — становятся более похожими на швейцарцев, чем на самих себя. Письмо было восторженным.

Но вот уже в следующем — как они и условились, Виктория писала раз в неделю — речь шла о делах обыденных: о комнате, снимаемой в старом городе на берегу Роны, о лекциях, новых знакомых, ценах на провизию, плате за квартиру, письмах из дому. А в конце, в постскриптуме, Виктория, как ему показалось, чуть-чуть испуганно извещала, что у них, должно быть, весной будет ребенок.

Эта новость ошеломила Петра — невозможно было вообразить себя отцом. Ему-то и самому всего лишь двадцать один! Но тотчас устыдился своего настроения. «Сын, — Петр не сомневался, что родится именно сын, — мне нисколько не

помешает в деле. Зато это будет мой сын! Я его воспитаю революционером. Виктория мне поможет…»

А потом Виктория затосковала по мужу и по России. Единственной отрадой на чужбине было общение с русскими эмигрантами. Их в Швейцарии оказалось много больше, нежели она ожидала. В одном из писем она сообщила, что познакомилась и коротко сошлась с Плехановыми, «милыми интеллигентными людьми». Петр в первый момент глазам своим не поверил. Прочел фразу еще и еще раз. Ошибки быть не могло. Виктория писала: «с Плехановыми». Это была громадная удача — жена знакома с Плехановым!

Письмо Петр показал друзьям. Арон моментально воспламенился, сказал, что случая упускать нельзя и Петру следует немедля поехать в Швейцарию. На месте Петра он и минуты бы не раздумывал. Андрей смотрел на вещи трезвее.

В конце марта пришло письмо из Женевы с известием о рождении сына. Виктория писала, что роды у нее принимала Роза Марковна, жена Плеханова. Если бы не Роза Марковна, она и вообразить не может, как бы все это закончилось…

Друзья решили, что Петру самое время побывать в Женеве. Было выхлопотано разрешение университетского начальства. Арон расстарался по части денег, и Петр налегке отправился за границу. Он взял с собой лишь небольшой чемодан с подарками для жены и сына и скрипку, непременно сопровождавшую его во всех поездках.

До того как сесть в вагон, Петр словно и не замечал, как соскучился по жене. А теперь перед глазами неотступно стояло ее лицо, счастливое и вместе с тем несколько испуганное, такое, каким оно сохранилось в памяти со времени путешествия из Красноярска в Петербург. Не терпелось ему к тому же взглянуть на сына. Все еще не верилось до конца, что где-то там, в Женеве, существует этот маленький человечек — его сын!

Ехал он, помимо всего прочего, еще и с надеждой на знакомство с Плехановым. Хотя Андрей сомневался, что знаменитый Плеханов пожелает заниматься «преподаванием уроков революционным подмастерьям», Петр верил: для таких людей нет ничего важнее революционного дела, и он, конечно же, охотно встретится со своим молодым последователем из России.

После пограничной станции — там был таможенный досмотр и проверка документов — русская речь растворилась в немецкой и польской. За окнами проплывали чужие селения с католическими соборами и бесчисленными распятиями, ухоженные поля и сады. В Вене Петр пересел на швейцарский поезд и словно бы вовсе отделился от России. Все было чужое:

кондукторы, полиция, публика…

Женева оказалась городом не в пример меньше Петербурга. На Rue de Carouge Петр добирался на извозчике. Ехали по узким улочкам, вымощенным гранитной брусчаткой. По обе стороны выстроились старинные здания с готическими башенками и вывесками над лавочками и ресторанчиками на французском языке. По-летнему грело солнце, небо было глубокое и синее, вдали громоздились горы со снеговыми колпаками на вершинах.

Дом, где снимала небольшую квартиру Виктория, походил на множество таких же серых, не слишком высоких зданий с балкончиками и тюлевыми занавесями в открытых окнах. Петр вошел в сумрачное парадное, отыскал нужную дверь и, волнуясь, нажал кнопку электрического звонка. Из-за двери донесся словно бы незнакомый голос:

— Сейчас! Минуточку! Кто там?

Спустя мгновенье дверь перед ним распахнулась. Он увидел жену в легком ситцевом халатике с резиновой соской в руке. На Петра уставились изумленные глаза.

— Ты?! Пресвятая дева Мария! — Виктория прижала руки к груди и растерянно-беспомощно улыбнулась: — Ты здесь? Почему не написал?

— Да вот… — Он не в силах был преодолеть словно бы беспричинной скованности. — Внезапно все случилось.

Виктория вышла из двери, протянула и нему руки, как будто намереваясь проверить на ощупь, не во сне ли появился Петр. Затем внезапно засмеялась и обхватила его шею, приговаривая шепотом:

— Какой же ты чудак! Пойдем, пойдем, познакомишься с нашим Петькой. И он пусть посмотрит на отца. Пойдем, пойдем…

Он взял на руки почти невесомого, щекастого, с бессмысленными глазенками карапуза и принялся ходить с ним по комнате, встречаясь изредка с умиротворенным и чуть снисходительным взглядом Виктории.

Вечером они сидели, обнявшись, у кроватки сына, вспоминали дом, Сибирь, мечтали о том, как счастливо будут жить, окончив учение и возвратившись в Красноярск. Правда, говорила об этом главным образом Виктория. Петр же больше думал о другом: как познакомиться с живущим где-то неподалеку Плехановым? Заговорить об этом, однако, не решался, опасаясь обидеть Викторию. Только приехал после продолжительной разлуки — и на тебе: не о жене и сыне мысли его, а о совершенно посторонних делах и чужом человеке!..

Утром Петр открыл глаза и зажмурился — в окно светило солнце. Он потянулся и, по обыкновению, рывком соскочил с

кровати. В комнате никого не было. На столе белела записка: «Ты так сладко спал, что было жаль будить. Позавтракай, мы с Петькой скоро вернемся. Целую, Виктория».

Он засмеялся счастливым смехом человека, оказавшегося в раю. С рождения ему, должно быть, еще не бывало так покойно и уютно, как в этой небольшой светлой комнате на женевской улице. Он открыл краник мраморного умывальника с овальным зеркалом, стоящего в углу, с наслаждением стал плескаться прохладной водой, вытерся мохнатым полотенцем, сел к столу. Виктория оставила ему завтрак в двух накрытых тарелках. «Научилась», — улыбнулся Петр и опять взял записку жены. В это солнечное утро его все радовало, и он, улыбаясь, вновь принялся читать короткое послание жены. Особенно нравилась ему фраза: «Мы с Петькой скоро вернемся». Они с Петькой! Его сын, его Петька — уже человек, и если он с Викторией, ей нельзя писать «я». Они — вдвоем!

Задребезжал звонок. Петр в недоумении поглядел на дверь. «Сюда, что ли?» Звонок снова задребезжал. Петр крикнул:

— Кто там? Entre! Входите!

На пороге появился чернобородый мужчина. Человека этого Петр видел впервые и не знал, как поступить. На каком языке с ним объясняться, тоже было неизвестно. Петр спросил по-русски:

— Вы, простите, к кому?

— К вам, Петр Ананьевич. — Незнакомец несколько смущенно улыбнулся и шагнул в комнату. — Мне только что сообщили о вашем приезде. Вот я и поспешил. Не терпелось увидеть человека, приехавшего из Петербурга, из России.

— Садитесь, — пригласил Петр. — Но…

— Благодарю. Позвольте представиться — Плеханов, Георгий Валентинович. О вас же я наслышан от вашей супруги.

Петр во все глаза смотрел на внезапного гостя. У них в комнате сидел Плеханов! Поверить в это было почти немыслимо. К тому же эта шляпа с обвислыми полями и этот заношенный до крайности костюм!

— Георгий Валентинович, у меня слов нет, чтобы выразить свои чувства. Ведь я отчасти приехал и для знакомства с вами. Товарищи мне поручили обязательно разыскать вас в Женеве.

— Товарищи? — Плеханов оживился. — С какой же целью?

Петр принялся рассказывать о Гурьеве (разумеется, он умолчал о том, что Андрей не слишком верил в «снисхождение знаменитого эмигранта к революционным подмастерьям») и Бесчинском, о кружке рабочих пропагандистов, о борьбе в землячествах, о возрастающем интересе в студенческой и рабочей среде к марксистской литературе вообще и к работам Плеханова в

особенности.

Георгий Валентинович слушал очень внимательно, изредка лишь вставляя замечания или направляя деликатным вопросом рассказ Петра в нужное ему русло. А когда Красиков умолк, Георгий Валентинович положил руку ему на плечо и сказал:

— Вы меня очень порадовали. Знаете, чем особенно? Тем, что к марксистской литературе потянулись рабочие. Двенадцать лет пребывания за границей и внимательного изучения социального вопроса убедили меня, что Россия переросла эпоху стихийных крестьянских бунтов типа разинского или пугачевского… Но я убежден, Петр Ананьевич, что и дальнейшего движения уже не может быть без воздействия на русскую общественную жизнь сильной и хорошо организованной рабочей социалистической партии. А она может возникнуть лишь на марксистском фундаменте. Потому-то меня и радует, что пролетариат потянулся к марксизму. Да и студенчество. Студенчество — это молодость, будущее… Виктория вкатила в комнату коляску.

— Познакомились? Я ведь вам говорила, — это предназначалось Георгию Валентиновичу, — что у вас найдется о чем побеседовать.

— Вы не ошиблись, — улыбнулся Плеханов и посмотрел на Петра. — Вам не хотелось бы прогуляться к озеру? Места там великолепные. Кстати, и поговорим. Вы нас отпустите? — обратился он к Виктории.

— Что с вами делать? — Она засмеялась, но не добродушно, как вела себя вчера и мгновенье тому назад, а с едва уловимым неудовольствием, что, впрочем, не укрылось от Петра.

Однако он был так окрылен всем случившимся в последние два дня, что лишь слегка удивился перемене в настроении жены, не придав ему сколько-нибудь серьезного значения, кивнул Виктории и вышел вслед за Георгием Валентиновичем на малолюдную женевскую улицу.

Вдвоем проделали неблизкое путешествие к озеру. По дороге Плеханов расспрашивал его о Петербурге, об отношении революционной молодежи к работам Струве и Михайловского. Ответы Петра его, по-видимому, радовали, и он посмеивался, довольно щурясь.

Вышли к Женевскому озеру. В голубом зеркале воды отражалось синее-синее небо и поросшие лесом Альпы. Точно так же Саяны «плавали» в Енисее и высокое сибирское небо купалось в его волнах. Он сказал об этом Плеханову.

— Да-а… — Георгий Валентинович вздохнул. — Вы правы. Вот уж двенадцать лет во всем: в реках и озерах, в горах и садах — во всем я ищу сходства с Россией. Ах, Петр Ананьевич, Петр

Ананьевич! Как мы не умеем ценить родину, пока нас от нее не оторвали, и как себя за это казним, оказавшись на чужбине… — Он взял Петра под руку и после недолгого молчания продолжал: — Я еще кое-как мирюсь с эмиграцией, потому что душа моя, и мысли, и устремления все эти годы там, на родине. Я, как и мои ближайшие друзья, — кстати, они на днях приедут, и вы с ними познакомитесь — не теряем связи с Россией ни на неделю.

Петр смотрел на воодушевившегося Плеханова — тот, очевидно, был рад внимательному слушателю из России, и ему все еще не верилось, что судьба в действительности свела его с Георгием Валентиновичем Плехановым.

По домам они отправились, когда уже стали сгущаться сумерки. Петр всю дорогу улыбался, воображая, как станет рассказывать Андрею и Арону о случившемся знакомстве и о том, как Плеханов полдня прогуливался с ним по берегу Женевского озера, не обнаруживая при этом никакого высокомерия или снисходительности.

После той, первой, было еще немало прогулок по живописным берегам охраняемого Альпами зеркального озера. От Плеханова и от приехавших в Женеву дня два-три спустя Веры Ивановны Засулич и Павла Борисовича Аксельрода Петр за два месяца услышал столько важного и мудрого, что, пожалуй, это в огромной степени превосходило его прежнюю осведомленность в научном социализме.

Огорчало лишь то, что Виктория стала дуться на него из-за этих частых отлучек. Он, однако, все время был в таком приподнято-восторженном настроении, что ему не стоило большого труда весело повиниться перед женой и получить индульгенцию.

Вечерами Петр забавлялся с Петькой, подолгу разговаривал с Викторией, стараясь внушить ей мысли о сути их дела. Она слушала его внимательно. Иной раз, правда, на лице появлялась улыбка превосходства: так случается взрослым посмеиваться над неразумными ребячьими выдумками…

И все-таки ему достало упорства заставить жену понять серьезность того дела, какое должно было стать главным в его жизни. Виктория, ему показалось, испуганно отшатнулась и посмотрела на него молящим взглядом. Спросила шепотом:

— Неужели тебя могут арестовать?

— Разумеется…

— Ты так спокойно говоришь об этом. А что будет со мной, что будет с ним, — она кивнула на спящего Петьку, — ты подумал?

У нее было такое потерянное лицо, что ему стало жалко ее.

Он обнял жену, ободрил:

— Не надо бояться. Будем надеяться на лучшее. А в общем, и из-под ареста люди выходят…

— Нет! Нет! Я не хочу, не могу, я не вынесу.

— Что ты, глупенькая? Я ведь здесь, с вами.

— Но ты скоро уедешь…

— Потому я и начал этот разговор. Чтобы душа моя была спокойна, мне надо быть уверенным, что и у вас все хорошо, что жена моя всегда и во всем понимает меня и не придет в отчаяние, если вдруг случиться нечто прискорбное. Обещаешь?

— Обещаю. — Она подняла на него отражающие свет электрической лампочки заплаканные глаза.

В Петербург он возвратился осенью. Гурьев собирался в Тверь ухаживать за тяжело больной матерью. Петр и Арон через своих недавних учеников организовали рабочие кружки. Бесчинский — за Нарвской заставой, Красиков — на Васильевском.

У Петра в кружке подобрался весьма толковый народ с Балтийского и Адмиралтейского заводов и железнодорожных мастерских. Едва ли не всех его кружковцев угнетало отсутствие образования. Зато по части сопоставления теоретических положений с жизнью каждый из них мог преподать уроки своему молодому учителю, и Петр не упускал случая, чтобы пополнять не слишком обширный запас практических познаний.

Самый пожилой из его кружковцев, машинист Финляндской дороги Леонтий Антонович Федулов, книголюб и философ, рассуждал обыкновенно глубже и основательнее остальных. Выступления его на занятиях — мысли свои Леонтий Антонович непременно подкреплял примерами из трудовой повседневности — очень помогали Петру. Пристрастный к чтению серьезных книг, немногословный и чрезвычайно деликатный, Федулов, несмотря на свои годы, робел при Красикове и всякий раз, высказывая какую-нибудь мысль, спрашивал: «Верно я говорю?»

Как-то, провожая Петра после занятий, он пожаловался:

— Мало мы знаем, Петр Ананьевич. Пролетарии то есть. Книжек бы дельных побольше. Дома бы с пользой почитать. Ребята деповские тоже интересуются. По нынешним временам народ ко всему этому гораздо любопытнее стал. Верно я говорю?

Подобные речи Петр слышал уже не раз. И рабочие Бесчинского жаловались на недостаток литературы. Зимой, к тому времени похоронив мать, из Твери возвратился худой и почерневший лицом Андрей, и они втроем решили, что Петру следует вторично побывать в Женеве.

Денег на поездку раздобыли у друзей и знакомых, и Петр

вновь оказался в вагоне поезда «С.-Петербург — Вена». Вещей при нем было столько же, сколько и в первую поездку: чемоданчик да скрипка. Остальное имущество он оставил у Арона. Бесчинский, правда, обещал перепрятать вещи в более надежное место — поверил наконец в небезопасное любопытство Кузьмича…

Он и на этот раз не предупредил Викторию о своем приезде, и она, увидев его на пороге комнаты, всплеснула руками и повернулась к сидящему на кровати годовалому малышу, увлеченно рвущему книжку с цветными рисунками. Сын отвлекся от своего занятия и уставился на Петра любопытными и смышлеными глазенками.

И лишь после этого Виктория бросилась к мужу: — Я так тревожилась… так боялась… Пресвятая дева Мария! Неужели ты здесь? Как я по тебе соскучилась, как боялась!

Она сделалась в эту минуту похожей на ту восторженную красноярскую гимназистку, из-за которой он когда-то потерял голову. Петр взял на руки сына, и они втроем просидели до самого обеда. Он расспрашивал Викторию о Плехановых, об ученье, о Петькиных успехах. Жена не отводила от него глаз, с готовностью отвечала на все вопросы, то и дело прикасалась к нему рукой, как бы все еще не веря, что это он, что он здесь, рядом.

Правда, после обеда, когда Петр объявил, что ему надо сходить к Георгию Валентиновичу, у Виктории моментально испортилось настроение. Но он обнял ее, пообещал скоро вернуться, и она тотчас повеселела. Пригрозила, смеясь:

— Посмей только прийти не вовремя!

У Плехановых он застал Веру Ивановну и Павла Борисовича. «Аборигены», как они себя называли, стали наперебой расспрашивать его о дороге, поздравляли с благополучным прибытием. Гости заявили, что теперь они никуда не уйдут, а Роза Марковна принялась готовить торжественный ужин в его честь. Угадав, что Петр испытывает неловкость от столь радушного приема, Георгий Валентинович, как бы извиняясь, дружески улыбнулся:

— Простите нас и поймите. Вы ведь только что из России и скоро увидите ее вновь. А мы? Слов нет, как завидует каждый из нас счастливцам, видящим изо дня в день Россию, Петербург…

Они не отпускали его до вечера, рассказывали о своих заграничных делах, о вышедших и подготовляемых к выпуску марксистских изданиях, и не уставали расспрашивать о рабочих кружках в Петербурге. Услышав о цели приезда Петра в Женеву, все чрезвычайно оживились. Георгий Валентинович сказал:

— Рабочий класс лихорадочно стремится к знанию. Ведь чем

сильнее начинает шевелиться мысль рабочего, чем больше света попадает в его голову, тем лучше понимает он свое положение. Наш долг, Петр Ананьевич, всеми силами способствовать умственному развитию рабочих.

Пробыл Петр в Женеве дольше, чем предполагал. Все не удавалось набрать вдоволь нужных для дела книг. Давно истекли сроки, определенные университетским начальством, тревожились уже, должно быть, Андрей и Арон, а Петр все ждал поступления новых изданий. И только к весне все было готово к его возвращению на родину.

В дорогу его собирали Георгий Валентинович, Роза Марковна и Виктория. Упаковывали книги в футляр скрипки, под подкладку пиджака, в коробки из-под торта. На вокзал Петр отправился, прибавив в весе не менее чем полпуда. Именно столько тянули книги, размещенные под костюмом. Петр вез литературу, изданную преимущественно группой Плеханова: «Речь Петра Алексеева», сочинения самого Георгия Валентиновича — «Русский рабочий в революционном движении», «Наши разногласия», «Социализм и политическая борьба».

Он ехал в Петербург, не ведая об опасности. А там в его отсутствие произошли прискорбные события. Был арестован Андрей Гурьев, а совсем недавно, девятого марта, у бестужевки Анны Флеровой, невесты Арона Бесчинского, полицией были изъяты корзина и сундучок, принадлежащие, как установила охранка, студенту Петру Красикову. В руки жандармов попали весомые улики: запрещенная брошюра Каутского «Программа и основы социал-демократии», фотография Карла Маркса и дневник Анны с компрометирующими их всех записями. Вслед за тем появился секретный циркуляр департамента полиции, адресованный «господам губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам губернских жандармских и железнодорожных полицейских управлений и всем пограничным пунктам». К циркуляру был приобщен список лиц, подлежащих розыску. Вторым в нем значился «Петр Ананьев Красиков». Его предписывалось «обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение начальника С.-Петербургского губернского жандармского управления».

На пограничной станции зловещий циркуляр еще не был получен. После таможенного досмотра Петра беспрепятственно пропустили на территорию Российской империи. А утром поезд прибыл в столицу.

Сойдя на бетонный перрон Варшавского вокзала, Петр вздохнул глубоко, с наслаждением, как человек, вынырнувший

из-под воды. Он был дома! Здесь все выглядело родным: и по-северному дымное небо, и неприглядные кирпичные здания, и шумные пассажиры с мешками, сундучками, корзинами, и даже маячивший у вокзальной двери городовой с сонным лицом…

Впрочем, этот городовой напомнил ему о другой такой же скалоподобной фигуре — швейцаре Кузьмиче в доме Бесчинских. Петр явственно вообразил знакомое лицо Кузьмича — пористую кожу щек, бугристый синевато-пепельный нос, оттопыренные бесцветные губы. Лицо и особенно маленькие цепкие глаза швейцара Бесчинских обыкновенно возбуждали в Петре странную внутреннюю оторопь.

Воспоминание это несколько омрачило радость от встречи с Петербургом. Он поостерегся ехать с вокзала к Арону, хотя это было бы всего удобнее. Подрядив извозчика в Озерки, Петр отправился туда, где его никто никогда не видел, — к Леонтию Антоновичу Федулову.

Внезапное появление Красикова оказалось для Леонтия Антоновича настоящим праздником. В неподпоясанной рубахе, невысокий, коренастый, с широким добродушным лицом, пожилой машинист дома вовсе не походил на того робеющего перед Петром кружковца, каким бывал на занятиях в подвале старого дома на Васильевском. Домашним своим хозяин представил нежданного гостя инженером-путейцем из Петербурга. Жена Леонтия Антоновича, недоверчиво взглянув на Петра, принялась хлопотать у плиты, а мужчины уединились во второй комнате.

Из-за болтливости тещи Федулов не решился оставить у себя литературу, и Петр отвез ее к супругам Еремеевым, своим давним знакомым.

На рассвете в номер ворвались полицейские. Почти безучастно он наблюдал, как они роются у него в чемодане, постели, столе, простукивают стены и подоконники. Петр усмехнулся: «Уж не думают ли они, что я со вчерашнего вечера успел замуровать здесь тюки с литературой? Воистину страх сильнее рассудка…»

Петр был спокоен. Все «криминальное» осталось у Еремеевых. И хотя в гостиничном номере ничего найдено не было, его все-таки арестовали.

На Шпалерной, в Доме предварительного заключения, продержали недолго. На другой день в громоздкой карете при двух конвойных повезли на Гороховую, в губернское жандармское управление.

В кабинете следователя у стола расположились двое — жандармский полковник с седеющими бакенбардами и

тонколицый человек неопределенного возраста в темном мундире ведомства юстиции. У этого был внимательный неотступный взгляд.

Полковник Шмаков в присутствии товарища прокурора Закревского — их фамилий Петр тогда, впрочем, не знал — приступил к допросу арестованного. Наружность студента была отнюдь не богатырской, и жандарм, очевидно, вознамерился достичь цели без промедления. Сначала Петр недоумевал, зачем допрос. Ведь если его арестовали, не обнаружив никаких улик, то либо они располагают чем-то против него, либо им попросту наплевать на процессуальные нормы.

Но по смыслу вопросов он скоро сообразил, что жандармов интересует не столько студент Красиков, сколько его связи с Плехановым и его товарищами по «Освобождению труда». И Петр понял: теперь все зависит от его выдержки. Быть предельно осторожным в словах, ни в чем не сознаваться, не допустить ни одного промаха — таково должно быть его поведение.

А жандармский полковник тем временем уговаривал его взглянуть на положение вещей трезво, подумать о собственном будущем и благоденствии семьи. У него ведь жена и малютка-сын, а пока нет ни состояния, ни образования. Петр молчал. И полковник Шмаков пустил в ход главный, по его мнению, козырь:

— Не соизволите ли в таком случае, господин Красиков, объяснить, от кого было получено сие письмо, обнаруженное в ваших вещах? — Он положил на стол два исписанных листа. — Вот письмо на французском, а это — дословный перевод. Припоминаете? Нет? Ну что ж, напомню: «При настоящих обстоятельствах для русского интеллигента есть только два пути: или навсегда покинуть родину и искать убежища на другом берегу, или заняться пропагандою всеми возможными способами в рабочей среде, как наиболее благоприятной». Так от кого это получено?

— Покажите конверт, — попросил Петр. Он понимал, что это провокация. Письмо, разумеется, подложено, ведь сундучок его долго стоял без хозяина. — Пока не увижу конверт, не смогу ответить.

— Ваше право не отвечать, — промолвил полковник.

— И я не премину воспользоваться этим своим правом во всех случаях, когда вы будете прибегать к провокации.

— Провокации?! Превосходно! Ротмистр Невистов! — Полковник побагровел. В кабинет вбежал молоденький офицер. Вытянулся перед полковником. Тот, не отводя глаз от Красикова, распорядился: — Отправьте этого господина в крепость! Пусть поразмыслит в одиночестве. Быть может, уразумеет, что

запирательство бессмысленно.

Отъехав немного от Гороховой, карета внезапно остановилась. В низенькую дверцу пробрался ротмистр Невистов, присел около Красикова, закурил сигару, протянул коробку арестованному. Петр отрицательно повел головой.

— Позвольте поговорить с вами, так сказать, неофициально. — Голос у ротмистра был мягкий, располагающий. — Вы, я понимаю, удивлены. Но поверьте, мне очень любопытны люди, подобные вам. Не могу понять, как человек из более или менее состоятельной семьи, с образованием и обнадеживающими видами на будущее входит в преступные сообщества. Вам ли не быть довольным судьбой? Студент лучшего императорского заведения, владеете языками, бываете в Европе. — Его изумление казалось непритворным. Неужели жандармик ищет ответов на вопросы о смысле жизни? Петр молчал, ожидая, чем закончатся излияния души. — Я понимаю, вы мне не верите, — продолжал ротмистр с некоторым даже огорчением. — Кто я для вас? Жандарм — и только. Но уверяю вас, здесь нет ничего, кроме любопытства перед психологической загадкой. Психология души — моя страсть.

— Не эта ли страсть привела вас на службу в жандармский корпус? — насмешливо спросил Петр.

— Смеетесь? — Невистов ничуть не обиделся. — А между тем вы оказались провидцем. Именно этой страстью был движим, вступая в корпус. И немало поучительного повидал за время службы.

— Воображаю, как много поучительного стало затем известно вашему полковнику.

— Упаси бог! Да я с полковником вне службы и не встречаюсь. Что у нас общего? Он из богатых дворян, я из разночинцев…

Ротмистр был так уязвлен, что невозможно было усомниться в его искренности. Он даже отвернулся.

— В таком случае, — сказал Петр, — вам более пристало бороться с государством богатых дворян, чем быть его ценным псом.

Трубецкой бастион Петропавловской крепости, камера сорок пять. Места для одного человека здесь, пожалуй, довольно. От стены до стены в ширину — саженей пять-шесть, в длину — десять — двенадцать. Мало света? Что ж, тюрьма. Каменный пол, глухие стены, приросшая к одной из них изголовьем железная койка с тощим матрацем, застланным грязно-серым одеялом, прикрепленный к стене столик, тяжелая дверь в глубоком проеме,

зарешеченное оконце под полуовалом потолка. Подходящее место для «раздумий в одиночестве»…

Петр осмотрелся и, преодолев брезгливость, опустился на койку. Нет, не для живого человека этот каменный мешок. И уж не для него — это очевидно. Он по нраву непоседа, ему нужны люди, движение, свет. Без людей ему и думать-то не по силам.

Чего это ротмистр к нему подъезжал? У него, видите ли, любопытство к психологическим загадкам. Но ведь и впрямь людям подобного сорта должна представляться безумием борьба против государственных порядков. Почему бы ему, Петру Красикову, восставать против них? Он ведь и в самом деле студент императорского университета, перед ним действительно открываются «обнадеживающие виды». Зачем же ему ставить себя в положение отверженных, чей удел — аресты, допросы, изгнание?..

Но разве такие, как он, по нынешним временам — исключение? Разве не растет с каждым днем число честных русских интеллигентов, убежденных, что борьба неизбежна, что легче принять ссылку на вечное поселение, каторгу, виселицу, чем жить в благоденствии и покое, пока Россия задавлена бесправием и гнетом?

Сама жизнь, сама власть, жестокая и слепая, обостряет в душах у них — и в его, Петра Красикова, душе тоже — чувство справедливости. У них — обостряет, а у господ жандармов — притупляет. Что ж, «edem sui», каждому свое.

Заскрежетал замок, открылась тяжелая дверь. Вошел надзиратель с горящей свечой. Водрузил ее на столик, рядом положил еще одну, запасную, и глухим, потусторонним голосом, не поворачивая головы к арестанту, объявил:

— Ночью положено огня не гасить.

Опять проделала свой короткий путь увесистая дверь, опять металлически проскрежетал замок, и камера погрузилась в дремучую тишину. Петр встал с койки. При слабом огоньке свечи камера сделалась еще более неприглядной. В углах загустела тьма, за оконцем чернело небо, тишина осязаемо давила на череп…

Некоторое время Петр не двигался. А когда сделал шаг, стук тюремных туфель о каменный пол отозвался в мозгу пробуждением. Это был звук жизни, воскрешающий из небытия. Еще шаг, еще. Цок, цок, цок! Важно двигаться, одолевать безысходность, постоянно помнить, что не все погибло, что придет еще время свободы.

Цок, цок, цок! Скольким узникам довелось мерять шагами эту камеру? О чем размышляли эти несчастные в каменной могиле

Трубецкого бастиона? Он слышал, что не все выдерживали одиночное заключение, сходили с ума, принимали яд…

А он? Достанет ли ему сил устоять? Не прошло пока и суток жизни узника. Жизни?! Это не жизнь, а тление погребенного заживо. Ну вот! Что же это ты, Петр Красиков, с первого дня впадаешь в истерику? Довольно! Ни одной такой мысли он впредь себе не позволит. Сумеет справиться… Станет читать, размышлять, по утрам делать гимнастику.

Цок, цок, цок! Перед самым лицом темная глухая стена. Цок, цок, цок! Опять стена. Цок, цок, цок! Под ногами камень, над головой камень, перед глазами камень. Цок, цок, цок…

IV

Много ли надо времени узнику, чтобы до тонкостей изучить нехитрый распорядок жизни в крепости? Спустя три-четыре дня Петр уже знал заранее, когда проснутся надзиратели и сквозь кованные железом двери проникнут их приглушенные голоса и шаги, в какой час они сменяют друг друга, когда и что принесут на завтрак, обед и ужин, в какой час начнется прогулка, когда станут раздавать передачи.

Что до передач, то ему ждать их было не от кого. После возвращения из-за границы он виделся только с Федуловым. А о его аресте и Леонтию Антоновичу не было известно. Какие могут быть передачи?

Потому-то Петр так удивился и растерялся, когда молчун-надзиратель, войдя в камеру, буркнул: «Передача» — и сунул ему в руки увесистый матерчатый мешок. Петр хотел сказать, что произошла ошибка, что ему никто не мог ничего передать. Но дверь тотчас затворилась, и надзиратель исчез.

Мешок был столь тяжел, словно его набили камнями. «Наверное, книги», — подумал он. Перебороть искушение и не заглянуть в мешок теперь было выше его сил.

Петр не ошибся. В мешке помимо копченой колбасы, домашнего печенья и папирос (очень даже кстати!) Петр обнаружил несколько книг по экономике и праву, и среди них «Капитал» Карла Маркса на французском языке…

От кого пришла передача, Петр так и не понял, но что она предназначалась ему, сомнений не было. Только много лет спустя Глеб Максимилианович Кржижановский случайно проговорился, что когда-то он с одним студентом-естественником носил передачи Андрею Гурьеву и Петру Красикову. Появление в камере «Капитала» изменило всю жизнь узника. Пусть света для чтения

мелкого шрифта было недостаточно, пусть французским владел он не так, чтобы свободно читать столь сложное научное сочинение, — не беда. Он устраивался у столика и углублялся в «Капитал»…

Постигать Маркса было нелегко, хотя он не первый раз читал эту замечательную книгу. В четверг сразу после завтрака в камере появился надзиратель с бутылочкой чернил, пером и листком почтовой бумаги. Положил все на столик и объявил:

— Нынче дозволяется писать письмо домой. Не положено извещать, где пребываете и как содержат вас.

Выяснилось, что четверги и понедельники были «почтовыми днями». Искушение сообщить на волю о себе все без утайки было велико. Однако письма подвергались строжайшей цензуре, и нарушение запретов каралось лишением права переписки.

Писать приходилось едва ли не вслепую. Поразмыслив, Петр решил первое письмо отправить в Женеву Виктории. Затем долго ломал голову, изобретая способ известить ее, а следовательно и Георгия Валентиновича, о своем провале. Написал, что занятия в университете не оставляют ему ни минуты досуга и посему сообщать о себе впредь он будет реже. Тем не менее тревожиться за него незачем — экзамены он выдержит. Крепостная цензура, решил он, очевидно, не найдет ничего предосудительного в его эзоповском языке…

Сквозь окно в глубокой нише проглядывал клочок неба. Оно на глазах наливалось голубизной. Из-за двери дошли обычные утренние звуки — стук шагов, голоса.

Очередной день заключения…

По-иному он словно бы никогда и не жил. Здесь все сделалось обыкновенным, привычным, до мелочей изученным. Случалось, ударяли по сердцу мысли о свободе, о том, что за крепостными стенами и высокими каменными заборами жизнь идет так же, как прежде, когда он еще не был узником. Народ ходит по улицам, ездит на извозчиках, в конке, служит, студенты сидят на лекциях, произносятся речи на «чаях», пишутся прокламации, читаются запрещенные книги. Но воспоминания эти, вспыхивающие в сознании подобно отблескам далеких зарниц, подолгу не держались. Размеренный тюремный быт и однообразно текущее время подавляли все…

V

Более полугода полковник Шмаков не напоминал о себе. Но жандарм не бездействовал — искал «уличающих сведений» о подследственном. Истребовал документы, запрашивал Красноярск и университетское начальство, вел переписку с агентом русской охранки в Париже Рачковским. Лишь осенью Красикова наконец повезли на допрос. В кабинете полковника вновь сидел, как непременная принадлежность обстановки, бессловесный товарищ прокурора Закревский.

— Отдохнули, господин Красиков? — любезно поинтересовался жандарм. — Не угнетает ли одиночество?

— Почему же? Думаю в одиночестве, как вы советовали.

— О чем вам думать? — В голосе полковника не убавилось доброжелательности. — Пришло ваше время отвечать. Именно отвечать. Мы, господин Красиков, располагаем бесспорными доказательствами вашей связи с Плехановым. Вы с ним встречались и в первую, и во вторую поездку. Не угодно ли полюбоваться? — Он протянул Петру фотографический снимок. На нем были запечатлены Плеханов и Красиков у Женевского озера. Петр Ананьевич помнил эту фотографию — он сам уговорил Георгия Валентиновича сняться на память. Могло ли ему прийти в голову, что маленький улыбчивый человечек с фотографическим аппаратом на треноге за несколько франков продаст агенту русской охранки этот снимок?

— Удостоверились? Вы и теперь станете твердить, что были в Женеве только в девяносто втором году и не имели связей с Плехановым?

Петр сумел сохранить самообладание, хотя и лихорадочно соображал, как поправдоподобнее опровергнуть опасную улику.

— Снимок, очевидно, был сделан в девяносто втором году, когда я действительно приезжал в Женеву и познакомился с Плехановым через его жену. Она врач и пользовала нас…

— Господин Красиков, господин Красиков! Зачем же это? Вдумайтесь. В девяносто втором вы были в Женеве летом, так ведь? А на фотографии вы и ваш наставник в пальто. Как же?..

— Был, кажется, пасмурный день. У озера сыро. Мне нездоровилось. А у Плеханова больны легкие.

— Жаль. Вы мне казались неглупым человеком. Ошибся я в вас.

— А я в вас — нет.

В середине ноября Петра неожиданно перевели в «предварилку» на Шпалерной. В камере, куда он попал, содержалось десятка два заключенных — рабочих, студентов, чиновников. Публика была по преимуществу общительная, «свежая», сохранившая еще привычки вольной жизни. От нее словно бы исходило дыхание свободы. В камере почти не прекращались словесные бои. И Петр несколько дней кряду без устали разговаривал, смеялся, напевал.

Недели две промелькнули, как один день. Внезапно его препроводили в тюремную канцелярию, и помощник начальника «Шпалерки» казенным голосом известил, что Красиков Петр Ананьев освобождается под залог в пятьсот рублей, внесенный старшей сестрой заключенного. Новость была столь ошеломляющей, что Петр в первое мгновение и не подумал, как тяжело досталась эта громадная сумма семье. Мысль пришла вовсе малозначительная: «Вот, господин полковник, чем все кончилось. Зря вы старались». Однако тюремный чиновник несколько охладил его, разъяснив, что ему предписывается выехать в Красноярск под гласный надзор полиции и там дожидаться завершения следствия. Для устройства дел ему разрешено пробыть в Петербурге не более трех суток.

За три дня Петр даже не успел толком поговорить со старшей сестрой Евгенией. Чуть свет уходил из гостиницы и дотемна колесил по Петербургу. Побывал у Бесчинского, узнал, что Гурьев угодил в якутскую ссылку, что арестован Трегубов, а сам Арон и Аня отсидели месяц под следствием. Их провал был делом рук Кузьмича. Они установили со всей очевидностью, что бывший швейцар служил в охранке. Как ни противился отец, Арон настоял, чтобы Кузьмича в их доме не было. Теперь они сами за ним следят, и предателю не миновать расплаты.

Вдвоем съездили к Еремеевым и с величайшими предосторожностями перевезли сохраненную ими литературу в надежное место. Затем побывали в университете. В деканате Петра ознакомили с циркуляром министра просвещения Делянова, коим студент Красиков «исключается из С.-Петербургского Императорского университета. Указанному лицу запрещается педагогическая деятельность. Он не может быть принят в какое-либо другое учебное заведение министерства народного просвещения».

Арон ждал его в пролетке. Петр с улыбкой сообщил о министерском циркуляре и добавил:

— Они сами помогают нам порвать с «обществом» и избавиться от иллюзий. Великодушно с их стороны.

Бесчинский кивнул головой и тоже улыбнулся. Но это была

невеселая улыбка. Видно было, что он огорчился новостью. Петру казалось, что Арон вообще преувеличивает его способности и совершенно напрасно полагает, что Красикову без университетского образования никак не обойтись.

— Не печальтесь по этому поводу, — сказал Красиков. — Мы своего не упустим. Наверстаем, вопреки циркуляру господина министра.

— Разумеется, наверстаете, — воодушевился Арон. — В таком случае, поедемте дальше. Не спорьте! Там, куда я вас везу, побывать совершенно необходимо. Вы мне еще скажете «спасибо».

Он привез Петра к Глебу Кржижановскому. Собственно, в первую минуту большеглазый молодой человек с бородкой показался Петру лишь отдаленно знакомым. Да и хозяин не сразу узнал гостя. Они смотрели друг на друга озадаченно, пока хозяин первым не воскликнул:

— Вот те на! Да это же Петр Красиков! Неужели они разрешили вам остаться в Петербурге?

— Разрешили, — улыбнулся Петр, — на три дня. Для устройства дел. А затем — Красноярск, гласный надзор. А пока вот успел узнать о циркуляре господина Делянова, коим меня исключили из университета со всеми неизбежными последствиями.

— Да-а… Печально. Но ничего, увы, не поделаешь. Они вольны поступать с нами как им заблагорассудится. Хотя мне-то сейчас как будто не на что жаловаться. Нынешним летом диплом получил. Но радости мало. На кого работать, кому служить с нашими техническими ли, юридическими ли знаниями? Они нам понадобятся для нашего дела. Я почти не сомневаюсь, что мы с вами будем еще служить так, чтобы не протестовал разум. У меня, кстати, есть гектографированная рукопись одного товарища. К сожалению, вам с ним сейчас познакомиться не удастся. Вы ведь завтра уезжаете, да? А вот рукопись до утра я вам дать смогу. По-моему, это блистательно!

Неизвестный Петру марксист работу свою назвал «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?». Петр начал читать с некоторым недоверием. Что можно сказать по этому поводу после Плеханова? Но рассуждения автора захватили его едва ли не с первой страницы, и он прочел эту довольно объемистую работу не отрываясь. Это было написано остро и не менее убедительно, чем у Плеханова. Петр вспомнил слова Георгия Валентиновича о «ниве, засеянной группой „Освобождение труда“», и четко произнес вслух:

— «Жатва будет куда обильнее, чем ожидаете». Сказал и увидел, что уже утро и что неслышно вошедшая к нему в номер

Евгения смотрит на него с недоумением и беспокойством.

— Не тревожься, сестра. Я в здравом уме и ясной памяти. Просто попала мне в руки замечательная, умнейшая книга. Пока я с господином Шмаковым пикировался, жизнь на месте не стояла. Новые люди пришли. Мы будем теперь куда сильнее.

К Николаевскому вокзалу они с Евгенией катили по Невскому на извозчике. Петербург растворился в снегу. За белой полупрозрачной стеной снегопада едва угадывались высокие здания, бесформенными пятнами мелькали встречные сани. Петр во все глаза смотрел по сторонам. Как знать, скоро ли он сюда вернется и вернется ли?

Пальто и платок Евгении сделались совершенно белыми от снега. Она смотрела на брата счастливыми глазами. Евгения была самой рассудительной из них троих. Она нисколько не походила на чувствительную и вспыльчивую, как отец, Лизу и еще менее — на брата, увлекающегося и склонного к безрассудству. У Евгении была материна спокойная, уравновешенная натура. Потому-то так растрогал Петра взгляд ее серых, обыкновенно невозмутимых, а сейчас исполненных материнской нежности глаз.

— Ничего, Женечка, ничего. — Он сжал руку сестры в шерстяной варежке. — Теперь уж ничего со мной не случится.

— Ох ты, беда наша, — вздохнула она и улыбнулась. — Исхудал-то как! И в чем только душа держится?

— Были бы кости… Да что обо мне? Расскажи-ка лучше о доме. Что ты делаешь? Мама как, Лиза, старик?

— Чего рассказывать-то? Я в фельдшерской школе служу второй год. Кто с ссыльными знается, тому лучше места не сыскать. У нас молодежи много, собрания бывают. Ну и жалованье мне какое-никакое платят. А дома что ж? Худо все. Дед вовсе никуда не гож. Болеет и уж почти не служит. Мама тоже хворает. Лиза? О ней-то чего тревожиться? Молодая, красивая. Отбоя от ухажеров нет. Замуж пора, а она все принца какого-то заморского ждет.

— Пусть ждет. С этим не опоздает.

— Не опоздает, — согласилась Евгения. — Она у нас боевая, вроде тебя.

— Ты, что же, осуждаешь ее? Вот погоди, приедем домой, — сам за ваше воспитание возьмусь.

— Ох ты, беда наша! — Евгения обезоруживающе улыбнулась. — Тебе себя бы воспитать, чтобы сестре из крепости выручать не приходилось. Виктория-то хотя бы знает?

— Не могу сказать. Очевидно, догадывается. Я намекал в письмах. А от крепостей нас теперь не уберечь. Если таких, как я,

в крепостях не держать, для чего тогда сыщикам и жандармам жалованье платить? Будут, Женечка, непременно будут еще и тюрьмы, и допросы, и приговоры. От этого не уйти. Да я и не хочу уходить. Один очень умный человек, постарше меня, сказал, что обязательно доживет до революции в России. И мы с тобой доживем. Так страшно ли ради этого в крепости посидеть? Пусть злобствуют перед гибелью своей…

VI

Март. В северной столице, несравненном Санкт-Петербурге, должно быть, как и здесь, пока лежит снег и дуют холодные ветры. Однако там нет-нет, а что-то и напомнит о весне. То пахнет сыростью от залива, то затрещит лед на Неве. Здесь же, в Красноярске, зиме не видно конца. Енисей скован льдом, способным выдержать поезд, — хоть рельсы по нему прокладывай. На улицах и площадях, во дворах и на пустырях высятся сугробы девственно чистого снега. Ели во дворе консистории укрыты снеговыми шалями. Снежные оборки на карнизах каменных зданий управы, губернской канцелярии, дома инженера Трегубова. Блестит под солнцем санная колея на Благовещенской.

К паперти собора стекаются богомольцы. Наклонили головы, прячут лица от ветра в меховые воротники, а кто попроще — в шарфы. Женщины укутали головы платками. На ногах у всех пимы либо валенки. А небо чистое, синее. Светит линялое солнце. Стало быть, как ни живуча в Сибири зима, а и сюда, на берега Енисея, неизбежно в свой срок придет весна…

Петр в халате и домашних туфлях на босу ногу стоял у окна, курил и, глядя на оживающую Соборную площадь, вспоминал встречу и разговор с новым ссыльным петербуржцем. Вчера, возвращаясь со службы, он увидел у церковной ограды Альберта. Озябший, с заиндевелыми бровями, Залкинд пританцовывал у паперти, поглядывая в сторону Воскресенской, откуда должен был появиться Красиков. Петр догадался, ради кого погибает на морозе Альберт, и заторопился.

— Меня, что ли, ждешь? Окоченел?

— Пока дышу, — сморщился в улыбке Альберт. — Можешь отделаться от домашних? Чего таращишься? Давай, давай! Торопись, господин поднадзорный. Пойдем на Большекаченскую.

— Новое знакомство? Кто?

— Гляди на него, каков! Придет срок — узнаешь.

Начинало темнеть, когда друзья подошли к заезжему дому Клавдии Поповой, где обыкновенно находили кров прибывающие в Красноярск ссыльные «политики». Навстречу друзьям по обледенелой дорожке шел пристав Никита Лукич Лесихин в длинной шинели и казенных валенках. На погонах золотыми капельками поблескивало по одной звездочке. Он кивнул молодым людям и осторожно, опасаясь поскользнуться, двинулся дальше, в сторону Благовещенской.

— Нанес визит гостю, — догадался Альберт.

— Как же без него! Служит исправно, — согласился Петр. — Чтобы никто ни-ни!

— Пойдем. — Альберт торопился. — Я ведь обещал привести тебя сразу после службы. А мне уйти надо. Дома ждут.

Во дворе стояла белая от снега телега, на веревке висело промороженное ломкое белье. Друзья поднялись на крыльцо, вошли в темные сени. По деревянным, выскобленным дожелта ступенькам взбежали на второй этаж. Заезжий дом был чист и уютен, хотя и весьма беден. Квадратное оконце скупо пропускало в коридор, устланный полосатым половиком, свет зимнего вечера. На стенах висели вырезанные из «Нивы» картинки, на дверях — бахромчатые портьеры. Альберт указал на последнюю дверь:

— Нам сюда, — и как только вошли, объявил: — Вот и привел я, Владимир Ильич, нашего Петра Красикова. Если позволите, я вас оставлю. Надо идти. Дела!

Угловая комната с тремя большими окнами была во власти беспорядка. На столе, стульях, диване лежали связки книг, тетради, разрозненные листы бумаги. На спинку кровати было брошено мужское пальто. На полу стоял открытый чемодан. В комнате хлопотал молодой человек с русой бородкой в темном пиджаке, наброшенном на плечи поверх подпоясанной ремешком белой рубахи. Он пожал руку Залкинду и, когда тот ушел, картавя, заговорил с Петром:

— Не успел, понимаете ли, управиться. Пристав нежданно-негаданно пожаловал. Вы располагайтесь. — Он увидел, что гость чувствует себя неловко, и заверил: — Вы мне нисколько не мешаете. — Подал руку: — Владимир Ильич Ульянов. А о вас я от товарища вашего узнал. Вы ведь, Петр Ананьевич, мой коллега по юридическому факультету, так ведь?

— Так, Владимир Ильич. Но ныне ссыльный, состоящий под гласным надзором. — Петр крепко сжал руку Ульянова и ощутил ответное сильное пожатие. — Рад видеть в здешних местах товарища по альма-матер, хотя я-то курса не окончил.

— Ваша история мне известна едва ли не во всех подробностях. Кто-то из наших, по-моему Глеб Максимилианович, рассказывал. Сознаюсь, давно хотелось познакомиться и, как видите, судьба в лице жандармского управления пошла навстречу. Мне кажется, мы станем товарищами. Георгий Валентинович рассказывал, что он с вами легко сошелся. У нас, надеюсь, тоже найдется много общего?

— И я надеюсь, — кивнул Петр. — А сейчас я, пожалуй, пойду. Вам с дороги надо отдохнуть.

— Ни в коем случае! Вы и вообразить не можете, как соскучился я по людям, с которыми есть о чем поговорить. Нет, нет, Петр Ананьевич, я вас не отпущу.

Ульянов устроился у стола напротив гостя и принялся расспрашивать о настроениях среди ссыльных, интересуясь особенно, многие ли сохранили верность народничеству, дошла ли до Красноярска работа Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», и показал эту книгу, изданную в Петербурге. Петр отвечал охотно, и Ульянов надолго замолкал. Но, странное дело, и молчание его было столь выразительно, что гость угадывал, как восприняты ответы, и радовался, когда Ульянов смеялся, когда он с довольным видом принимался ходить по комнате.

— Вы бы доставили мне особенное удовольствие, — сказал он на прощанье, — если бы еще как-нибудь побывали у меня.

— Да это можно сделать хоть завтра, — ответил Петр. — У меня свободный от службы день, — и объяснил: — Служу в должности приемщика грузов в Ангарском пароходстве. Служба удобная: с людьми связан и на существование зарабатываю. У меня ведь жена и два сына.

— Хорошо это — семья, дети. — Ульянов улыбнулся. — А мне двадцать семь скоро, а вот не женат. Ну что же, до завтра…

«Разумеется, семья — это хорошо, — плотнее запахивая халат, думал Петр. — Однако то, что происходит у нас с Викторией, вряд ли кому-нибудь придется по душе».

За пологом заскрипела деревянная кровать, послышался протяжный вздох. И тотчас же прозвучал голос жены:

— И чего человеку не спится? Воскресенье ведь. Что за нужда вставать в такую рань? Себе житья нет, и людям одно беспокойство.

Петр промолчал. Даже губу закусил, чтобы не вспылить. С той поры, как они съехались в Красноярске и стали жить, как все ссыльные, ладить с ней нет никакой возможности. Он уж позабыл вовсе, какая у нее улыбка. Жена при нем неизменно замкнута, отчуждена. Из-за любой малости плачет. На расспросы не отвечает. А когда он по распоряжению жандармского полковника Люмбаха был отстранен от уроков в купеческих домах, она вообще перестала с ним разговаривать. Он так и не понял, в чем его вина.

Теперь при встречах с мужем взгляд ее бывает пуст, словно бы перед ней неодушевленный предмет. Даже к сыновьям она утратила интерес. По вечерам уходит к родителям и засиживается там допоздна. Петька, краснощекий пятилетний озорник, и молчаливый бледненький Гошенька остаются на попечении отца

и бабушки.

Догадаться, о чем беседует Виктория со своими родителями, нетрудно. Петр знает наверное, что там, в доме Пржигодских, ему неизменно выносят обвинительные вердикты. Тесть и теща еще шесть лет назад, когда они с Викторией только решили пожениться, предали будущего зятя анафеме на свой римско-католический лад…

— Ты не забыл, мы обедаем у наших. — Виктория, должно быть, уже встала и оделась. — Не вздумай никуда уходить.

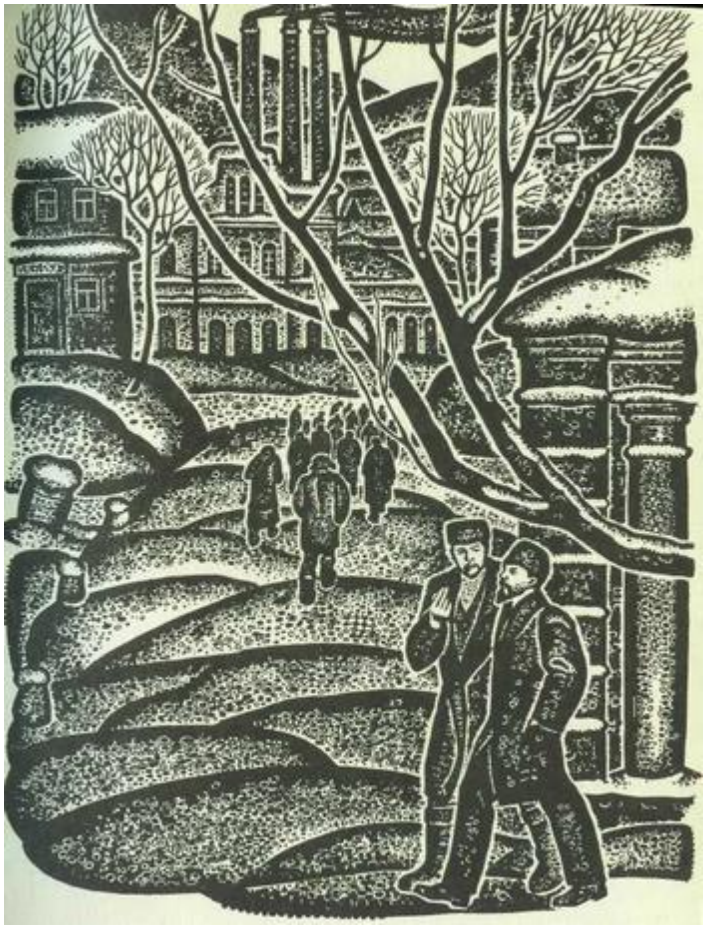
— Я не смогу пойти с тобой, — сказал Петр, не оборачиваясь. — У меня важная встреча.

— Важная встреча! — воскликнула Виктория. — У отца день рождения. Не помнишь? Для тебя все важно, кроме семьи. Пресвятая дева Мария, как я была слепа!

Петр молчал, а она все более распалялась. Дождавшись, когда она выговорится, он обернулся:

— Давай-ка позавтракаем. Нам, кажется, теперь лучше поменьше общаться друг с другом. Так будет спокойнее.

Она быстро взглянула на него и принялась накрывать на стол. За завтраком не было сказано ни слова. Петр в задумчивости гладил по головке льнувшего к нему Петьку. Виктория кормила Гошеньку.



Неловко было являться к Ульянову в столь раннее время. Не то Петр сразу отправился бы на Большекаченскую. Он взялся за «Общественный договор» Руссо, механически перелистывал страницы, не понимая ни одного прочитанного слова. Затем отложил книгу, усадил на колени сыновей, затеял Петькину любимую игру в «ямщика». Но ни захлебывающийся хохот первенца, ни робкий смех Гошеньки на сей раз не принесли успокоения.

Оказавшись наконец в послеобеденный час на Большекаченской, Петр едва ли не бегом пустился к заезжему дому.

В угловой комнате на этот раз все находилось на местах. Книги — их было, пожалуй, чересчур много для только что прибывшего в ссылку петербуржца — стояли на полках, прибитых к стенам, на подоконниках, на этажерке. Раскрытая брошюра, тетрадь и чернильница на столе делали ясной картину, предшествовавшую приходу гостя.

— Я не помешал? — спросил Петр.

— Мы ведь условились. — Ульянов закрыл тетрадь, брошюру, отодвинул чернильницу и перо и, как бы оправдываясь, объяснил: — Увлекаюсь изучением российского капитализма. Читал прелюбопытную книжицу, сочиненную господином Воронцовым. Интересно рассуждают господа народники. Кое-что записываю.

— Должно быть, не только для себя?

— Нет, конечно. Собираюсь писать об этом. Но и для себя кое-какие открытия делаю. Скажем, обнаружил в литературе, что рабочее население России составляет около пятнадцати с половиной миллионов человек мужского пола. Речь идет о Европейской России. Наемных же рабочих, пролетариев, из них семь с половиной миллионов. Это статистика. С ней лучше не спорить. А вот вам рассуждения господина Воронцова. — Ульянов показал гостю брошюру с заглавием на обложке «Очерки теоретической экономии» и открыл свою тетрадь. — Вы только послушайте! — Он стал называть цифры, проценты, в которых Петру было не так-то просто разобраться. А Ульянов не на шутку разволновался, прошелся по комнате, заложив руки за спину, возвратился к гостю и, склонив голову набок, заговорил рассерженно, словно перед ним был не Петр Ананьевич Красиков, а «господин Воронцов»: — Какое бесстыдство! В Европейской России, видите ли, наемных рабочих всего лишь чуть более миллиона! А «при полной капитализации» их станет максимум два миллиона! Куда же, позвольте спросить, девать три с половиной миллиона сельскохозяйственных наемных рабочих, существующих сегодня? А миллион строительных рабочих? А два миллиона пролетариев, занятых в лесном деле, и еще два миллиона работающих на дому? Да и как можно не видеть, что часть этой громадной массы пролетариев уже порвала с землей и живет исключительно продажей рабочей силы? Давно известно, хуже всякого глухого тот, кто не хочет слышать. Господа же Воронцовы не только слышать, но и видеть не хотят. Согласиться, что у нас в России растет тот самый пролетариат, который, по Марксу, становится могильщиком буржуазии, — это все равно что публично высечь себя за невежество. Вот они и… Впрочем, я увлекся.

— Мне очень интересно.

— Интересно? — Ульянов удовлетворенно засмеялся. — Конечно, интересно. Для социал-демократа вопрос о развитии капитализма и росте пролетариата — это вопрос вопросов. Согласны?

— Разумеется.

— Превосходно! Вы не представляете себе, что значит для

меня встретить еще одного единомышленника. — Глаза его изменялись едва ли не с каждой фразой. Они делались задумчивыми, затем — негодующими, встревоженными, мечтательными. — Нас пока мало. Трагически мало. И мы поставлены перед необходимостью бороться одновременно на несколько фронтов. Против нас царизм с его вооруженной силой, тюрьмами и жандармским корпусом, народники с их мелкобуржуазной и славянофильской ограниченностью, невежество и крестьянская нерешительность, которыми пока заражено сознание российского рабочего, и наша собственная разобщенность. России, Петр Ананьевич, нужна рабочая социал-демократическая партия, партия единая и потому сильная…

— Георгий Валентинович говорил то же самое.

— Плеханов? Безусловно. Да, а что он вам говорил? — Ульянов склонил голову, приготовившись слушать. Сейчас в его позе было что-то мальчишеское. — Так что он говорил?

В том, как он едва ли не приказывал Красикову дать отчет о разговоре с Плехановым, более всего сквозило нетерпение. И Петр стал рассказывать. Теперь каждое слово Красикова Ульянов сопровождал кивком головы.

— Шахматами не увлекаетесь? — спросил хозяин, когда гость умолк. — Я не прочь на досуге сыграть партию-другую.

— Передвигаю фигуры. Боюсь, вас такой партнер не устроит.

— А я ведь Фома Неверующий. Слова меня не убеждают. Их цену следует проверять практикой. — На столе уже стояла доска, и Ульянов расставлял фигуры: себе — черные, гостю — белые.

Петр был не слишком высокого мнения о себе как о шахматисте. Но отказаться от приглашения не смог. Пока играли, он следил не столько за положением на доске, сколько за лицом партнера. На нем отражались все оттенки настроения Ульянова. Вот он, хитро сощурившись, победно взглянул на соперника, сделал ход, засмеялся, довольный; спустя мгновение вдруг поднял брови, потер бородку, наклонился над доской и долго сидел, обдумывая комбинацию; затем испытующе посмотрел на Петра и, решившись наконец на ответственный ход, сказал словно бы самому себе: «Кто не идет на риск, тот не празднует победы».

Выиграв третью партию подряд, Ульянов покачал головой и сочувственно улыбнулся, как бы подбадривая Петра:

— Вижу, редко играете. Практики не хватает. А я-то? Хорош! — и заговорил уже по-иному, добродушно и чуть-чуть виновато: — Гостя обижаю. Не по-нашенски, не по-волгарски. Но законы борьбы превыше всего…

Убрал со стола шахматы и заговорил о другом. Спросил:

— По-вашему, Плеханов считает, что российская социал-

демократия созрела для подлинного объединения? Не показалось ли вам, что там несколько отвлеченно судят о наших делах?

— Нет, не показалось. По правде говоря, я чувствовал себя рядом с ними приготовишкой и внимал их словам, разинув рот. Но они, несомненно, настроены решительно и верят в русских товарищей.

— И мне так показалось. Это превосходно. Кстати, как вы вообще нашли Плеханова? Мечтает возвратиться?

— Какой русский за границей не мечтает о возвращении! — воскликнул Петр. — Я стал тосковать по дому на второй день.

— Очень, очень верно. Со мной было то же самое. — Ульянов задумался. Полистал книгу, поставил на полку, прошелся по комнате и, не оборачиваясь, попросил собравшегося уходить гостя: — Погодите, Петр Ананьевич. Провожу вас. На Красноярск посмотрю. Люблю с новыми городами знакомиться.

— Я покажу вам кое-что, — охотно вызвался Красиков.

По пути к Енисею Петр отвечал на вопросы чрезвычайно любопытного спутника, рассказывал о местных промышленниках, судовладельцах и купцах, об обитателях Теребиловки и Солдатской слободки, о марксистском кружке в фельдшерской школе.

Миновали последние деревянные домики и вышли к Енисею. К скованной льдом белой заснеженной реке террасами снижались Саяны. Их склоны укутала тайга. Даже в однотонном зимнем наряде, в снегу, она была зелена и свежа.

— Какая красота! — восхитился Ульянов. — Глаз не отвести. Воображаю здешний пейзаж летом!

— Да, Владимир Ильич, места у нас удивительно хороши. Нигде ничего подобного не видел. Главное же, в смысле конспирации отличные места. Заберешься в тайгу — никакая полиция не сыщет. Хоть один ты, хоть двое, хоть несколько сот…

— А вы, я вижу, сибирофил, — усмехнулся Ульянов. — Да ведь вы, кажется, родом из этих мест?

— Из этих. И хотя не все время в детстве здесь жил, привязанность моя к Красноярску неистребима.

Местом ссылки Ульянову был определен Минусинский округ. Однако он с разрешения полицейских властей провел в Красноярске едва ли не два месяца, дожидаясь прибытия остальных сосланных по делу Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», направлявшихся в Сибирь по этапу.

Это счастливое обстоятельство позволило Петру часто встречаться с Владимиром Ильичем. Петру было приятно, что и

Ульянову по душе их встречи. У них обыкновенно обнаруживалось совпадение точек зрения по тем предметам, о которых заходила речь. Но важнее всего для Петра было то, что Владимир Ильич открывал ему свое понимание будущего России. В том, как он, весьма молодой еще человек, ясно представлял, что произойдет спустя годы и десятилетия, и как логически убедительно объяснял ход своих рассуждений, было для Петра нечто загадочное, почти сверхъестественное.

В начале апреля приехали товарищи Ульянова и среди них — Глеб Кржижановский. Встреча с ним была трогательной. Петр еще в те времена, когда они бывали на собраниях землячеств, гуляли по столичным улицам в обществе Гурьева и Бесчинского, мечтали о чем-то розово-отвлеченном, проникся симпатией, почти нежностью к Глебу, человеку утонченно интеллигентному и мягкому. Именно эта мягкость и граничащая с робостью деликатность (качества, каких ему самому недоставало) так расположили Петра к Глебу.

И тем не менее радость встречи с ним была не такой, какой могла бы быть при иных обстоятельствах. Ее омрачала мысль о предстоящем в ближайшие дни отъезде Владимира Ильича. Без Ульянова существование в Красноярске станет совсем унылым…

Когда он провожал Владимира Ильича и его товарищей на пристани, у него было такое удрученное лицо, что Ульянов сказал:

— Не печальтесь, Петр Ананьевич. У нас впереди еще много встреч и не меньше расставаний. Я надеюсь на скорую встречу…

Владимир Ильич приехал в Красноярск больше чем через год.

Красиковы теперь жили на другой улице. После смерти деда пришлось съехать из дома при соборе. Виктория горевала. Почти все ее подруги по гимназии были превосходно устроены. Они вышли замуж за людей положительных, солидных и не знали, подобно ей, ни нужды, ни унижений. А ей на долю досталось едва сводить концы с концами и к тому же снимать жалкую квартирку в чужом небогатом доме.

Недоброе молчание, колючие слова, скорбные вздохи, презрительные взгляды — все это сделалось непременным условием пребывания Петра дома. Как ни тяжко было смириться с мыслью, что близится крах семьи, он более не пытался образумить жену. Просто пользовался любым поводом, чтобы уйти из дому.

А на сей счет сетовать не приходилось. Дел у него было с избытком. С утра — служба. По вечерам — занятия с кружком в общежитии фельдшерской школы. При содействии Евгении и

одной немолодой народницы — обе они служили в школе — он получил доступ в общежитие, якобы для занятий с отстающими ученицами, и создал там первый в городе марксистский кружок. На занятиях бывали и ученицы, и преподаватели, а случалось, и те, кто не имел отношения к школе.

С Альбертом и Борисом Чернявским, ставшим рослым красивым чиновником почтово-телеграфного ведомства, в свободные от занятий кружка вечера бывал Петр в рабочих бараках на Теребиловке и в Солдатской слободке. Иной раз все вместе отправлялись в дом Карауловых на собрания ссыльных. Там сходились по преимуществу закосневшие, устремленные мыслью в прошлое народники, и на собраниях случались весьма бурные схватки между ними и марксистами. После смерти Арсения немногочисленную группу красноярских марксистов возглавил Петр Красиков…

В сентябре девяносто восьмого года всюду поспевающий первым Альберт необъяснимым образом выведал где-то о приезде Ульянова и, как водится, примчался с этой новостью к Петру на службу. На другой день они встречали Владимира Ильича на пристани. Он приехал в Красноярск — с разрешения полиции — «к дантисту». В действительности же Владимиру Ильичу необходимо было изучить литературу и статистические материалы для работы над книгой о российском капитализме. Ульянов выглядел помолодевшим, бодрым и отнюдь не подавленным. Пока они шли от пристани вверх, он успел расспросить попутчиков о положении дел в Красноярске, о ссыльной публике, марксистах и народниках, о возможностях по части книг.

Петр рассказал обо всем, что знал, Владимир Ильич еще более оживился и сказал, что им, владеющим местными тайнами, придется посодействовать ему в делах. Чрезвычайно заинтересовали его собрания и диспуты в доме Карауловых.

— Если хотите, мы вас туда как-нибудь поведем, — предложил Петр. — Хозяева порядочные люди. Там всегда рады новому человеку. Можно, кстати, пойти и сегодня. Там будет, кажется, кто-то из новичков. Господа народники попытаются привлечь их на свою сторону.

— В таком случае обязательно пойдем. Да, а куда, собственно, вы меня ведете? Насколько я помню, заезжий дом в другой стороне.

— Владимир Ильич, прошу вас остановиться у меня, — сказал Петр. — В заезжем доме будет неудобно, далеко. А у нас места хватит. — Он уже прикинул, как все устроить: Женя и Лиза перейдут к маме, а их комнату займет гость. Надо лишь

предостеречь Викторию, чтобы не вздумала показывать характер. — У нас вам будут рады.

— Я не стесню вашу семью?

— Нисколько! — воскликнул Петр, тревожась все же из-за жены.

— Что же, принимаю приглашение.

Вечером после службы Петр застал Владимира Ильича в обществе Альберта. Виктории дома не было, чему Петр в душе порадовался. Хотя жена дала ему слово не обнаруживать при госте семейных неурядиц, он тем не менее не переставал тревожиться.

Альберт объявил, что намерения изменились. По сведениям товарищей, марксистская публика собирается сегодня у адвоката Кускова. Так что посещение дома Карауловых откладывается.

Дом Кускова на Воскресенской немногим уступал домам самых состоятельных жителей города — дорогая мебель, ковры, картины в рамах, обилие света. Обширная гостиная казалась пустой. Вещей здесь было мало и народа немного. Хозяин дома беседовал со своими коллегами, присяжными поверенными, два учителя гимназии весело обсуждали что-то с пожилым ссыльным в темном костюме. Около рояля молодой человек в студенческой тужурке развлекал светским разговором полную даму лет сорока. Она обнажала в смехе белые блестящие зубы и кокетливо щурилась.

Публика по преимуществу собралась из тех кругов, куда Красикову и его друзьям обыкновенно не было доступа. Учителя классической гимназии, инженеры, чиновники губернской канцелярии и судебного ведомства, двое-трое ссыльных, завсегдатаев дома Карауловых. Курили сигары, выходили в буфетную закусить, высказывались. Разговор шел спокойный и взаимно уважительный. То и дело слышались знакомые слова: «прибавочная стоимость», «эксплуатация», «борьба за классовые интересы»…

Особенно многословен был хозяин дома — холеный господин с младенчески розовыми щеками. Он искусно управлял своим звучным голосом, был весьма образован и, сознавая свое превосходство над гостями, рассуждал неторопливо, почти неохотно. Он разглагольствовал о том, что Россия, наконец, выходит из унизительной полосы средневековой отсталости, что не за горами время, когда она ни в чем не будет уступать цивилизованным странам Европы, что русскому интеллигенту пора избавиться от заблуждения относительно путей в будущее. Мужицкая Россия — это вчерашний день. Промышленная, развитая страна — вот наше завтра. И марксистам следует думать

о рабочем человеке, его благоденствии. Русский рабочий не должен жить хуже своего европейского собрата. Святой долг интеллигенции — помочь ему в трудной и долгой борьбе за право на человеческое существование…

— Позвольте с вами не согласиться. — Владимир Ильич, воинственно наклоня голову, направлялся к адвокату. — В ваших рассуждениях имеется существенный изъян. Вы ничего не говорите о главном в борьбе пролетариата — о свержении власти эксплуататоров. Без этого ваши слова вовсе никакой не марксизм, а сознательный или бессознательный обман рабочего класса.

Вначале общество, не приученное к подобной дерзости, огорошенно и угрюмо молчало. Затем послышались недовольные реплики. Ульянов не обращал внимания ни на враждебность публики, ни на эти реплики. Склонив голову набок, он стоял перед Кусковым и обрушивал на него все новые и новые сокрушающие доводы. Тот сделал было попытку возразить. Владимир Ильич выслушал его и тотчас же не оставил от этих аргументов камня на камне. Адвокат вытер надушенным платком пот со лба и, сделавшись малиновым от бессильной ярости, вскинул голову и растерянно спросил:

— Послушайте, почему я вас не знаю?

— Простите, не представился. Моя фамилия Ульянов. Здесь я случайно. Отбываю ссылку в Шушенском.

Публика зашепталась, глядя на него во все глаза. Кое-кому, должно быть, это имя было известно. Гости более не мешали спору, и Кусков, лишившись поддержки, выглядел весьма жалко.

В гостиную неслышно вошел сын адвоката, давний ухажер Виктории, видный мужчина лет за тридцать. На нем был добротный темный костюм, черный галстук с бриллиантовой булавкой и блестящие башмаки. Он почтительно поклонился гостям, шепнул что-то на ухо отцу. Кусков некоторое время смотрел на сына ничего не понимающими глазами, затем кивнул. Сын вновь поклонился всем и вышел.

Петр машинально проводил его взглядом. Когда отворилась дверь, он увидел в коридоре Викторию. Понадобилось призвать на помощь всю волю, чтобы не броситься туда. И все же он справился с собой и, ничем не выдав растерянности, досидел до конца.

С собрания ушли втроем. Залкинд здесь же, на Воскресенской, попрощался, и Красиков двинулся со своим гостем по безлюдной в поздний час улице. Изредка, выбивая искры из булыжника, по мостовой проносились лихачи, где-то у лабазов около пристани стучал колотушкой сторож. Вокруг было темно и пустынно.

Владимир Ильич и Петр шли молча по немощеному тротуару. Красиков, изучивший на своей улице все неровности дороги, время от времени брал спутника под руку, направляя на безопасные места.

Мысли были заняты Викторией. На душе было скверно. Не хотелось ни вспоминать о собрании у Кускова, ни разговаривать. И Владимир Ильич, словно бы догадавшись о его терзаниях, был молчалив и задумчив. Голос его Петр услышал только в конце пути.

— Ночь какая великолепная! — сказал Ульянов завороженно. — Нет ли желания побродить немного, Петр Ананьевич? Я бы охотно.

— Пожалуй.

Ночь и впрямь выдалась не по-осеннему теплая, лунная и безветренная. На звездном небе застыли посеребренные облака. Еще не опавшая листва на деревьях за дощатыми заборами походила на зеленовато-стальную рыбью чешую. Сквозь просветы между домами открывался вид на Саяны за Енисеем. Воздух был неподвижен. Пахло рекой, хвоей, травой…

Они повернули от дома на Узенькой и стали спускаться к реке. Миновали последние домишки окраины, вышли на поросший высокой травой и кустарником простор. Перед глазами возникла спокойная, облитая лунным сиянием ширь Енисея.

— Какая прелесть! — восхитился Владимир Ильич и, поглядев на Красикова, заговорил совсем иным тоном: — А вы, по-моему, не в духе. Я не ошибся? Нельзя ли помочь вашей беде?

— Вы не ошиблись. Но, право, все это не стоит разговора.

— Гм…

Владимир Ильич, пока они спускались к реке, не произнес ни слова. А на берегу вновь заговорил:

— Как вы находите рассуждения господина Кускова?

— Как нахожу его рассуждения? Чуждо мне там все: их мысли и речи, их удобное положение.

— Именно «удобное положение»! Это вы очень удачно заметили. Во всех рассуждениях господ подобного сорта сквозит страх перед революцией.

Владимир Ильич рассердился. Он словно позабыл о собеседнике и, размышляя вслух о классовой природе оппортунизма, повторял время от времени слова Петра «удобное положение». Затем внезапно повернулся к нему:

— Помнится, в первую нашу встречу мы вели разговор о необходимости для нынешней России крепкой партии социал-демократов. Припоминаете?

Ульянов посвятил Петра в свой план создания партии при

посредстве общерусской социал-демократической газеты. Только таким способом, по мысли Владимира Ильича, можно будет решить задачу сплочения всех кружков и групп марксистского направления в единую организацию, преодолеть разобщенность. Слушая, Петр поражался не столько самой идее, сколько тому, как они — Ульянов и товарищи его — сумели загодя продумать все детали неведомого дела. От недавней горечи, оставленной открытием в доме Кускова, сохранилась почти не беспокоящая заноза в сердце. Петра захватил грандиозный план. Он сказал:

— Я бы с радостью работал с вами.

— А как вы думаете, для чего я начал этот разговор? — Лица собеседника Петр почти не различал, но по голосу его догадался, что он хитровато улыбается. — Мы на вас рассчитываем, Петр Ананьевич. Сегодня для нас каждый человек на вес золота. И вы ведь, кроме всего прочего, близко сошлись с Плехановым. Это очень важно. По моим наблюдениям, он чрезвычайно дорожит личной дружбой. Нам следует в будущем теснее связать его с редакцией. Ваша роль здесь неоценима. Что же до дела в газете, то оно найдется. Так что, не вызовись вы, мне самому пришлось бы просить вас об этом. Срок ссылки когда заканчивается?

— Если не набавят, скоро. По сути, уже закончился. Но департамент молчит. Боюсь, будет надбавка.

— Не беда. Вы ведь, насколько мне известно, и в ссылке времени зря не теряете. После освобождения куда намерены?

— Куда же? Хотелось бы в Петербург. Но ведь не пустят, — сказал Петр и вдруг вспомнил о жене. В груди опять защемило. — В семье у меня не ладится. Расстаться с женой придется…

— Не ладится, говорите? Я заметил. Скверно это, скверно, Петр Ананьевич. У вас ведь сыновья.

— Люблю я ее, — Петр вздохнул, — а вот ведь как случилось… — И он совершенно неожиданно для себя рассказал Ульянову все без утайки о своих семейных неурядицах.

— Все это очень печально, — сказал Владимир Ильич. — Вы уж простите, но если откровенно мне обо всем рассказали, я позволю себе заметить: жена революционера должна быть верным и надежным товарищем, единомышленником. Вы со мной согласны?

— Разумеется.

— Не пора ли нам возвращаться? Ночь уж на исходе.

Они стали подниматься в гору, к темнеющим впереди деревянным домам и заборам. Луна ушла за облака, сделалось прохладно. Шли молча, размышляя о неведомом будущем. Хотя оно представлялось им более или менее определенным, и Красиков, и, конечно же, Ульянов понимали, что в том будущем

их ожидает многое, чего заранее не предусмотришь и не спланируешь. Их ожидала долгая и трудная борьба, с неизбежными промахами и потерями…

Департаменту полиции донесли, что Красиков, состоящий под гласным надзором, общался с другими ссыльными, занимался пропагандой «вредных идей» среди учащихся фельдшерской школы. Результат не замедлил сказаться. Как Петр и ожидал, срок ссылки был продлен на год.

Едва он успокоился после этой новости, как последовала еще одна, столь же закономерная и не менее болезненная: Виктория объявила о своем уходе. Крушение семьи оказалось чересчур чувствительным ударом.

Виктория тотчас уехала из Красноярска с новым супругом, Василием Кусковым. Петр с неделю не выходил из опустевшей квартиры. Бродил по комнатам, не выпуская изо рта папиросы, перебирал в памяти события прошлого и не мог понять, в какой именно момент их совместной жизни возникло взаимное недовольство друг другом. Он размышлял об этом упорно и много, пока однажды не явилась предельно ясная мысль: просто-напросто ошибкой была сама их женитьба.

Однажды к нему ввалились Альберт и Борис и едва ли не силой вытащили из дому и повели на собрание к Карауловым. С этого вечера началось возвращение к жизни. Он опять стал вести занятия кружка в общежитии фельдшерской школы, полемизировал на собраниях в доме Кускова и у Карауловых. И время пошло быстрее.

Еще в Красноярске они с Ульяновым договорились, что, если Петру после ссылки не удастся осесть в столице, он переберется в Псков, где намечалось организовать северный центр содействия общерусской газете. Перед отъездом за границу там побывал Владимир Ильич, наладил связи и явки. Вскоре в Псков приехал его соратник Пантелеймон Лепешинский.

Выцветшие встрепанные волосы, всклокоченная борода, густые рыжие усы. Большая, несколько вытянутая кверху голова в таком обрамлении казалась драчливо-ощетиненной и никак не придавала наружности интеллигентного вида. Если же присовокупить к этому по-мужицки большие руки, растягивающие рубаху широкие плечи и грузноватую, нескладную фигуру, то у человека, впервые увидевшего его, создавалось впечатление, что перед ним заурядный мастеровой.

Именно таким предстал перед Красиковым, приехавшим в Псков, Пантелеймон Николаевич Лепешинский. Петр встретился

с ним в первый же день. И уже тогда — они сидели на плетеных стульях в уютном зеленом дворике дома, где снимал комнату Лепешинский, — Петр был совершенно покорен обаянием Пантелеймона Николаевича, удивительной, сквозившей во всем одаренностью его натуры. О себе Лепешинский почти не рассказывал. Красиков узнал только, что он попович из Белоруссии, что долгое время поклонялся «народническим богам», потом примкнул к социал-демократам, а самоопределился как марксист после знакомства с Владимиром Ильичем.

Псков, по его словам, являл собой безмятежный обывательский городок, сонное царство, где есть, однако, по милости охранного отделения, некоторое число оппозиционно настроенной публики, весьма разношерстной в смысле убеждений — от закоснелых народовольцев до крепких социал-демократов. Бывают собрания, дискуссии. Проще говоря, от ничегонеделания общество исходит словами. Впрочем, освоиться у Красикова времени будет более чем достаточно.

На казенную службу поступить не удалось. Большинство поднадзорных служило в земском статистическом бюро под началом господина Кислякова. Далекий от политики, он охотно принимал к себе «неблагонадежных», полагая, очевидно, что более образованных и добросовестных чиновников не сыскать. Он готов был пополнить бюро еще одним поднадзорным и уж дал согласие принять на службу Красикова. Но вдруг пришло распоряжение губернатора, князя Васильчикова: не принимать!

Оставалось возвратиться на знакомую стезю — давать частные уроки в купеческих и прочих богатых домах. В одном из них, у купца Генкина, Петр и поселился. Образованность и превосходное знание французского языка вскоре сделали имя столичного учителя чрезвычайно популярным. Этому в немалой степени способствовала и щегольская наружность Красикова. Бархатный жилет, галстук-бабочка, модные клетчатые брюки, сверкающие башмаки — он производил сильное впечатление на папаш и, разумеется, на мамаш псковских недорослей.

Вечерами бывали собрания в доме влиятельного народника Алексея Васильевича Пешехонова, умного вежливого барина, и на квартире коренного псковича, «экономиста» Николая Николаевича Лохова. Всякое собрание «псковских бунтарей» — так именовали между собой Лепешинский и Красиков местную поднадзорную публику — неизменно выливалось в словесную схватку между представителями различных направлений. Полемизировали зло, не щадя самолюбий, радуясь каждому промаху противника. Безупречнее всех обыкновенно держался

Пешехонов. Он и его сподвижник, язвительно-красноречивый Николаев, были записными ораторами от народников, «экономистов» представлял молодой адвокат Бернштам, социал-демократов — Красиков.

Петру казалось, что он и его товарищи попусту теряют время на этих собраниях. Как мало пока было сделано и как много они говорили! Однажды он поделился своими мыслями с Пантелеймоном Николаевичем. Лепешинский невозмутимо усмехнулся:

— Горячитесь, Ананьич. Вовсе мы не бездельничаем. Я вот отправил на днях три корреспонденции от питерских рабочих в Мюнхен, и мы, надеюсь, в самое ближайшее время увидим их в нашей газете. Что же до вас, то скоро найдется и вам дело по душе.

Зимой наконец была получена из-за границы «Искра». Они уже несколько недель с нетерпением ждали первого номера. После «Заявления редакции „Искры“» — оно дошло до Пскова в ноябре, и в нем они узнали решительную руку Ленина — существование газеты перестало казаться делом отдаленного будущего.

Листок папиросной бумаги, испещренный мелкими типографскими знаками, окончательно утвердил в их сознании факт рождения общерусской социал-демократической газеты. В комнате Пантелеймона Николаевича помимо хозяина и его жены Ольги Борисовны, только на днях приехавшей, были еще Стопани, их товарищ по искровскому направлению, и Красиков. Хрипловатый голос Лепешинского звучал торжественно и растроганно — он читал передовицу «Насущные задачи нашего движения».

Петр обошел стол и остановился за спиной Пантелеймона Николаевича, глядя из-за его плеча на газетную полосу. При свете керосиновой лампы даже на небольшом отдалении мелкий шрифт был неразличим. И все же перед глазами была не воображаемая, а вполне реальная газета с большими буквами названия, колонками текста, заголовками. Эта претворенная в действительность мечта изгоняла из души всяческие сомнения в конечном успехе их дела.

Чтение завершилось далеко за полночь. Пора было расходиться. Но сейчас это казалось невозможным. Гости чувствовали, что и хозяевам не хочется расставаться с товарищами. У каждого осталось много невысказанных слов…

Стопани ушел уже под утро. Красиков остался. Ему нужен был совет Пантелеймона Николаевича. Накануне к Петру в дом купца Генкина пожаловал один из богатейших псковских

помещиков — господин Карамышев и сделал чрезвычайно заманчивое предложение: переселиться к нему в деревню Зубово; что в двадцати верстах от Пскова, и стать репетитором его детей. Условий, по сути, не поставил никаких, а жалованье пообещал неплохое.

— В чем же дело? — весело спросил Пантелеймон Николаевич. — Соглашайтесь. Выгоды очевидны: охранка потеряет вас из виду, а деньги, если у вас окажется избыток, пригодятся для газеты.

— Все это я понимаю. Но вот не окажусь ли сам вне дела? И так уж…

— Нетерпеливый вы человек, Ананьич. А для нас терпение и выдержка не менее важны, чем самое решительное действие. Да и не за тридевять земель вы будете. Связи мы не потеряем. Теперь-то, когда начала выходить наша «Искра», дела всем прибавится. На сей счет не придется тужить. Соглашайтесь без колебаний.

В шумном большом доме Карамышевых репетитору отвели угловую комнату во втором этаже. Из окна открывался вид на путаницу черных ветвей в саду, деревенские избы и белое поле, уходящее к далекому лесу. Комната была невелика, но вполне удобна. Место для ночлега, место для работы, и, самое главное, далеко от хозяйских покоев. У Петра было прибежище, спасавшее его от нескончаемой кутерьмы в детских комнатах — потомство у супругов Карамышевых было весьма многочисленное.

По воскресеньям Петр уезжал в Псков. Товарищи посвящали его в последние новости организации. У Пантелеймона Николаевича он всегда находил доставленные из-за границы номера «Искры» и книжки «Зари». Лепешинский рассказывал о ходе борьбы между комитетами и группами социал-демократического направления. В последнее время она заметно обострилась. Питерский и некоторые другие комитеты отмежевывались от «Искры», и предстояла большая драка за их завоевание. Были сложности и с транспортировкой изданий, и денежные затруднения. Свое жалованье Петр почти целиком передавал Лепешинскому для редакции. И все-таки хотелось настоящего занятия, действительного участия в искровском деле.

В начале весны Лепешинский показал Петру письмо и корреспонденции, приготовленные для отправки в редакцию «Искры». А неделю спустя Петр прочел у него послание от секретаря редакции. Из него следовало, что самая тяжкая беда организации — нехватка людей для перевозки изданий в Россию. И, не сказав Пантелеймону Николаевичу ни слова, Петр утвердился в намерении самому написать в редакцию, вызваться

на работу по транспортировке «Искры».

С вечера он запасся лимонной кислотой, молоком и раствором соли. Приготовил это для «химии». Когда шумный дом Карамышевых угомонился, Петр зажег лампу, поставил перед собой чернильницу с пером и склянки с элементами «химии». Над письмом на имя Владимира Ильича думать не было нужды — он уже сотни раз писал его мысленно. Теперь осталось изобрести безобидный, не вызывающий подозрений текст «открытого» письма.

«Дорогая и любимая Генриетта!»

Выведя на бумаге это обращение, Петр закурил, прошелся по комнате, вслушиваясь в тишину дома, и возвратился к столу. На лист бумаги ложились строки любовных признаний, упреков и намеков влюбленного провинциала.

Наконец послание Генриетте было готово. Теперь предстояло самое трудное. Каждую букву приходилось наносить на бумагу трижды: сначала — лимонной кислотой, затем — раствором соли, а после этого — молоком. Красиков писал, что мечтает работать в организации «Искры» не от случая к случаю, а изо дня в день, целиком отдать себя делу и просит согласия редакции. Подумал немного и добавил, что его удовлетворит самое минимальное содержание.

Работа над письмом была закончена под утро, когда внизу уже стали раздаваться голоса. В тот же день оно ушло по конспиративному адресу, и Петр силился вообразить лицо Владимира Ильича, читающего его послание, и предугадать, какой будет ответ.

Наступило лето. Под окном его комнаты буйно зеленел сад, и дальний лес за плоским изумрудным полем сделался живым. Занятия с гимназистами по случаю вакаций прекратились. Петр с утра уезжал в город и возвращался затемно. Ответа из-за границы все не было. Петр извелся. Почему они молчат?

Однажды утром он, по обыкновению, подкатил на помещичьем кабриолете к дому Ветровой в Завеличье, у больницы, где снимал комнату Лепешинский. Было далеко до полудня, но Пантелеймон Николаевич выглядел необыкновенно торжественно: был тщательно выбрит, причесан, облачен в парадный костюм.

— Ананьич! — обрадовался он гостю. — Здравствуйте! У меня для вас новости: во-первых, ответ Ильича на какое-то ваше послание, во-вторых, мы…

— Где ответ?

— Терпение, Ананьич, терпение. Во-вторых, мы приглашены на прощальный обед к Николаю Николаевичу. Господин Лохов

отправляется в Италию. Очень просил прийти. Вы уж, пожалуйста, сегодня пощадите его. Пусть едет в добром настроении. Обещаете?

— Пусть едет. Ответ где? Что же вы со мной делаете, Пантелей этакий?! Ведь я этого письма так жду!

Лепешинский, откровенно наслаждаясь нетерпеливой горячностью друга, не спеша подошел к этажерке, достал из какой-то книги сложенный вдвое лист бумаги, показал Петру:

— Вот он, полюбуйтесь. Всю ночь расшифровывал. Прочитать?

— Не тяните, мучитель вы мой! Пантелеймон Николаевич принялся читать, время от времени поглядывая на Красикова с улыбкой:

— Итак, «Первое июня. 2а 36», то есть мне, «тире, эр, два тире», то есть вам. «Мы очень были бы рады совместно работать с тире, эр, два тире», то есть с вами, Ананьич. «Он был бы особенно полезен в настоящее время шатания публики вообще и всяческих заграничных происков в особенности». Слышали? Пойдем дальше. «К сожалению, наши финансы очень плохи, и мы решительно не в состоянии ассигновать ему средства на поездку и прожиток. Найти заработок здесь тоже крайне трудно (мы не говорим о Франции и французской Швейцарии, ибо не знаем их. Сам тире, эр, два тире лучше осведомлен об этом, чем мы). В одном только случае могли бы оказать денежную поддержку: если бы тире, эр, два тире взялся приехать за границу, достать здесь французский паспорт и с таковым переехать границу два-три раза… провозя с собой по паре чемоданов. Мы все равно платим за такие провозы и охотнее, конечно, платили бы ему, чем кому-либо другому, стороннему. При знании языка и находчивости его он сумел бы это сделать наверное, а по пути подыскал бы, может быть, и еще кого-либо для той же цели. Если он согласен на это, пусть пишет сейчас же… и сообщает подробнейшим образом свои приметы. Мы тогда тотчас затребуем французский паспорт по этим приметам и, по получении, известим его, чтобы выезжал. Вообще весь гвоздь нашего дела теперь — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет нам помочь, пусть *всецело* наляжет на это…» — Лепешинский улыбнулся: — Довольны?

— Я собой недоволен. Щеки краска стыда заливает. Зачем писал о содержании? Можно ведь было…

— Не ожидал, Ананьич, не ожидал. Вам-то уж, помнится, на четвертый десяток перевалило. К чему в прятки играть? Как ни прискорбно, а революционеру тоже есть надо. Кстати, сегодня нас, кажется, ожидает недурной обед у господина Лохова. — Он засмеялся и предложил, сделавшись серьезным: — Давайте,

дружище, побродим у реки. Расскажу вам о разговоре с Аркадием. А там и время подойдет на обед отправляться.

Аркадий — Иван Иванович Радченко, крепкий искровец — вел в Питере трудную войну с «экономистами» за признание столичным комитетом «Искры». Аркадию нужна была помощь. Неплохо, считал Пантелеймон Николаевич, если бы в Питер нелегально нагрянул Красиков. Там был совершенно необходим искушенный в полемике твердый искровец.

— Разумеется, я поеду, — сказал Петр.

— И чем скорее, тем лучше.

Петр воодушевился. Стал рассуждать вслух о возможностях нелегального проживания в Питере, вспомнил о Федулове, Бесчинском и прочих, у кого можно найти приют. Затем вдруг спохватился: а как же приглашение Владимира Ильича, транспорт?

— Как только позовут, мы вас известим. Да ж вообще-то вам сейчас необходимо главным образом осмотреться в Питере, изучить расстановку сил. Стороннему человеку это легче. — Лепешинский посмотрел на часы. — Пора, Ананьич. Пойдемте. Поприсутствуйте в последний раз на собрании «псковских бунтарей».

«В последний раз»! Дожил наконец. Давно уже не было у него такого удачного дня. Он чувствовал себя помолодевшим, неуязвимым, способным своротить горы. Заканчивалось прозябание, пришла пора действовать.

В столовой у Лохова вокруг искусно сервированного стола прохаживались и стояли группами гости. Расфранченные дамы, шумные господа. Судя по отдельным репликам, это были столпы местной интеллигенции. Они держались непринужденно, громко приветствовали входящих, обсуждали какие-то городские новости.

Из кухни доходили аппетитные запахи, взад-вперед сновала прислуга, изредка в столовой появлялась взволнованная хозяйка. Николай Николаевич, польщенный вниманием столь многочисленного общества, стоял в центре небольшой группы и рассыпался в благодарностях. Его полное лицо расплылось в умильной улыбке. Он прикладывался к дамским ручкам, кланялся, улыбался. Лепешинского и Красикова он приветствовал не менее радушно, нежели прочих приглашенных. Пожав его пухлую руку, они отошли в сторону и присоединились к Стопани.

Втроем стояли у распахнутого окна, беседовали о разных разностях, нетерпеливо ожидая начала торжества. Ведь чем раньше это случится, тем скорее наступит конец. Безусловно, они

могли сюда и не приходить. Но Николай Николаевич Лохов, при всей политической и теоретической путанице во взглядах, был вполне порядочным человеком и даже иногда оказывал некоторые услуги искровцам. Так что обижать его не стоило.

Наконец хозяйка пригласила гостей к столу. И тотчас начали произносить многословные хвалебные тосты. Николаю Николаевичу желали счастливого пути, предостерегали, игриво посмеиваясь, от увлечений страстными итальянками, просили не забывать серенького русского неба под голубым шатром средиземноморских небес. Хозяин был растроган до слез. Особенно сильное действие произвела на него застольная речь молодящейся дамы лет сорока в чрезмерно декольтированном платье. Она восхваляла ум и прочие достоинства Лохова, а затем пожелала поцеловать его…

Это переполнило чашу. Петр встал с бокалом в руке, увидел встревоженно-вопросительный взгляд Лепешинского, решительно отвернулся от него и, перекрывая застольный галдеж, потребовал:

— Господа! Позвольте и мне сказать несколько слов.

— Просим! Просим! — Публика была настроена благодушно.

— Я пришел сюда в том предположении, что мы проведем в товарищеской беседе последний вечер с Николаем Николаевичем, нашим единомышленником, социал-демократом, марксистом. С ним у нас есть разногласия. Но это, так сказать, pro domo sua, между нами, верно, Николай Николаевич? — За столом смолк шум. Петр обвел взглядом насторожившееся общество. Увидел растерянное, почти испуганное лицо Лохова, бледного от гнева тощего Николаева, высокомерно-барственную усмешку Пешехонова, воинственность в глазах декольтированной дамы. — Во всяком случае, эти наши разногласия не подлежат критическому осмотру посторонней обывательской толпы. — Он остановил взгляд на сидящих рядом Николаеве и Пешехонове, отмахнулся от дергающего его за сюртук Лепешинского.

— Вас нельзя пускать в порядочный дом! — вскрикнул Николаев. — Не умеете себя вести…

— Да уж, Петр Ананьевич, — поддержал соратника Пешехонов, стараясь смягчить его резкость. — Мы ведь все-таки…

— Вы все-таки, — прервал его Красиков, — не более чем обыватели. Именно такое общество, именно такие речи вас и устраивают. Вы ли борцы за освобождение русского народа? Да наплевать вам на тот самый народ, на того самого мужика, именем которого вы самовозбуждаетесь. А народу и мужику это давно не нужно.

— Позвольте! — Николаев так поспешно встал, что опрокинул бокал с шампанским. — Это клевета. Клевета! Мы, а

не вы дали России Желябова, Перовскую, Фигнер. И в будущем именно мы, а не вы, сочиняющие книжки на курортах Швейцарии и выпускающие газету за границей, дадим народу вождей…

— Уж не здесь ли пьют шампанское эти вожди?

— Уважаемый Петр Ананьевич… — Рядом с Николаевым поднялся Пешехонов. Манера речи этого весьма образованного барина подкупала сдержанностью. Он обходился без театральных жестов, не повышал голоса, всячески демонстрируя душевное расположение и благовоспитанность. — Вы плохо знаете свой народ. Русский мужик не пойдет за вами. Ему не понять мудреных теорий ваших европейских идолов. Ему, исстрадавшемуся в нужде, нужны материи попроще — земля, хлеб, скотина. А вы с теорией прибавочной…

— Боюсь, — улыбнулся Красиков, — эта теория и вам не под силу. Куда удобнее теория сотворения мира господом богом. И как следствие: государь-император — помазанник божий…

— Это уже черт знает что! — вскипел Николаев. — Да ведь мы боролись против самодержавия, когда вы и слова этого не знали. И вам не стыдно?

— Довольно интеллигентского нытья! — Петр заразился его ожесточенностью и перестал обращать внимание на шум в столовой, умоляющие взгляды Лохова и сигналы Лепешинского. — Довольно плача на реках вавилонских! Надоела болтовня для самоуслаждения по-Михайловскому! Народу и русскому мужику, коим вы умиляетесь более четверти века, нужны дела, а не слова. Вы же кроме слов уже ни на что не способны.

Тосты более не звучали. За столом разгорелась политическая дискуссия. Постепенно в нее втянулись едва ли не все гости. Даже хозяин, позабыв о торжественности момента, яростно спорил с противниками. Исходил желчью Николаев, с сознанием своей авторитетности основательно высказывался Пешехонов, разгневанно глядя на Красикова, выкрикивала что-то декольтированная дама, упивался собственным красноречием Бернштам.

Петра всегда странным образом волновали речи молодого адвоката. Слушая его, он ловил себя на том, что невольно восхищается ловкостью ораторских приемов, и думал: «Сему господину быть благополучнейшим в адвокатском сословии. Таких именно мастеров ловко прятать в блистающей словесной оболочке скрытый смысл своих речей и должна рождать двудонная система правосудия». И хотелось обнажить легковесность мысли Бернштама, глубоко скрытой цветистым красноречием. Должно быть, именно поэтому Петр с таким

ожесточением всегда полемизировал с ним и бывал доволен, когда выходил с честью из этих драк.

Сейчас же, в многолюдной столовой у Лохова, предводитель местных «экономистов», разморенный шампанским и обильными закусками, отступил под напором Петра слишком поспешно, как, впрочем, и господа народники. Им определенно не терпелось вернуть празднество в прежнее спокойно-умиротворенное русло. Петр вдруг подумал, что торжество это, по сути, приурочено не только к отъезду хозяина, но и к прощанию «псковских бунтарей» с ним, Красиковым…

Ни один город в мире так не окрылял его, как Петербург. Еще в студенческие годы Петр влюбился в строгую и светлую северную столицу. Приезжая сюда, он всякий раз испытывал душевный подъем, прилив энергии.

Сейчас никакой особенно значительной работы здесь не предвиделось. Он прибыл на разведку. Необходимо было взглянуть «сторонним глазом» на действительное положение дел в столичном комитете, повидать людей и, не открывая решительных намерений организации, определить, возможно ли рассчитывать на скорый успех в завоевании Петербургского комитета.

Все это они обсудили в Пскове в канун его путешествия. Затем он долго говорил с Лаптем — Лепешинским. Пантелеймон Николаевич, между прочим, предостерегал от визитов без крайней нужды в те места, где его часто видели до ареста. «Никакого риска! — напутствовал он. — В нынешних условиях нам дорог каждый человек. Будьте осторожны».

На привокзальной площади извозчичьи пролетки выстроились длинной вереницей вдоль тротуара. На козлах сидели утомленные ожиданием бородатые мужики. Петр в поезде все время размышлял над тем, где искать прибежища в столице.

В Озерки к Федулову после недавних стачек железнодорожников ехать было опасно. Да там его наверняка узнают домочадцы Леонтия Антоновича. Еще более ненадежным представлялся дом Бесчинских. Где уверенность, что новый швейцар не окажется преемником Кузьмича? Если уж охранка однажды заинтересовалась…

Разумнее всего, очевидно, было остановиться у Михаила Трегубова. Там Петра, должно быть, никто не помнил. Сам же Михаил, человек незлопамятный, не станет вспоминать об их давней размолвке. Как-никак, а прошло столько лет.

Он приказал извозчику ехать на Лиговку, несколько сомневаясь, впрочем, живет ли там теперь Михаил, и вместе с тем

не без волнения пытаясь вообразить, какой будет встреча. По случаю воскресенья Невский запрудили толпы петербуржцев. По мостовой катил темный поток извозчичьих пролеток. Цокали копыта, щелкали кнутами возницы, звонила конка. Неистово треща, пугая лошадей клаксоном и оставляя за собой синий дымный след, пронесся навстречу стремительный автомобиль.

Оказалось, Михаил никуда и не съезжал, но снимал теперь в том же доме просторную квартиру. Появление Петра в первое мгновенье ошеломило его. Смуглое лицо, удлиненное густой черной бородой, изумленно вытянулось. Однако он легко справился с собой и радушно протянул руку нежданному гостю.

Порыв его казался искренним, и все же Петр уловил в его движениях чрезмерную поспешность. «Не надеялся, что я первым сделаю шаг к примирению, — подумал Петр. — Я бы и не появился у тебя, приятель, будь у меня явка».

— Каким ветром? — После того как Петр пожал его руку, хозяин окончательно избавился от первоначального смятения. — Я-то вовсе тебя из виду потерял. Где пропадал все эти годы?

— Об этом позже, — сказал Петр. — У тебя здесь как, спокойно? Могу я остаться, не рискуя?

— Можешь, уверяю тебя, можешь. От меня давно отстали. Причислили к благонадежным. Я ведь на Металлическом инженером…

Вскоре появилась девушка с подносом. Поставила на стол завтрак и исчезла. Пока ели, разговор не прерывался. Михаил с готовностью отвечал на вопросы гостя, рассказывал о своей жизни: аресте, исключении из Технологического, службе у Лесснера. Вот тут-то, наблюдая изо дня в день, как тяжко живется рабочим, как бессовестно грабят их, он окончательно прозрел. Понятно, не сам все увидел. С умнейшими людьми повстречался, стал читать Плеханова, Струве, Туган-Барановского и определился как марксист, социал-демократ. Ныне состоит членом «Рабочей организации».

Петр слушал его внимательно, Михаил повторял зады «Рабочей мысли», органа «экономистов». Удивительно было, что неглупый в общем человек, наблюдающий изо дня в день жизнь и труд заводских рабочих, так слепо следует очевидно несостоятельным взглядам. И все же многословие Михаила было ему на руку. Ведь слушал Петр не статью из «Рабочей мысли», не теоретические рассуждения господ Струве и Туган-Барановского — ему излагал свое кредо живой человек. К тому же это была удача в том смысле, что получалась возможность проникнуть в умонастроения членов «С.-Петербургской рабочей организации», одной из влиятельнейших в столице «экономистских» групп.

— Странно, — Михаил вдруг оборвал свои рассуждения.

— Что странно?

— Молчишь ты, не споришь. Не похоже на тебя.

— Не похоже? А зачем спорить? Разве я смогу тебя переубедить? Об этом… — Он посмотрел на часы. — О, да уже полдень. Побегу. Спасибо за приют и завтрак. Угостил ты меня по-сибирски.

Прежде всего нужно было побывать на Фурштадтской, двадцать. Там жила Стасова. У нее он надеялся получить явки и вообще выяснить положение дел. Стасова, предупреждал его Лепешинский, человек чрезвычайно пунктуальный и в совершенстве владеющий искусством конспирации. И от товарищей она требует того же. Так что являться к ней домой без предварительной договоренности было и неловко и рискованно.

Еще в Пскове они решили, что Петр пойдет на прием к отцу Елены Дмитриевны, присяжному поверенному Стасову. А там уж…

У подъезда стоял дворник с металлической бляхой на белом переднике. Он поинтересовался, кого желает видеть «господин».

— Здесь квартира присяжного поверенного Стасова? — обеспокоенно спросил Петр. «Кто знает, зачем дворник здесь торчит?»

— Тут. Только нет их. На даче Дмитрий Васильевич. А по воскресеньям они не принимают вовсе.

— Жаль. Придется опять приходить. Скажи, милейший, когда он возвратится в город насовсем?

— У дочки ихней спросите. Тут она как раз. Наверх пошла.

В этот момент из подъезда вышла высокая молодая женщина в длинной темной юбке и белой закрытой блузке с шелковым бантом у шеи. Большой выпуклый лоб, зачесанные кверху каштановые волосы, пенсне делали ее лицо надменно-строгим. Дворник сказал:

— Вот она, ихняя дочка. Спросите, чего вам надо.

— Благодарю. Я лучше в другой раз приду.

Елена Дмитриевна скользнула по Красикову быстрым взглядом и решительно зашагала к Литейному. Перейдя на противоположную сторону улицы, Петр двинулся в том же направлении. Он старался не потерять Стасову из виду. Она шагала быстро, мужской походкой. Он догнал ее и пошел рядом. Елена Дмитриевна взглянула на него с недоумением, пожала плечами.

— Не подскажете, где я могу найти Жулика? — спросил он.

— Жулик — это я. — Стасова улыбнулась. Однако тотчас же нахмурилась: — Зачем вы так прямо, домой? Хорошо, Конона

встретили.

— Вы в нем уверены? Мне он показался подозрительным.

— Нет, Конону можно доверять. Вы получили явки?

— В том-то и дело, что не получил. Иначе я бы к вам так…

— Вы не представились. Но я догадалась, вы — Красиков.

— Теперь — Музыкант. Где бы нам поговорить?

— Пойдемте, здесь поблизости есть подходящее место.

С Литейного они свернули на Сергиевскую, дошли почти до конца улицы. По неширокой мраморной лестнице поднялись на четвертый этаж серого дома, каких много было в центре Петербурга, остановились перед коричневой дубовой дверью с табличкой из желтого металла — «Присяжный поверенный Н. Д. Соколов». Елена Дмитриевна достала из сумочки ключ и по-хозяйски уверенно отперла дверь.

В адвокатской приемной с дюжиной стульев и двумя столами, заваленными газетами, чистыми листами бумаги, старыми номерами «Нивы», между которыми затерялись пепельница и чернильница, Елена Дмитриевна объяснила:

— Николай Дмитриевич Соколов — наш старинный друг и вполне порядочный человек, хотя и отчаянный путаник. Но нашему делу он сочувствует и помогает. Вот и ключ на всякий случай дал. Сегодня его не будет — на даче.

В кабинете на большом письменном столе возвышался массивный чернильный прибор из бронзы. Стены кабинета — три из четырех — были скрыты высокими книжными шкафами. Петру бросились в глаза корешки давно знакомых фолиантов: «Римское право», «Судоговорение», «Судебное красноречие». Пробудилось неуместное сейчас чувство растроганности, словно на него пахнуло молодостью, милой сердцу студенческой порой. Но Петр подавил в себе ненужное, лишнее волнение и спросил у Елены Дмитриевны:

— Вы догадываетесь о цели моего приезда?

— Аркадий предупреждал. Он и получил от меня явки. Так что, Петр Ананьевич, я не только догадываюсь, я знаю, вы должны нам помочь в борьбе за Петербургский комитет. Считаю своим долгом предостеречь: это будет нелегко.

— Разумеется. К сожалению, сейчас у меня нет полномочий ввязываться в драку. Приехал, так сказать, разузнать положение дел. Осмотрюсь, вникну, а спустя некоторое время нагрянем сюда, быть может, вместе с Лаптем. Тогда уж выступим открыто.

— Положение дел? — задумчиво выговорила Стасова. — Сейчас я кое-что покажу. Посмотрите эти вот листки.

Она извлекла из шкафа две книги, отыскала между страницами несколько прокламаций, протянула Петру. Под одной

листовкой стояла подпись: «С.-Петербургская рабочая организация», под другой — «Петербургский комитет РСДРП». Обе листовки были написаны с поражающими воображение примерами из повседневности. Но лозунги, провозглашенные в прокламациях, разительно отличались. Если «Рабочая организация» призывала выдвигать копеечные требования «экономистского» толка, то Петербургский комитет писал о восьмичасовом рабочем дне, полной отмене штрафов, политических свободах, свержении самодержавия.

— Посмотрели? В прочих то же самое.

— Посмотрел. Мы примерно так и предполагали. Что же, сильна эта «Рабочая организация»? Имеет влияние в массах?

— Как ни прискорбно… У них есть талантливые люди.

— Скажите, о Трегубове вы что-нибудь слышали?

— О Трегубове? Как же. Сын какого-то богатого инженера, что ли. Они с ним носятся. Его приход к марксизму афишируется ими как большой пропагандистский успех. Капиталиста в свои ряды заполучили! Вы с ним знакомы?

— Земляк мой. Можно даже сказать, гимназический товарищ. Между прочим, я остановился у него.

— Это, по-моему, неплохо. Безопасно, да и любопытно.

— Приглашал пойти с ним вечером на какое-то собрание.

— На собрание? Сходите, обязательно сходите.

— Разумеется, пойду. Послушаю их публику, познакомлюсь…

В конце коридора хлопнула дверь, послышались быстрые шаги, и в кабинет вошел плотный живой человек небольшого роста. Он кивнул Петру и поцеловал руку у Стасовой.

— Рад видеть вас у себя. Не ожидали? Я и сам, откровенно говоря, не ожидал. Совершенно упустил из виду, что у меня завтра дело в палате. Опять студент-террорист. Заниматься им, казалось, — бессмысленное предприятие. А на даче вдруг осенило: есть позиция для защиты! И примчался. — Он достал из ящика какие-то бумаги. — Не обращайте на меня внимания. Я устроюсь где-нибудь в уголке.

— Спасибо, — сказала Стасова, — но нам пора. Мне еще нужно побывать кое-где. И Петру Ананьевичу некогда. Да, я ведь не представила вас. Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, противник тирании и самодержавия в дозволенных законом пределах. А это Петр Ананьевич Красиков, наш товарищ, — улыбнулась, — тоже противник тирании и самодержавия. По-моему, вы в известном смысле коллеги. Петр Ананьевич учился на юридическом когда-то.

— Учился, да не доучился, — сказал Петр, пожимая руку Соколову. — Так что в коллеги не вышел.

— Но ведь это при желании можно исправить. Экстерном выдержать экзамены не так уж сложно.

— Разумеется. Но сейчас не время.

Они расстались на Литейном. Петр предложил Стасовой подвезти ее на извозчике. Она отказалась — ей до места было рукой подать — и зашагала решительной мужской походкой к Литейному мосту. Петр проследил, нет ли за ней «хвоста», удостоверился, что все спокойно, и окликнул проезжавшего мимо свободного извозчика.

На Лиговку возвратились далеко за полночь. Михаил зажег лампу, закурил и, устроившись на стуле напротив Петра, вопросительно уставился ему в глаза. Собрание, где они побывали, не могло — так ему казалось — не произвести на Красикова самого благоприятного впечатления. Хотя Михаил там не произнес ни слова, товарищи его высказывались весьма убедительно. Их речи, исполненные боли и гнева, их призывы к борьбе за улучшение жизни рабочего люда — это ведь и есть истинный марксизм!

Петр, погруженный в какие-то свои мысли, молчал, и по лицу его можно было догадаться, что он вовсе не разделяет удовлетворенности Михаила. Скорее, напротив — собрание его удручило. Он и там был мрачен и все время отмалчивался.

— О чем задумался? — спросил Михаил.

— О чем? — Петр потянулся за папиросой. — Думаю, будет трудно. Очень трудно будет справиться с этой публикой. Куда проще было бы объяснить все рабочим, если бы твои друзья не так ловко играли на их сегодняшних бедах. Ничего, повоюем…

— Не понимаю. Вас, что же, устраивает нищета, угнетение и бесправие рабочего класса? Люди живут впроголодь, работают по двенадцати часов за гроши, жилье у них свинское. Дети не учатся, мрут. А у каждого только одна жизнь. Им, рабочим, сегодня важнее прибавка копейки на рубль, чем самый распрекрасный социализм через двести или триста лет. Мы не отрицаем, он придет, социализм, придет. Но когда? А люди-то живут. Сегодня живут. — Михаил был воодушевлен, раскраснелся. — Да и не доросли они пока до политики, для них слово «социализм» — не более чем красивый и непонятный звук.

— Да-а. — Петр глубоко затянулся, поднял глаза на Михаила. — Сохраним рабство с куском хлеба. На триста лет? А у самих рабочих вы спросили, согласны ли они оставаться сытыми рабами?

— Но почему же рабами? Можно добиться многого: школ, университетов, конституции, наконец…

— Ждать от царя второй отмены крепостного права? Он такой, он смилостивится. Давай-ка спать, Михаил. Поздно.

Пробыл он в Питере три дня. Несколько раз встречался с Еленой Дмитриевной. Были они с ней на Большой Ружейной в профессиональной школе Дервиза, на Васильевском в мастерской скульптора, где хранилась нелегальная литература и Стасова назначала свидания товарищам из рабочих кружков. Кое с кем она познакомила Петра. Он поговорил с рабочими, расспросил об отношении к «Искре», комитету. Все твердили одно: «Литературы, газет бы побольше. Народ интересуется. Правда, в „Искре“ не все понятно написано. А все-таки верно она линию нашу ведет».

По просьбе Елены Дмитриевны Петр написал листовку о студенческих волнениях в университете. Листовка была размножена на гектографе, и он с удовольствием прочел ее, свежую, пахнущую краской. Один экземпляр было решено послать в редакцию «Искры».

Вечером второго дня Петр побывал на заседании Петербургского комитета. В квартире учителя на Выборгской стороне собралось человек десять. Некоторых Петр видел на вчерашнем заседании «Рабочей организации». На сей раз ему не удалось отмолчаться. Начало было привычным: едва только председательствующий Токарев открыл заседание, комната словно бы наполнилась электричеством. Порядка никто не придерживался. Токарев, он же «Вышибайло», довольно молодой человек, с нервным лицом и горячими глазами, тотчас позабыл о своих обязанностях председателя. Он ввязывался в полемику даже по самому ничтожному поводу.

Улучив минуту, когда его могли услышать, Петр прямо спросил у Токарева, каково отношение комитета к «Искре», намерен ли он, комитет, участвовать в подготовке съезда, имея в виду, что он будет созван на платформе «Искры»? Его тон поверг большинство собравшихся в смятение. Открытые «экономисты» сочли его ультимативность чрезмерной и обрушились на «Искру» и ее сторонников. Раздавались упреки в бонапартизме, стремлении подавить свободу мысли, в непонимании той очевидной истины, что стачечные кассы «дороже для движения, чем сотня других организаций».

Петр помнил совет Пантелеймона Николаевича держаться с членами комитета максимально учтиво, не доводя дела до полного разрыва, прежде чем не удастся сломить антиискровцев с помощью других членов комитета. Однако смолчать было выше его сил. Быть может, если бы на его сторону открыто встал кто-нибудь еще кроме Елены Дмитриевны, он предпочел бы не

вмешиваться во внутренние их дела. Но поскольку ни в ком больше не увидел он своих сторонников, сдержаться было невозможно. Петр сказал, что господа из «Рабочей организации» боятся революции и потому стараются жить в политике одним днем, не заглядывая в будущее. Отказываться от борьбы за действительное освобождение рабочего класса — значит защищать самодержавие. Марксизмом и социал-демократией здесь и не пахнет.

Его выступление произвело совершенно неожиданное действие. «Рабочедельцы», разыграв сцену оскорбленной добродетели, притихли и словно бы даже пошли на попятный. Но все-таки на вопрос о солидарности комитета с «Искрой» прямого ответа не последовало.

Возвратившись в Псков, Петр узнал от Пантелеймона Николаевича, что Фекла, редакция «Искры», приглашает его на свидание, и спустя некоторое время отправился за границу.

Вильно. Готика древних соборов, узкие средневековые улицы, темные строгие одежды католиков, идущих на богослужение, — все пропитано стариной. Нет ни бросающейся в глаза европейской благоустроенности, ни кричащей неприглядности российской провинции. В этом городе все непривычно и непонятно.

Красиков ехал по улочкам Вильно на явку к Сергею Цедербауму, брату Мартова. У ног его стояли два внушительных чемодана. В них — книги, по преимуществу научные монографии на немецком языке. Этой совершенно бесполезной литературой чемоданы набиты для веса, чтобы усыпить подозрительность таможенников. Под вторым дном спрятаны номера «Искры» и книжки «Зари». Социал-демократической литературой наполнен и футляр скрипки, лежащий на коленях. Скрипка особенно помогает Петру в разъездах. Ни одному таможеннику пока не приходило в голову заглянуть в футляр. Да и помимо всего прочего, человек со скрипкой производит на окружающих впечатление полной благонамеренности.

Вот уже около двух месяцев Петр занимается исключительно «чемоданами». Англия, Германия, Австро-Венгрия, Россия. Россия, Австро-Венгрия, Германия, Англия. Города, местечки, границы, вокзалы, явки. Встречи, встречи… Жизнь суматошная, исполненная тревог и риска. Всюду опасность. В России, понятно, прежде всего. Но и за границей неспокойно. У царской охранки длинные руки.

Брат Мартова хотя и не обладает столь роскошной бородой, как Юлий Осипович, все же разительно напоминает его. Он

пожаловался на сложность своего положения: местного языка не знает, с поляками и литовцами связь поддерживать можно лишь через группу Козловского, а он, Цедербаум, для них человек чужой. Среди ремесленников и кустарей преобладают сторонники Бунда. С ними невозможно находить общий язык. У них сильная организация, но на «чужаков» они смотрят неприязненно.

— Скорее бы съезд, — молитвенно произнес он. — Тогда мы почувствуем себя силой.

— Мы сила и сегодня.

— Может быть, может быть… Да, вы, кажется, имеете сказать мне что-то о Сувалках. Привезли явку?

— Привез, разумеется. — Петр сообщил адрес, пароль, приметы контрабандиста из пограничного местечка Сувалки, согласившегося работать на них, и в свою очередь спросил: — У вас для Феклы ничего нет?

— Все, что было, отослал почтой. Письмо брату, если позволите, я напишу. Подождете?

— Пишите. Подожду.

С Мартовым у него отношения не сложились. Юлий Осипович вообще не слишком жаловал тех, кто, как ему казалось, вставал или мог встать между ним и Владимиром Ильичем. Однако не только эта мальчишеская ревность была причиной того очевидного недружелюбия, какое обнаруживал Мартов к Красикову. Что-то еще мешало их сближению. Что именно? Красиков не слишком ломал над этим голову. У него были дружеские отношения с Владимиром Ильичем, Георгием Валентиновичем и остальными членами редакции.

Дождавшись, пока Цедербаум напишет письмо, Петр тотчас отправился на вокзал. Он торопился за новыми чемоданами.

Оказалось, поезда придется ждать не менее суток. На этот случай был предусмотрен запасной путь — перейти границу с помощью инженера Виноградского. Его рекомендовала Петру Елена Дмитриевна как человека в высшей степени добропорядочного и надежного. Служил он где-то в Юрбургском лесном майорате у князя Васильчикова, занимал там весьма прочное положение и оказывал немало услуг революционному подполью.

В Юрбург попасть было совсем не сложно, и Петр поехал туда ближайшим местным поездом. Домик Виноградского стоял за поселком, в лесу, откуда было рукой подать до границы.

Дверь открыл интеллигентного вида мужчина лет сорока. Удивленно взглянул на незнакомца. Услышав пароль, хозяин вдруг встревожился. В прихожей он шепотом сообщил, что у него

в гостях урядник, но ненадолго — чай пьет. Делать было нечего, пришлось войти.

Урядник, толстый и краснолицый, пил чай из блюдца. На щеках и на лбу у него блестели капельки пота. Когда хозяин и гость появились в комнате, он поставил блюдце и внимательно посмотрел на Красикова. Тот поклонился:

— Простите за вторжение, — и повернулся к Виноградскому: — Так это верно, что вам нужны работники в бухгалтерию? Я в этом весьма искушен. Мог бы…

— Опасайтесь господина инженера. — Урядник вытер лицо большим клетчатым платком и подмигнул Красикову. — Он у нас прослыл строгим начальником. У него подолгу никто не задерживается. Строгости его не выносят.

— Что это вы меня так расписываете? — Виноградский вступил в игру. — Испугаете человека. А мне как раз…

— Молчу, молчу! — Урядник прикрыл рот ладонью. — Благодарствую за чаек. Пора мне. Служба-с.

За урядником захлопнулась дверь. Виноградский спросил:

— Отдохнете с дороги? Голодны?

— Когда можно будет переправиться? — поинтересовался Красиков. — Нельзя ли ускорить это?

— Почему нельзя? Да хоть сию минуту можем тронуться в путь. Но вы ведь утомлены? Быть может, утром?..

— Если можно, сию минуту, прошу вас.

Не прошло и получаса, как Виноградский с супругой и Красиков, удобно устроившись в небольшом кабриолете, запряженном парой гнедых лошадок, подъезжали к рогатке на русско-германской границе. Кабриолет остановили фельдфебель и два солдата.

Фельдфебель спросил у господина инженера, куда они направляются.

— Гость у меня, — объяснил Виноградский. — Хочу вот пивом немецким угостить. У нас такого ведь не сыщешь.

— Это верно, — согласился фельдфебель, и в голосе его угадывалась зависть. — Пивцо у них доброе…

На этом пограничные формальности завершились. Оказалось, местные баре могут в любой момент съездить на ту сторону угоститься пивом. Рогатку открыли, и кабриолет покатил по земле германской империи. Пограничники только помахали вслед Виноградскому и его попутчикам — счастливого, мол, пути.

И вот наступил черед последней «чемоданной поездки». Более года Петр занимался транспортом. На сей раз возвращался в Россию после совещания в Лондоне. Участниками его были

Ленин, Мартов, Засулич, Крупская и представители русской организации — Краснуха, Носков и Красиков. Совещались в «вертепе» на Сидмаузстрит. «Вертепом» этот суматошный дом, населенный по преимуществу русскими социал-демократами, назвал Владимир Ильич. На совещании было решено создать Оргкомитет по подготовке съезда.

Хотя роль его отныне изменилась — из рядового агента «Искры» он должен был стать членом Организационного комитета, — Петр прихватил из Лондона два чемодана, натолкал в футляр скрипки свежих номеров газеты и отправился в путь, имея в виду после объезда южных городов встретиться с Лаптем в Пскове. За год они виделись всего два-три раза, да и то на лету, между делом. А ему очень уж недоставало общения с Лепешинским. Ни с кем он, пожалуй, не сошелся так близко. Да и никто не понимал его так, как Пантелеймон Николаевич. Но в последнее время Петр постоянно торопился, его повсюду ждали. И дома, и за границей. Фекла требовала свежих вестей с родины. Россия не могла жить без «Искры»…

Катя на извозчике по полугородским-полудеревенским улицам Пскова в Завеличье, разглядывая деревянные домики с резными наличниками, занавесками и геранью в горшочках за окнами, Петр ощутил такую усталость от недосыпания, изнуряющей настороженности, колесного стука, мелькания станций, перелесков, поселков за вагонными окнами, что впору было сейчас же свалиться в постель и спать, спать сутки, неделю…

Лепешинский собирался на службу. В темном, несколько коротковатом пальто и кепке он особенно походил на мастерового. Увидев появившегося на пороге Красикова, он широко открыл глаза в радостном изумлении, засмеялся, подмигнул, обхватил Петра своими ручищами и сдавил что было сил. Затем ввел в комнату, спросил:

— Голодны? Глупый вопрос! Накормлю вас и умчусь. Отдохните до моего возвращения. Вечером потолкуем. Слышали, что нас ждут в Питере? Там опять кутерьма.

— Кое-что слышал.

— Тем лучше. Вот вам завтрак. — Он поставил на стол кувшин молока и надломленную булку. — Простите, ничего больше нет. На вокзале поужинаем, позавтракаем в Питере. Вы как нельзя кстати явились.

В вагоне Пантелеймон Николаевич был очень оживлен. Было в нем сейчас что-то от охотника, отправляющегося на заведомо удачный промысел. Вера в победу над «рабочедельцами», связываемая с приездом Петра, была у него столь велика, что

Красикову становилось даже неловко. Он пытался возражать, но Пантелеймон Николаевич только посмеивался.

Он расспрашивал Петра о заграничных товарищах, отношениях между редакторами «Искры», Ильиче, о не знакомом ему Плеханове. Должно быть, ответы его удовлетворили. Он потер лоб и со свойственным ему лукавым простодушием засмеялся:

— Дело пошло, Ананьич. Теперь нас не остановить. Хотя «рабочедельцы» еще постараются испортить нам обедню.

На Варшавский вокзал поезд прибыл на рассвете. Лепешинский и Красиков тотчас же отправились на явку, находившуюся в мастерской скульптора.

В просторной светлой мастерской там и сям стояли законченные и незавершенные гипсовые скульптуры, лежали бесформенные белые глыбы. На полу в беспорядке валялись кисти, осколки гипса. Вскоре появились Стасова и Радченко. Не мешкая, провели небольшое совещание. На вечер, как выяснилось, была назначена встреча руководителей столичных социал-демократических групп. Искровцам следовало выработать тактику, распределить роли.

— Без представителей столичных социал-демократов съезд не будет всероссийским. — Радченко, молодой человек в очках, с высоким умным лбом, говорил азартно. — Дело сейчас в «рабочедельцах». Совершенно необходимо развенчать этих господ. На них, думаю, следует выпустить Петра Ананьевича. Он единственный из нас не уступит им по части красноречия и остроумия.

— Вы правы. — Пантелеймон Николаевич разгладил усы и подмигнул Красикову. — Опасаюсь лишь, как бы наш дорогой Петр Ананьевич не перестарался. С ним это случается. Нам ведь сейчас надо полагаться не столько на остроумие, сколько на аргументы.

— Аргументов у нас более чем достаточно, — внушительно произнесла Елена Дмитриевна. — Петр Ананьевич, конечно же, воспользуется ими должным образом. Но и этого может быть мало. Они все равно наших аргументов не примут.

— У меня есть мысль, — Красиков прошелся по мастерской, остановился у громадного окна. Внизу лежала темная гладь Невы, по набережной ветер нес опавшие листья. — Не пригласить ли на сегодняшнюю встречу рабочих? Пусть их послушают. Я, к примеру, мог бы привезти одного машиниста из Озерков. Давно с ним не виделся, но не сомневаюсь, он наш. Его бы с товарищами…

— А что? — оживился Лепешинский. — Это мне нравится.

Леонтия Антоновича Красиков увидел во дворе у сарая. Машинист рубил дрова. Не заходя во двор, Петр Ананьевич окликнул его. Красное от ветра лицо Федулова с седыми усами и редкими волосками над морщинистым лбом выразило удивление, затем — радость.

Он — да и могло ли быть иначе? — действительно оказался сторонником «Искры». Выслушав Красикова, Леонтий Антонович пообещал немедленно собрать ребят. Они-то уж скажут как надо. Петр Ананьевич тотчас ушел на станцию. Вскоре в крохотном зале ожидания появился Федулов с тремя молодыми железнодорожниками. Пока ехали в Петербург, стояли в тамбуре вагона, и Петр Ананьевич разъяснял рабочим позицию «Искры», суть разногласий с «экономистами» и положение дел в столичном комитете.

С Финляндского вокзала поехали на Петербургскую сторону в профессиональную школу Дервиза. Петра Ананьевича и его спутников остановил у ворот парнишка лет шестнадцати. Внимательно оглядел их, стараясь при этом изобразить на лице полнейшее равнодушие. Но как только услышал пароль, моментально преобразился. Таинственным шепотом произнес отзыв и повел их во двор.

Заседали в квартире какого-то преподавателя. Народу собралось довольно много. Искровцы группировались вокруг Лепешинского, у высокой голландской печи. А у окна сосредоточилась еще одна группа.

Схватка с «вышибайловцами» потребовала выдержки, дипломатической изворотливости и самообладания. Главари «Рабочей организации» впрямую против съезда не возражали, но согласие свое участвовать в его подготовке обставляли такими условиями, что принять их было совершенно невозможно. Они настаивали на уравнении «Рабочего дела» с «Искрой» и равном представительстве на съезде. Непримиримее прочих держался Токарев. Его лицо покрылось красными пятнами, выразительные темные глаза метали молнии. А когда питерский токарь Александр Шотман заявил, что российская партия социал-демократов может объединиться лишь под знаменем «Искры», что «Рабочее дело» в состоянии собрать вокруг себя кружок из единиц, ярость его дошла до предела.

Пантелеймон Николаевич кивнул Красикову: пора. Петр Ананьевич дождался, пока умолкнет Токарев, и заговорил:

— Мы здесь гости. Не нам решать, как вы отнесетесь к идее созыва съезда, провозглашенной «Искрой». Но мы, русская организация «Искры», не намерены играть в беспристрастность. Наши симпатии на стороне тех, кто связывает успех движения с

созданием крепкой социал-демократической рабочей партии. Мы по многим пунктам не согласны с «Рабочим делом». Но сейчас нас в первую голову занимают вопросы организации, и мы допускаем возможность во время подготовки съезда не обострять разногласий. Повторяю: мы здесь гости, решать вам. Но решать надо без промедления. Рабочему классу России необходима партия. Необходима сегодня, а не спустя десятилетия. И тот, кто называет себя марксистом, обязан это понимать. Что до того, вокруг какого центра сплачивать партию, то об этом, полагаю, товарищ Шотман сказал здесь очень убедительно. Вы критикуете «Искру» за ее якобы «непопулярность», недоступность пролетарской массе. Мы пригласили сюда рабочих-железнодорожников. Пусть они выскажутся.

— Мы, конечно же, выступим. — Леонтий Антонович шагнул из угла на середину комнаты. — Петр Ананьевич — я у него в кружке на Васильевском еще десять лет назад состоял — все верно здесь говорил. Не подумайте, что я его сторону принял из-за давнего знакомства. У нас, рабочих, у всех почти такое мнение, что «Искра» — самая пролетарская газета. Верно я говорю? — повернулся он к своим товарищам. Те согласно закивали головами. — Видите? Понятно, «Искра» — это не календарь. Читать ее надо с умом. Кое-что так сразу и не поймешь, думать приходится. И все равно нам ясно — с уважением к рабочему человеку все это написано. Верит «Искра», что и у пролетария голова на плечах есть. А вот «Рабочее дело», напротив, нас вовсе глупыми считает. Все там вроде бы для детей несмышленых написано…

Токарев метнул на Красикова разъяренный взгляд:

— Это подтасовка! — шагнул он к Петру Ананьевичу. — Мы тоже могли бы пригласить рабочих. Они высказались бы не в вашу пользу.

— Допускаю, — согласился Красиков. — Можно найти и ваших сторонников. Но товарищ Шотман верно заметил, что из них партии не создашь. В лучшем случае — кружок. России же нужна партия. Ее в силах объединить вокруг себя только «Искра». И вы это понимаете не хуже нас. Поэтому я от лица организации «Искры» спрашиваю: намерены ли вы участвовать в подготовке съезда?

Ночью Петр Ананьевич писал Фекле:

«Дело реки {Организационного комитета} двинуто. Назначено к слушанию {совещание} в самом коротком времени… Немедленно за конституированием произойдет тут же кооптация Игната {Красикова} от Феклы {редакция „Искры“} или под

другим каким соусом… Вышлите немедленно на всякий случай тот коротенький конспект по делу реки, который набросан был Стариком {Лениным}… Вышибайло {Токарева} вышибли основательно, он и присные пустили кучу лжи и клеветы… Результата не достигли… Дело у питерцев идет порядочно… Силы притекают. 5000 дает один писатель {Горький}, обделан Касьяном {Радченко}… Куко {?} очевидно нам изменила и отослала назад наше добро… Отыскал другой человек. С ним ведет дело Курц {Ленгник}. Надеется на успех. Положение Курца непрочное. В Комитет он не входит. Там носятся с идеей популярной газеты. Внушите Красавцу {Крохмалю}, чтобы повлиял письмом на комитетчиков, чтобы охладились эти мечты. Декларацию они все же сделают, и скоро вы ее получите. Фома {Егоров} на юге, должен скоро дать знать. Выехал он с расчетом на успех».

Он еще не предполагал, что ему самому снова придется драться в Киеве с тамошними «экономистами» и что именно ему, Петру Красикову, киевские социал-демократы предоставят мандат на Второй съезд. На юге сейчас работали Ленгник и Крохмаль. Положение там было столь же трудное, как и в Питере. Сведения об этом они получили от недавно возвратившегося Касьяна — Радченко. Теперь, после победы над «вышибайловцами» в столице, когда дела Оргкомитета налаживались, наступила пора приниматься за другие комитеты, добиваться их присоединения к искровскому направлению. Красикова подмывало ввязываться в борьбу везде, где она не завершилась. Но Лепешинский сказал, что не дело сейчас мотаться «по городам и весям». Надо прежде всего конституировать Оргкомитет, а затем начать объезды городов с его полномочиями.

Октябрь прошел в поездках. Подолгу задерживаться в столице становилось все опасней. Заметили слежку, к присяжному поверенному Стасову под видом клиентов стали захаживать филеры, подозрительные типы мелькали на набережной у мастерской скульптора, опасно стало появляться и в школе Дервиза. Не проваленной пока оставалась лишь квартира Соколова. Там они и встречались. Но ведь и это не могло продолжаться бесконечно.

Приходилось подолгу безвыездно сидеть в Пскове, дожидаться учредительного совещания Оргкомитета.

В будущем Петр Ананьевич не раз вспомнит начало ноября второго года, когда после первого совещания Оргкомитета узнал об аресте Пантелеймона Николаевича, Радченко и Краснухи. В ОК теперь, кроме него самого, по сути не осталось искровцев. Было такое чувство, словно на бегу натолкнулся на стену. К сознанию

увеличившейся ответственности примешивалась непобедимая горечь. Более не было рядом Лепешинского, друга, умевшего, как никто, предостеречь от поспешного шага, от безрассудства и чрезмерной горячности.

Но нельзя было поддаваться отчаянию. Борьба продолжалась. Перед русской социал-демократией встала громадная задача, непосильная никаким группам и комитетам. Как бы ни были крепки местные организации, им не по плечу было справиться с такой задачей. Решить ее могла лишь партия.

Петр Ананьевич работал в предсъездовские месяцы, как не работал никогда прежде. Делами Оргкомитета были заполнены и дни и ночи.

Он отдавался им с особенным счастливым самозабвением. В душе не таяло чувство гордости, поселившееся там с тех пор, когда Глеб Максимилианович показал ему письмо от Владимира Ильича. Кржижановский сознался смущенно, что послал Ильичу «сердитое письмо» по поводу «узурпации власти» в Оргкомитете Панкратом — это была новая подпольная кличка Красикова. Затем дал Петру Ананьевичу прочесть ответ Ленина. Никогда, кажется, Красиков не был так горд собой, как в те минуты, когда читал ответ Владимира Ильича на «сердитое письмо».

«…мы не давали абсолютно никакой „власти“ Панкрату, — возражал против каких-то доводов Глеба Максимилиановича Владимир Ильич. — Но когда вышло так, что Панкрат оказался единственным (ИВ КВ) подвижным человеком ОК, тогда в результате не могло не быть и власти… Панкрат один перешел на нелегальное, поехал, стал летать, стал все знать — и само собой взял чин капрала. Мы не мешали, понятно, ибо и не могли мешать и не хотели мешать: нет другого!!! Поймите же это, наконец, Панкрат… умен, толков, знает дела, умеет драться, ладить с ним можно…» И еще Ильич написал, что без него, Красикова, «ОК есть ровно нуль»!

Пределы Российской империи Петр Ананьевич покинул последним из делегатов съезда. Понадобилось вновь пересечь границу в кабриолете инженера Виноградского. В чопорный, благоустроенный Брюссель Красиков попал за несколько дней до открытия съезда. В стране, где социалист Вандервельде был депутатом парламента, они полагали, съезду ничего не грозит.

Социалистическая гостиница «Золотой петух», двухэтажное серое здание с островерхой готической башенкой над парадным входом, стояла на тихой улице бельгийской столицы. Окна номеров, занимаемых делегатами, смотрели на небольшую чистенькую площадь с каким-то памятником. Чужой город

казался спящим. Сквозь гостиничные стены не проникал ни шум, ни голоса. Делегаты, правда, сразу нарушили сонный быт этого уголка. Народ съехался по преимуществу молодой и чрезвычайно беспокойный.

Вечерами собирались в уютном холле на втором этаже. Непременно вспыхивала полемика. Спорили, перекрикивая друг друга, мгновенно воспламеняясь и не замечая обеспокоенных взглядов гостиничной прислуги. Когда перепалка грозила накалить спорщиков добела, обыкновенно раздавалось какое-нибудь шутливое замечание Георгия Валентиновича. Посрамленные «петухи» умолкали, виновато глядя на Плеханова. Разговор принимал иное течение. Одержимые политическими страстями делегаты, только что испепелявшие противников глазами и склонные, казалось, прибегнуть и к более сильным средствам, вдруг преображались, оборачиваясь просто молодыми людьми, такими, что не прочь помечтать, посмеяться, предаться земным радостям. Кто-то вспоминал о доме, кто-то шутил: убавилось, мол, ныне у охранки работы, — кто-то рассказывал о своих приключениях на границе. Слово за слово разговор возвращался к прежнему. Вновь громче звучали возбужденные голоса, слышались резкие слова, вновь багровели лица…

Уже в Брюсселе Петр Ананьевич узнал, что его кооптировали седьмым членом редакции «Искры», определив ему роль третейского судьи на случай возможных разногласий. Тем не менее он держался среди рядовых делегатов. Да и поселился в «Золотом петухе», в то время как шестерка редакторов жила на квартирах.

Хотя ему иной раз не терпелось ввязаться в бесконечную полемику и поставить на место кое-кого из неуемных спорщиков отнюдь не добродушно-шутливым замечанием, Петр Ананьевич держал себя в узде. До съезда, решил он, принципиальные расхождения не урегулируешь, а накалять обстановку из-за деталей бессмысленно. И тем не менее, ему приходилось оказывать сдерживающее действие на «петухов». Когда соревнующиеся в словах заходили чересчур далеко, плеча Красикова касался Владимир Ильич и просил принести из номера скрипку. Петр Ананьевич не заставлял упрашивать себя. Возвращаясь с инструментом, он заставал общество в ином состоянии. Делегаты слушали пение Гусева. Сергей Иванович исполнял «Эпиталаму» из рубинштейновского «Нерона» либо полюбившуюся всем песню «Нас венчали не в церкви». Мелодичная и протяжная, она словно бы приносила в благоустроенный, добропорядочный Брюссель дыхание России. По родине в эмиграции многие истосковались. Прикрывал глаза

Георгий Валентинович, не вертелся на стуле непоседливый Дейч, задумчиво смотрела на певца Вера Ивановна Засулич, еще более ушедшим в себя казался Павел Борисович Аксельрод, безотчетно грустя, разглаживал бороду Мартов, улыбался, влюбленно глядя на Гусева, Владимир Ильич. Сергей Иванович обладал поистине оперным баритоном и пел с чувством, артистично и взволнованно. На площади под открытыми окнами толпились пораженные небывалым происшествием бельгийцы. Безотказная гостиничная прислуга забывала о своих делах.

Сергей Иванович умолкал, смущенно раскланивался и усаживался на приготовленный для него стул. К роялю выходил Петр Ананьевич. Играл он обыкновенно «Баркароллу» Чайковского или «Серенаду» Брага. Играл вдохновенно, с таким удовольствием, какого никогда более не испытывал от музыки. И все время ощущал устремленный на него довольный взгляд Владимира Ильича.

Перед съездом искряки держались спаянно. «Рабочедельцы», так и не изменившие своих экономистских взглядов, бундовцы — эти и не скрывали намерений занять в партии особое, в какой-то мере привилегированное положение, — и не выявившие себя до конца «южнорабоченцы» выглядели отнюдь не грозной силой. Казалось, все проникнуты душевной окрыленностью, сознанием значительности момента. И хотя, прежде чем объединиться, следовало размежеваться, хотелось действовать сообща, а не усугублять разногласий. В Брюсселе ведь в конце концов собрались люди, посвятившие жизнь одной-единственной цели — свержению самодержавия и освобождению пролетариата.

Первое заседание съезда открылось в большом полутемном складе. Занавешенные окна почти не пропускали свет. Перед столом бюро стояли в несколько рядов простые скамьи для делегатов.

К столу вышел Плеханов. Делегаты затаили дыхание. Георгий Валентинович налил из графина воды в белую фарфоровую чашку, отпил глоток и начал речь. Он говорил о возрождении российской социал-демократической партии, о том, что теперь, когда съезд претворен из мечты в действительность, их борьба приобретает новый исторический смысл.

— Мы сильны, — говорил Плеханов, — но наша сила создана благоприятным для нас положением, это стихийная сила положения. Мы должны дать этой стихийной силе сознательное выражение в нашей программе, в нашей тактике, в нашей организации.

Петр Ананьевич обратил внимание, как сидящий рядом с ним Владимир Ильич быстро записал что-то в свой блокнот,

положенный на колено, и вскинул голову. Он удовлетворенно щурился, как бы любопытствуя: «Ну-ка, ну-ка, Георгий Валентинович, что еще скажете?»

Плеханов между тем продолжал:

— Это и есть задача нашего съезда, которому предстоит, как видите, чрезвычайно много серьезной и трудной работы. Но я уверен, что эта серьезная и трудная работа будет счастливо приведена к концу и что этот съезд составит эпоху в истории нашей партии. Мы были сильны, съезд в огромной степени увеличит нашу силу. Объявляю его открытым и предлагаю приступить к выбору бюро.

Аплодировал Владимир Ильич, размашисто ударял рукой об руку знакомый Красикову по Питеру немногословный Шотман, не отставал от него симпатичный москвич Бауман. Все были охвачены единым восторгом, единым ощущением торжества. Едва ли не каждый, оказавшийся в этом пропахшем овчиной полутемном складе, шел сюда через казематы Петропавловки, одиночки, каторжные тюрьмы. И все-таки суждено им было дожить до этой великой минуты, до съезда возрождающейся Российской социал-демократической рабочей партии.

Красиков поглядывал на аплодирующих делегатов, испытывая почти отеческую нежность к каждому. Ему пришлось основательно поработать и повоевать, чтобы они сегодня смогли быть здесь. Куда он только не ездил, со сколькими людьми — единомышленниками и противниками — не встречался! За последний год знакомств и встреч было больше, чем за всю прежнюю жизнь. И ведь не везде, далеко не везде находил он сочувствие и понимание. Даже в самом Оргкомитете не всегда было полное единство. Не говоря о бундовцах, «рабочедельцах» и «южнорабоченцах», и в стане искряков случались стычки…

Самая деликатная задача всплыла, когда организационные дела были, по сути, завершены. Где раздобыть уйму денег, необходимых для съезда? Прежде, в пылу групповой борьбы, об этом некогда было думать. Не приходило в голову, что им с высот политических дискуссий понадобится опуститься на грешную землю и заняться такими прозаическими материями, как билеты на поезд, провизия, расчеты с контрабандистами за провод людей через границу.

Надеялись на Максима Горького. Он уже не раз поддерживал революционеров, должен был помочь и сейчас. Но попробуй отыщи его на Руси! Красиков исколесил полстраны, прежде чем настиг знаменитого писателя в Ялте. Алексей Максимович оказался человеком понимающим. Его, во всяком случае, не пришлось уламывать, как иных «революционеров». Он сразу

сказал, что денег даст. Объяснил, как разыскать в Москве Марию Федоровну Желябужскую, сообщил пароль. Петр Ананьевич уже бывал однажды у этой очень красивой молодой дамы, супруги крупного московского чиновника, действительного статского советника, но что-то в тоне Максима Горького помешало ему сказать об этом. У Марии Федоровны и были получены те семь тысяч рублей, в которых нуждался Оргкомитет…

Председателем съезда был избран Плеханов, вицепредседателями — Ленин и Красиков. Члены бюро заняли места у стола. Георгий Валентинович — в центре; Владимир Ильич, положив перед собой неизменный свой блокнот, — слева от председателя; Петр Ананьевич — справа.

Мартов сидел рядом с Засулич, Аксельродом, Потресовым, и по лицу его угадывалось, что он глубоко уязвлен. Петр Ананьевич понимал его состояние и даже сочувствовал ему отчасти. Впрямь ведь у Мартова куда большие заслуги перед социал-демократией, нежели у него, Красикова. В бюро съезда делегатам, считал он, следовало бы избрать Мартова.

Впрочем, после первого заседания покинули «конференц-склад» — так окрестил его Плеханов — и отправились в «социалистический ресторан» (существовали в Брюсселе и такие) в отличном настроении, словно ни у кого не было ни обид, ни огорчений.

И за столом в светлом людном зале ресторана сидели большой уединенной дружной компанией. Пили пиво из высоких тяжелых кружек, с аппетитом поглощали бифштексы. Все изрядно проголодались, Утром было не до еды. Заседать начали в три часа дня. Сейчас каждого из них впору было сажать за стол Гаргантюа…

Вели себя делегаты — все без исключения — весьма миролюбиво. Можно сказать, по-товарищески. Георгий Валентинович, душа общества, никого не терял из виду. Женщин одаривал комплиментами, над близкими друзьями добродушно подшучивал, менее знакомых — те очарованно внимали каждому его слову — подбадривал, вовлекая в общую беседу. Как и остальные редакторы «Искры», он сидел во главе стола. Они, шестеро, выделялись из массы делегатов, легко понимали друг друга. Глядя на этих людей, связанных многими месяцами совместной работы, да и не только, должно быть, редакционными делами, нельзя было и мысли допустить, что существует на свете сила, способная посеять рознь между ними. Правда, угадывалось все же, что тройке «стариков» — Плеханову, Засулич и Аксельроду — проще находить общий язык между собой, чем с

«молодыми» — Лениным, Мартовым, Потресовым. Но кто бы мог подумать, что так скоро распадутся обе эти тройки?

Первый гром прогремел уже на следующем заседании. По докладу Оргкомитета было решено не приглашать на съезд заграничную группу «Борьба», стоящую на антиискровских позициях. С этим согласились все. Но вот выступил опоздавший к началу съезда Егоров и заявил, что ему не совсем понятно такое отношение к «Борьбе». Он попросил объявить перерыв для коротких переговоров с членами ОК.

Перерыв был объявлен. Делегаты моментально высыпали на улицу подышать, размяться, покурить. Красиков стоял с Лениным и Плехановым. К ним присоединились Бауман, Гусев, Шотман. Разговорились о товарищах, не попавших на съезд, хотя им более пристало быть здесь, чем иным делегатам, и уж во всяком случае более, чем Рязанову из «Борьбы». Вспомнили покойного Ванеева, сосланного на пять лет в Якутию Бабушкина. Ленин сказал Шотману:

— С ним вы подружились бы. Иван Васильевич тоже ведь питерский рабочий. Жаль, что его нет на съезде. Такие люди партии особенно нужны. Без Рязановых социал-демократия обойдется, а без рабочих — никак. Пролетарская партия не может существовать без рабочих в своих рядах. Не все здесь, к сожалению, это понимают.

Красикова взял под руку Попов-Розанов, докладчик Оргкомитета, делегат от «Южного рабочего», человек чрезмерно словоохотливый, с неприятной манерой тянуть собеседника за пуговицу.

— Вы нам нужны, — сказал он. — Решено провести внеочередное заседание ОК.

— Какое заседание?

— Пойдемте, прошу вас.

У окна в опустевшем «конференц-складе» оживленно беседовали несколько человек. Петр Ананьевич рассмотрел Егорова, дородную Александрову, Королеву, как называли ее между собой члены ОК, бундовца Портного. У Егорова в руке белела бумага. Он шагнул навстречу Красикову:

— Хорошо, что пришли. Будьте любезны сказать, как вы отнесетесь к приглашению Рязанова, скажем, с совещательным голосом?

— Если к вам на чай — возражать не стану.

— Вы изволите острить. А момент очень серьезный. По мнению членов Оргкомитета, здесь должны быть представлены все направления социал-демократии. Трибуна съезда должна быть открыта товарищам…

— Чьим товарищам?

— Нашим. Всем. Не допускать к ней только потому, что кто-то не согласен с «Искрой», недемократично и просто непорядочно.

— Съезд по этому поводу высказался определенно.

— И тем не менее мы от имени ОК намерены настаивать на пересмотре этого решения.

— От вашего имени. Но не от моего.

— Остаться при особом мнении — ваше право. Но воле большинства, товарищ Павлович, придется подчиниться.

— Со вчерашнего дня я подчиняюсь только воле съезда.

— И они еще имеют дерзость говорить о партийной дисциплине! — Александрова не в силах была сдержать раздражения.

Драка из-за «Борьбы» началась давно, когда Оргкомитет обсуждал список организаций и лиц, приглашаемых на съезд. Еще там, в Харькове, Красиков занял непримиримую позицию. Он утверждал, что группа, отвергающая теоретические, тактические и организационные принципы «Искры», может лишь усложнить и без того трудное дело воссоздания партии. Пригласить «Борьбу» на съезд значило бы заведомо идти на риск провала всей работы. Вопреки возражениям «рабочедельцев» и бундовцев ему удалось тогда настоять на исключении «Борьбы» из списка.

После перерыва слово получил Попов и довел до сведения делегатов, что на заседании Оргкомитета только что было постановлено пригласить на съезд с совещательным голосом товарища Рязанова.

Дела Оргкомитета, разумеется, не могли быть безразличны Петру Ананьевичу. Более полугода вся его жизнь, все мысли вращались вокруг ОК, второго после «Искры» учреждения, созданного социал-демократами для возрождения российской партии. И даже здесь, в Брюсселе, он весьма ревниво воспринимал отношение товарищей к плодам работы ОК. Но со вчерашнего дня, когда с открытием съезда члены Оргкомитета сделались просто делегатами, стремиться навязать съезду волю прекратившего свое существование ОК, особенно если эта воля противоречила решению большинства делегатов, было, по его мнению, опасным давлением группы лиц на съезд. Тем более что группа эта состояла преимущественно из противников «Искры».

— Позвольте мне? — шепнул он Плеханову. Георгий Валентинович согласно кивнул, и Красиков поднялся:

— Я должен выразить свое недоумение. Я — член Оргкомитета и вместе с тем делегат Киевского комитета. В моей душе борются два голоса… Заменить «Борьбу» Рязановым —

значит произвести давление на съезд. Я спрашиваю, имеет ли право Оргкомитет выходить из роли подотчетного лица и, как коллегия, выносить решения после своего доклада?

Он оглянулся на Ленина и по его глазам понял: эти слова должны удовлетворить искряков. Речь его, однако, не всем пришлась по вкусу. К столу выбежал Егоров и заявил о нарушении товарищем Павловичем партийной дисциплины. Съезд раскололся. Негодующие выкрики тонули в злом смехе. Георгий Валентинович рассерженно заговорил:

— Если я не остановил товарища Павловича, то вина падает на меня, как на председателя. Но я потому не остановил товарища Павловича, что не видел в его словах нарушения дисциплины… Я спрашиваю… находит ли съезд, что он, по отношению к Организационному комитету, есть низшая инстанция? Нет, съезд есть самая высшая партийная инстанция, и товарищ Павлович, доложив съезду этот инцидент, ни в коем случае не нарушил партийной дисциплины. — Делегаты зааплодировали. — И вот я вижу, что большинство товарищей разделяет мое мнение.

Казалось, повода для полемики больше нет. Но бундовцы, «рабочедельцы» и их союзники (выяснилось, были они и в среде искряков) не угомонились. К столу бюро опять выходили Попов, Егоров, вновь и вновь раздавались иронические реплики с мест. Кто-то определенно поставил своей целью возбудить рознь между делегатами.

Слова попросил Владимир Ильич:

— Я не могу согласиться с товарищем Егоровым. Именно он нарушил устав съезда… Я не сомневаюсь в существовании Организационного комитета, как не сомневаюсь в существовании организации «Искры». У нее есть также своя организация и свой устав. Но, как только был доложен устав съезда, с ее стороны было заявлено ее делегатам, что они имеют полную свободу действий на съезде.

Глаза Владимира Ильича из-под огромного лба смотрели холодно, щеки покраснели, он весь подался вперед, как бы наклонясь над делегатами и втолковывая им азбучные истины. Если для иных полемика на съезде была, кроме всего прочего, еще и способом щегольнуть красноречием, Ленина не так уж занимала форма его речей. В первую голову он был озабочен существом дела. Однако его слушали чрезвычайно внимательно. Не раздавались иронические возгласы, никто не прыскал, не шептался.

— В каком положении находимся мы, члены комиссии по проверке состава съезда, вчера выслушавшие двух членов

Организационного комитета, товарищей Штейна и Павловича, — разгневанно продолжал Владимир Ильич, — а теперь выслушивающие совсем новое предложение! Здесь есть опытные товарищи, не раз участвовавшие в международных конгрессах. Эти товарищи могли бы все рассказать вам, какую бурю негодования всегда вызывало такое явление, когда люди в комиссиях говорят одно, а на съезде другое.

После выступления Владимира Ильича страсти на некоторое время улеглись. Но не надолго. Когда бундовец Портной вновь завел речь о «товарище Павловиче», Мартов позабыл о своей обиде и, негодующий, вышел к столу.

— Вчера, — заговорил он возмущенно, — мы не возражали против решения ОК об исключении группы «Борьба» из числа организаций и лиц, приглашаемых на съезд. Что случилось нового, что бы сделало нужной перемену? Следовало изложить эти новые данные, а не отговариваться мелким доводом о подводных камнях, то есть о том, что скажут люди! Когда наше направление было всюду в меньшинстве, мы не боялись того, что могут сказать люди. И я советую Оргкомитету и теперь, когда наше направление стало силой, не бояться того, что люди скажут!

Первые дни ушли на конституирование съезда: полемизировали по поводу состава делегатов, повестки дня. Затем началась затяжная война с Бундом. В этой войне искряки выступали единым фронтом — слишком уж очевидной была несовместимость претензий бундовцев с марксистскими принципами, положенными в основание проекта пока еще не утвержденной, но в общем понятной всем программы Российской социал-демократической рабочей партии по национальному вопросу. И все же с Бундом считались. Эта организация представляла значительную прослойку полупролетариата западных губерний. И, кроме того, у Бунда был опыт работы в нелегальных условиях, что могло бы сослужить службу всей партии. Но никто не намерен был поступаться принципами ради заимствования организационного опыта…

В Брюсселе становилось тревожно. У «Золотого петуха», у ресторана, где обедали делегаты, у «конференц-склада» мелькали подозрительные личности. Распространилась тревожная новость, что кого-то из делегатов пригласили в участок для установления личности и предложили в двадцать четыре часа покинуть город. Работа съезда была под угрозой. «Европейская демократия» показала себя…

Переехали в Лондон. После уютного сонного Брюсселя английская столица предстала перед ними дымной, беспокойной, грохочущей. Звонки трамваев, кваканье автомобильных

клаксонов, заводские и пароходные гудки, нескончаемый людской поток. Не город — ад кромешный.

На первых заседаниях в Лондоне, пока продолжалась бесконечная война с Бундом и обсуждалась программа, искряки были едины. Изредка лишь прорывались разногласия. Но им не придавали значения. В конце концов расхождения будут урегулированы, а уж затем социал-демократы России продолжат борьбу единым фронтом.

Однако с каждым новым заседанием все отчетливее обнажалась непримиримость противостоящих друг другу группировок. И все же ни одно выступление не отличалось той одержимостью, какая исходила от всех речей Мартова.

Яростная воинственность его достигла высшего предела, когда началось обсуждение первого параграфа организационного устава. Делегатам было объявлено, что на комиссии не пришли к единому мнению относительно двух проектов — Ленина и Мартова, первый из которых предполагал обязательное участие члена партии в работе низовой партийной организации, второй допускал лишь регулярное личное содействие члена партии под руководством одной из ее организаций.

Красиков, с самого начала безоговорочно признавший правоту Ленина, не переставал удивляться, наблюдая за Мартовым. Создавалось впечатление, что существо организационного устава заботит его меньше, чем отношение делегатов к авторам проектов.

Странно, недоумевал Петр Ананьевич, разумный человек — не первый год в революции! — а не понимает очевидного. Если уж стал революционером, забудь о почестях, пренебреги своим положением. А тому, кто в первую голову озабочен престижем, разумнее и порядочнее добиваться преуспеяния не в среде социал-демократов.

Задумавшись, Красиков потерял нить полемики. После речи Георгия Валентиновича — он выступил за ленинский проект — к столу вышел Русов, черноглазый порывистый кавказец, человек дельный, твердый искряк. Но что это? Что он говорит?..

— Еще раз напоминая товарищам, что член партии никаких прав не имеет, а наоборот — массу обязанностей по отношению к партии, приглашаю присоединиться к резолюции Мартова.

Да нет, он просто не подумал, к чему приведет вотирование формулировки Мартова. У них будет не партия, а сборище болтающих интеллигентов, кичащихся революционностью на словах и пренебрегающих пролетариатом на деле. Как же это Русов так оплошал? Он ведь не «рабочеделец» типа Акимова или Мартынова, не заграничник, оторванный годами от русских дел.

— Позвольте мне несколько слов? — Петр Ананьевич склонился к Плеханову: — Его необходимо переубедить.

Он вышел к трибуне:

— …Нам вовсе не выгодно разжижать ряды партии сомнительными элементами. — Красиков не сводит глаз с Русова. Тот сидит между своими земляками, Вековым и Карским, и на лице его смятение. — Мартов заботится, чтобы наш устав охватывал эти сомнительные элементы. Я понимаю его добрые намерения. Но ошибка его заключается в том, что он процесс роста социал-демократии рассматривает не динамически, а статически… — Красиков передохнул, оглядел собравшихся. — Товарищи, устав партии пишется не для профессоров, а для пролетариев, которые не так робки, как профессора, и, я надеюсь, они не испугаются организованности и коллективной деятельности. Для единиц вообще уставы не пишутся, они пишутся для коллективов. Я сказал бы больше: эти единицы, не имея санкции никакой из партийных организаций, совершенно никак не могут — ни формально, ни по существу — называться представителями партии.

И все-таки сторонники Мартова получили перевес.

Георгий Валентинович и Петр Ананьевич остановились в близлежащем скверике. Не было желания расставаться, важно было поговорить, основательней утвердиться в собственной правоте.

Мимо прошел Мартов. У него был вид измученного и чрезвычайно расстроенного человека. Красиков окликнул его:

— Юлий Осипович! Товарищ Мартов!

Мартов остановился, нехотя повернул голову, некоторое время смотрел на прежних сподвижников по «Искре», словно бы не узнавая. Пожал плечами, саркастически усмехнулся, спросил:

— Это вы меня назвали «товарищем»? Не ошиблись ли адресом?

— Юлий Осипович! — Георгий Валентинович покачал головой.

— Вас я вообще не желаю слушать! — запальчиво выкрикнул Мартов.

Он пересек сквер, присоединился к ожидавшим его на углу Засулич, Аксельроду, Потресову и Дейчу. Плеханов опечаленно смотрел им вслед. Когда они исчезли за поворотом, он вздохнул:

— Какой ужасный день!..

Красиков проводил его на квартиру. Всю дорогу Георгий Валентинович отмалчивался, а пожимая на прощанье руку Петру Ананьевичу, спросил так, словно надеялся услышать нечто успокаивающее:

— Вы полагаете, это бесповоротный разрыв?

— Теперь все зависит от них.

Сказал он это внешне спокойно. Однако внутри у него клокотало негодование. Они смеют упрекать кого-то в подавлении инакомыслящих! Вот ведь чего стоят их слова о свободе мнений, демократии, порядочности! Стоило не согласиться с ними, и ты перестал быть товарищем. Отлично, Юлий Осипович! Теперь понятно, какую свободу мнений в партии вы хотите получить — свободу только для себя…

Последние заседания не сгладили разногласий. Но после ухода со съезда бундовцев и «рабочедельцев» большинство неизменно шло за Лениным. Русов бесповоротно примкнул к лагерю ленинцев, и его не сочли перебежчиком. Партия — во всяком случае, формально — пока оставалась единой. Никто и мысли не мог допустить, что разногласия заведут их так далеко.

Выборы редакции «Искры» и Центрального Комитета накалили атмосферу до предела. Ленин и Плеханов совместно с остальными бывшими редакторами покинули заседание, чтобы своим присутствием не влиять на волеизъявление делегатов. Обязанности председателя принял на себя Красиков. Нелегко было охладить пыл ожесточившихся противников. Особенно неистовствовали друзья Мартова.

И все-таки большинство проголосовало за ленинское предложение: сократить число редакторов «Искры» и создать Совет партии для согласования действий «Искры» и ЦК. Съезд в массе своей выглядел теперь монолитным, не подверженным никаким колебаниям.

…Его взяли в Берлине, на квартире Повара — Федора Ивановича Щеколдина. У них обоих были болгарские паспорта. У Красикова — на имя Стефана Георгиева, у Щеколдина — на Димчо Попова. Петр Ананьевич оказался в германской столице, направляясь в Россию по маршруту, составленному Лениным. После съезда меньшевики стали распространять слух о том, что раскол на съезде произошел якобы из-за «нетактичности Плеханова, бешенства и честолюбия Ленина, шпилек Павловича». Необходимо было разъяснить товарищам на местах, что дело гораздо сложнее, что суть его в том, что большинство съезда не согласилось поступиться принципами ради «худого мира» с бывшими товарищами.

Красиков должен был информировать комитеты, прежде всего Киевский, об итогах съезда. Следовало попасть в Россию как можно скорее. Оттого-то он и обзавелся болгарским паспортом. Эмигрант чувствовал себя в относительной безопасности, имея документы гражданина любой страны, только бы не значиться

подданным Российской империи. Но на сей раз и болгарские паспорта не помогли. Оба они угодили в участок.

Согласно германским законам на третий день судья санкционировал арест. Красиков и Щеколдин отправили письмо в редакцию «Форвертса», сообщили о себе немецким товарищам. Спустя два дня в тюрьму приехал адвокат.

В тускло освещенной канцелярии с решетками на окнах Петр Ананьевич увидел человека в пальто. Адвокат подал ему руку, представился:

— Карл Либкнехт. Пришел по поручению товарищей и принес от них привет. Не затруднительно ли вам объясняться по-немецки? Может быть, перейдем на французский?

— По-французски мне, пожалуй, легче.

В канцелярии торчал жандарм. Он пересел поближе и пялил глаза то на адвоката, то на арестованного иностранца. Лицо его сделалось бессмысленно-озадаченным: не понимая ни слова по-французски, он не имел права заставить их говорить по-немецки. Либкнехт же, словно не замечая его, возмущенно басил:

— Завтра же от имени «Форвертса» обратимся с запросом к министру юстиции. Пусть объяснит, на каком основании вас арестовали. Как будет изворачиваться этот поборник законности, как оправдает судебный произвол? Своих за отсутствие вида на жительство и принадлежность к социал-демократии они за решетку не бросают, а в угоду царю идут на все…

— Для вас это не опасно? — спросил Петр Ананьевич.

— Опасно? — Либкнехт усмехнулся. — Наши буржуа пока не забыли Парижской Коммуны. — Он снял очки, протер стекла и заговорщически кивнул на жандарма, встрепенувшегося при словах «Парижская Коммуна». — Видите? Помнят.

Дело рассматривал суд присяжных. Далекий от практической юриспруденции, Петр Ананьевич не уставал восхищаться бесстрашием адвоката Либкнехта. Досталось от него и берлинской полиции, и ее комиссару Винекку, и министерству юстиции, и министерству внутренних дел. Судья, тучный старик с рыхлым пористым лицом, облаченный в темную мантию, краснел, мрачнел, зло глядел на адвоката, хватался за колокольчик, словно надеялся таким образом обезопасить себя от кощунственных речей Либкнехта. Но не звонил. Ведь как-никак, а защитником был один из виднейших берлинских адвокатов.

Вот она, европейская демократия! Красиков и Щеколдин только переглядывались, изумленные. Пусть немецким товарищам в своем государстве видны изъяны, каких не видят они, посторонние, пусть и у них жестока машина власти. Но они, во всяком случае, могут вслух критиковать свои порядки без

риска угодить за решетку. Россию к этому надо еще готовить…

Их продержали под арестом недели две и освободили под залог. Из тюрьмы Красиков и Щеколдин вышли в сопровождении братьев Либкнехтов — Теодор Либкнехт был вторым адвокатом в их «деле». Не дав освобожденным и оглядеться, братья быстро увлекли их в прилегающий к тюрьме переулок. Там приготовлена была карета. Лишь в пути Красиков и Щеколдин узнали, что им грозит новый арест и что немецкие товарищи, во избежание беды, переправляют их в безопасное место.

Перед самым отправлением поезда «Берлин — Штутгарт» Карл Либкнехт вручил Красикову письмо для Клары Цеткин и сказал, что там его гостеприимно встретят и укроют от полиции. Петр Ананьевич благополучно доехал до места и некоторое время прожил на небольшой вилле под Штутгартом.

Клара Цеткин, человек чрезвычайно занятой, изредка выкраивала для него полчасика. В перерывах между чтением корректур своего журнала «Равенство», писанием статей и ответов на письма со всех концов мира она поднималась на второй этаж, и они беседовали о делах в русской партии, о рабочем движении в России.

Из Женевы вестей не было, и Петра Ананьевича одолевали тревожные предчувствия. Ими заразилась и Клара Цеткин. По утрам они просматривали свежие газеты, надеясь хотя бы по косвенным признакам угадать, что происходит в Швейцарии.

Красиков даже не удивился, когда на его имя пришла телеграмма от Надежды Константиновны. Смысл ее был примерно таков: «Бросай все и немедленно приезжай!» В тот же день он был в пути.

Новости его ошеломили — большевикам изменил Плеханов. Петр Ананьевич нашел Владимира Ильича небывало удрученным. Ленин выглядел осунувшимся и вовсе не походил на того Ильича, каким был после съезда. В те дни немыслимо было и вообразить его подавленным.

— Товарищ Плеханов не желает стрелять по «своим», — сокрушенно сообщил Владимир Ильич, едва поздоровавшись с Красиковым. — Как видите, мы для него перестали быть «своими». Вот так…

Петр Ананьевич не ответил. В голове не укладывалось, что Георгий Валентинович способен поставить отношения с Засулич и Аксельродом выше партийных интересов, отступиться от своих вчерашних деклараций, что он вообще способен на беспринципность.

Едва ли не в тот же день Красиков зашел с Гусевым пообедать в какой-то женевский ресторанчик. Заняли столик у окна с видом

на озеро. Был обеденный час, и в зале стоял ровный гул. Народ все подходил и подходил. Внезапно Сергей Иванович коснулся руки Петра Ананьевича:

— Плеханов.

Красиков поспешно обернулся. Георгий Валентинович по-приятельски кивнул ему и стал жестами приглашать к своему столу.

— Примем приглашение? — шепотом спросил Сергей Иванович.

— Пожалуй. Побеседуем, — сказал Петр Ананьевич и ощутил, как застучало сердце. Это был верный признак азартного возбуждения, готовности ринуться в бой. — Пойдемте!

Плеханов держался так, словно ничего особенного не произошло, словно он и поныне остался тем же Жоржем, с каким Петр Ананьевич простился, уезжая в Россию. Настроен он был дружелюбно, но от их внимания не ускользнуло, что ему не очень-то уютно под взглядами недавних товарищей.

Они просидели там не менее часа, а серьезного разговора не получилось. Только и услышали от него Красиков и Гусев фразу:

— Не могу стрелять по своим. — Произнес, отвел глаза, как бы силясь стряхнуть с души тяжесть осознанной вины, и тотчас вновь стал таким же, каким был все это время, — игриво-беспечным, словно бы прячущим лицо за маской.

— Убедились? — спросил Сергей Иванович Красикова, когда они вышли из ресторанчика. — Что теперь скажете?

И все-таки не хотелось торопиться с окончательным приговором. Однако последние иллюзии рассеялись очень скоро. Меньшевики и вкупе с ними Плеханов делали все, чтобы увековечить раскол.

С благословения и при содействии Плеханова меньшевики овладели «Искрой», и ее полосы использовались отныне для ревизии решений съезда. А «Искра» все так же попадала в Россию, была еще популярна в массах, и нельзя было допустить, чтобы рабочие получали ложную информацию.

Владимир Ильич посоветовал Красикову написать брошюру о Втором съезде, рассказать в ней, в противовес меньшевистской «Искре», правду о съездовской борьбе. Петр Ананьевич без промедления принялся за работу. Неделю никуда из дому не выходил. А когда рукопись была готова, отнес ее Ленину. Владимир Ильич тотчас сел читать. Он быстро перелистывал страницы, то хмурясь, то посмеиваясь. Петр Ананьевич обеспокоенно наблюдал за ним, ожидая критического суждения.

— Недурно, очень даже недурно, — сказал Владимир Ильич. — Сегодня эта вещица весьма кстати. Нужно немедленно

печатать ее и переправлять в Россию. Это будет первая большевистская книжка о съезде. Рабочие прочтут ее с пользой для себя. Впрочем, и товарищам меньшевикам здесь кое-что полезно почитать. Заденет она их. Да еще как! Воображаю, как достопочтенный Георгий Валентинович со своими новыми соратниками отнесется к вашему заявлению, что они стараются «посредством заграничной кружковщины перерешить решения съезда». Обидится, как думаете? Не беда. Пусть обижается.

— Вы полагаете, он ушел от нас бесповоротно?

— А вы еще на что-то надеетесь? — Владимир Ильич помрачнел.

— Откровенно говоря, надеюсь.

— Напрасно. Как ни чувствительна для нас эта потеря, нужно смотреть правде в глаза. Каждый день Плеханова с меньшевиками все более отдаляет его от нас. Как ни прискорбно, но это факт…

О приезде в Женеву Лепешинского, бежавшего из сибирской ссылки, Красиков услышал от Гусева и тотчас поспешил по нужному адресу. Навстречу ему из подъезда вышли Мартов и Дан. «Прибегали просвещать, — сообразил Петр Ананьевич. — Нет, милостивые государи, зря стараетесь, Лепешинского на мякине не проведете!» И все же в дверь комнаты, снятой Пантелеймоном Николаевичем, он стучался с беспокойством. Чем черт не шутит!..

— Кто там? — донесся из-за двери знакомый голос. — Входите.

Едва Красиков переступил порог, как Лепешинский, исхудавший и потому словно бы помолодевший, радостно бросился к нему.

— Петр Ананьевич! Молодчина, что пришли. Я тут, понимаете, сижу, как слепой крот в мышеловке. Столько новостей странных — прямо голова кругом идет. Объясните, сделайте милость, что происходит?

— Эх вы, Пантелей этакий! Не успели приехать — и сразу в объятия Мартушки?

— Да ведь я, Ананьич, пока ничего не знаю: ни адресов, ни обстановки… Прямо как в лесу.

— И угодили же вы! Домохозяин ваш — меньшевик из меньшевиков.

— На квартирных условиях это обстоятельство не отражается.

— Согласен. И все-таки первый визит вам нанесли Мартов и Дан. Воображаю, что вы от них услышали. Хоть уяснили вы, что к чему? Вникли в ситуацию?

— В том-то и дело, что нет. Слышу, кто-то кого-то подсидел, кто-то когда-то кому-то что-то шепнул, кто-то захватил чье-то

место. Кто, зачем?.. Одним словом, и корова ревет, и медведь ревет, а кто кого дерет — и сам черт не разберет.

— Погодите, сейчас все поймете.

Красиков стал рассказывать о расколе на съезде, изображал в лицах делегатов, говорил об интригах меньшевиков после съезда, об измене Плеханова. Лепешинский слушал недоверчиво, даже отчужденно.

— Знаете что, — решил Красиков, — пойдемте-ка сейчас к Владимиру Ильичу. Он вас быстро отшлифует.

Ленин обрадовался появлению Лепешинского. Крепко пожал руку, усадил гостя перед собой.

— Рассказывайте. Как доехали, где остановились? Что в России, с кем там успели повидаться?

Владимир Ильич, по обыкновению, не сводил глаз с собеседника. Слушал друга и Петр Ананьевич, размышляя, однако, о кознях меньшевиков, сумевших сбить с толку даже Лепешинского.

— Владимир Ильич, — он все же не выдержал. — Я ведь привел сего мужа, потому что он, побеседовав с Мартовым и Даном, впал в сомнения. — Лепешинский протестующе поднял руку, но Красиков будто не заметил этого. — Просветите вы его, пожалуйста, а то он и вовсе заплутает.

— Пусть и их послушает. — Владимир Ильич ничуть не тревожился. — Надеюсь, Пантелеймон Николаевич в состоянии разобраться. Каждый может познакомиться с протоколами съезда и сделать вывод.

— А мы что же, будем спокойно наблюдать?

— Во всяком случае, нам незачем быть ловцами душ, подобно товарищу Мартову. Пусть каждый сам сделает выбор, — сказал Владимир Ильич и обратился к Лепешинскому: — Рассказывайте.

Если Пантелеймон Николаевич, испытанный искряк, образованный марксист, имевший под рукой протоколы съезда, сумел самостоятельно разобраться в причинах раскола партии, то многим русским рабочим не так-то просто было постичь истину. Меньшевистская «Искра», с Плехановым в числе редакторов, привлекала на свою сторону новые и новые комитеты в России. На родину отправилась группа большевиков — среди них и Красиков, — чтобы на месте дать открытый бой меньшевикам.

В Киеве Петру Ананьевичу не повезло. Уже на второй день после приезда он обнаружил слежку и принужден был уехать. За день Красикову удалось встретиться на Подоле с комитетчиками и изложить им суть большевистского взгляда на положение вещей. И хотя, он видел, основательно поколебать позицию комитетчиков он не сумел, зерно сомнения в их души заронил

наверняка.

Была у него в тот день еще одна важная встреча.

Петр Ананьевич еще в Женеве слышал от Владимира Ильича, что Кржижановский склонен к компромиссу с меньшевиками. Но тогда была надежда, что это следствие нездорового заграничного климата и в России Глеб Максимилианович избавится от интеллигентского смятения. И вдруг здесь, в Киеве, услышал, что Кржижановский сделался едва ли не вождем здешних примиренцев.

Глеб Максимилианович пришел к нему на Институтскую, где он намеревался прожить хотя бы две-три недели. Петр Ананьевич понимал, что разговор будет нелегкий, и все же сразу взял быка за рога. Пожал гостю руку и спросил:

— Верно ли мне сказали, что вы и поныне стоите за мир с Мартовым?

— Не в Мартове дело, — сразу же замкнувшись, холодно ответил Кржижановский, — а в партии. Мы поднимаем склоки до уровня принципов и в итоге вместо единой партии получаем две. Вместо одной сильной — две ослабленные…

— Партия не становится слабее, очищаясь от оппортунистов. Во времена ОК, помнится, вы сами исповедовали эту веру. Не забыли слов Ленина о «дряблом хныканьи» потерпевших поражение интеллигентов? Кстати, Мартова с компанией никто не исключал, хотя я бы это сделал. Они сами поставили себя вне партии. А вы на поклон к ним идти собираетесь?

— Нет, Петр Ананьевич, — оскорбленно возразил Кржижановский, — на поклон я идти не собираюсь. Но не нахожу разумным отсекать от организации людей, с которыми в самое трудное время мы были рядом. Я согласен, они во многом ошибаются, они не правы…

— Но разве мы не сделали все возможное и невозможное, чтобы «отсеченные», как вы их именуете, возвратились под знамя партии? Разве мы их, а не они нас изгнали из редакции, разве по нашей вине Заграничная лига перечеркивала решения съезда? Они искушенные в политике люди. Потому прощать им отступничество не только глупость, но и измена.

— Это вы чересчур…

— Иначе думать я не могу и не желаю.

Петр Ананьевич распахнул окно. Филер, замеченный у афишной тумбы еще утром, стоял на том же месте. Сомнений не было, охранка «вышла на него», и теперь ускользнуть будет непросто.

Он не знал, конечно, что еще до его приезда начальник Киевского охранного отделения получил совершенно секретное

уведомление, разосланное, впрочем, и в другие города. Уведомление сообщало о Втором съезде социал-демократов и его делегатах. Департамент полиции извещал, помимо всего прочего, что на съезде был «сын чиновника П. А. Красиков (псевдоним Игнат)». Кроме того, указывалось, что «съездом руководило председательствующее бюро из Ульянова, Плеханова и Красикова, а душой съезда являлся Ульянов». На беду охранка еще перехватила письма Красикова в Петербург и Ростов-на-Дону. В них сообщалось о многочисленных провалах, ненадежной обстановке. Охранка донесла Департаменту полиции о том, что Красиков теперь в Киеве. Чутье, выработанное месяцами подпольной работы, подсказало ему, что нет иного способа остаться на свободе, как покинуть Киев и перебраться в другой город. Важно было, однако, попасть туда, где шла столь же трудная борьба с меньшевиками.

Петр Ананьевич переехал в Москву. Полицейские власти обнаруживали чрезвычайное усердие и здесь. Провал следовал за провалом. Северное бюро, куда входили большевики Бауман, Ленгник, Стасова, действовало в глубоком подполье. Сразу после приезда в бюро был кооптирован Красиков.

Он поселился сначала за Бутырской заставой, неподалеку от квартиры, где была явка. Чрезмерная предупредительность хозяина явочной квартиры, ветеринара, показалась подозрительной. Петр Ананьевич проследил за ним и обнаружил, что он встретился в трактире с неким господином. Наметанный глаз Красикова сразу угадал в нем переодетого жандарма.

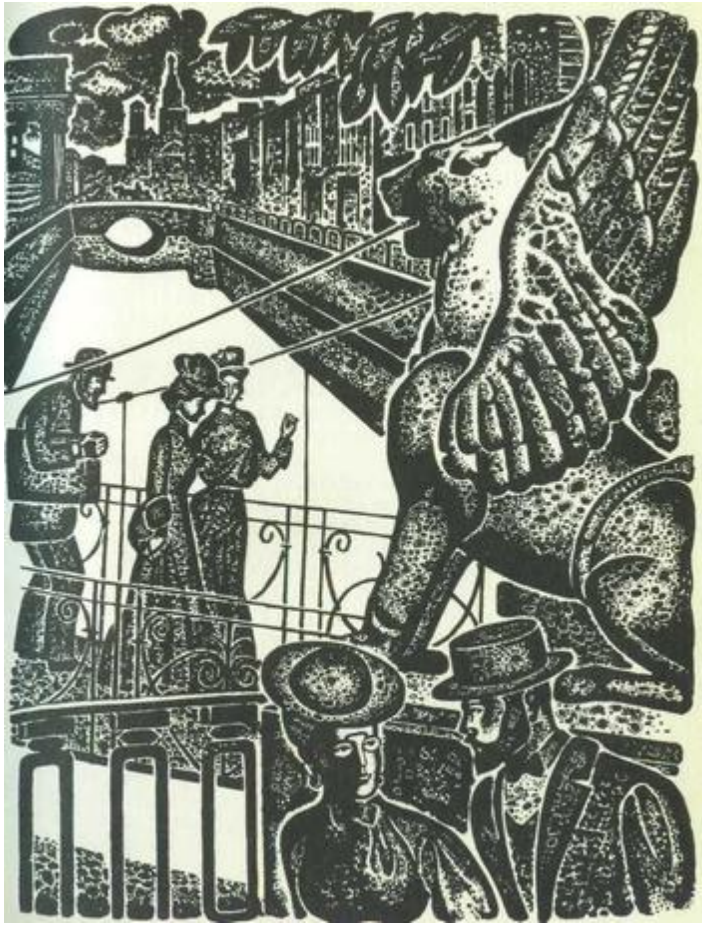
Пришлось тотчас же съехать с квартиры и снять дачу в Петровско-Разумовском. К вечеру он вернулся к Бутырскому валу, надеясь предупредить товарищей об опасности. С шести до семи на явке должны были встретиться Стасова, Ленгник и Бауман. Елену Дмитриевну он увидел почти сразу — она ехала в пролетке. Красиков окликнул ее, сел рядом и приказал извозчику поворачивать обратно. Стасова недоуменно посмотрела на Петра Ананьевича, но ни спрашивать, ни возражать не стала.

Только в каком-то безлюдном переулке он рассказал Елене Дмитриевне о ветеринаре. Стасова даже руками всплеснула. Затем созналась, что и она заметила за собой слежку. Нужно было немедля предостеречь всех.

Они помчались на квартиры Баумана и Ленгника, но не застали ни того, ни другого. Поехали к Бутырскому валу. Зря прождали товарищей до позднего вечера. Зря, потому что Бауман и Ленгник были арестованы еще днем.

Узнали об этом Красиков и Стасова лишь на следующий день, в последний раз побывав на конспиративном совещании

Северного бюро. На этом совещании было решено перенести бюро в Нижний.



Первой туда отправлялась Елена Дмитриевна. Ее провожал Красиков. Вдвоем они шли пешком к пригородной станции Вешняки, чтобы там захватить нижегородский поезд. Пустынные московские окраины походили на деревню. За деревянными заборами лаяли собаки, тускло светились оконца покосившихся домишек, во тьме громко переговаривались девушки и парни на посиделках, бренчала балалайка.

— Люди привыкают ко всему, — печально сказала Стасова. — Им бы выть от отчаяния, драться до крови, а они веселятся…

— Не сразу у народа глаза открываются, Елена Дмитриевна. У них не было, как у нас, домашних библиотек. Учиться же у жизни не так просто. Трудное и долгое это ученье.

— Понимаю. Все понимаю. Но очень уж не по себе становится от мысли, что товарищи в Таганке, а здесь веселятся…

— И мы с вами еще в тюрьму попадем. — Петр Ананьевич улыбнулся. — А люди будут жить как всегда. Может ли быть иначе?

— Не обращайте внимания на мои слова, — попросила Елена Дмитриевна. — Скверное настроение у меня.

Около полуночи Петр Ананьевич благополучно усадил Стасову на поезд. А дня три спустя узнал об аресте Елены Дмитриевны в пути. Теперь наступила его очередь. Необходимо было покинуть и Москву.

В Женеве он появился, как и двенадцать лет назад, с маленьким чемоданчиком и скрипкой в футляре. Щегольская наружность служила ему и ныне своего рода завесой.

Женевскую колонию большевиков он застал весьма многочисленной. Владимир Ильич с товарищами вели здесь все более ожесточавшуюся борьбу против меньшевиков. Но противник пока был удачливее: «Искра» стала меньшевистской, ЦК склонялся к примиренчеству.

Ленинцы провели совещание по выработке тактики во фракционной борьбе. В нем участвовали двадцать два человека. Они приняли написанное Владимиром Ильичем воззвание «К партии».

Сразу после совещания Красикова и Лядова ожидала нелегкая миссия — представлять большевистское крыло российской социал-демократии на конгрессе Второго Интернационала в Амстердаме. Они приехали на конгресс позже основной группы русских делегатов-меньшевиков. Появление в Амстердаме сторонников Ленина оказалось для меньшевистской публики столь же неожиданным, сколь и нежелательным. Меньшевистские вожди делали все возможное, чтобы не допустить ленинцев на конгресс, не позволить им во всеуслышание рассказать правду о русских партийных делах.

С Плехановым, главой делегации, большевики встретились за городом на международном митинге в честь конгресса. Георгий Валентинович говорил с трибуны. Речь его то и дело прерывалась аплодисментами. Публика восторженно принимала русских коллег, работающих в условиях жесточайших преследований царских властей.

Плеханов, растроганный овацией, был в превосходном расположении духа. Но едва он увидел Красикова и Лядова, как по лицу его прошла тень. В ответ на их приветствие он только сдержанно кивнул.

— Мы не дождались вашего ответа и приехали за ним сюда. — Лядов говорил хмуро. — Допустите вы нас в делегацию?

— Я? — Плеханов поднял брови. — Что до меня лично, то я, разумеется, ничего против не имею. Но ведь есть устав партии и устав конгресса. Их должно соблюдать. Так что при всем желании я ничем не могу помочь. Всуе законы писать, если их не

соблюдать.

— Не находите ли вы, — вмешался Петр Ананьевич, — что ваша делегация составлена именно вопреки уставу? Совет не собирался, Ленина не пригласили, представителя ЦК не было…

— Вы что же, серьезно полагаете, — вскипел Плеханов, — что мы должны были вызывать представителя ЦК из России? Ленин же без второго представителя не мог выражать мнения ЦК.

— Ловко! Ленин без второго представителя ЦК не полномочен выражать его мнение, а Плеханов и Мартов без Ленина являют собой Совет партии! И вы еще говорите об уставе! Пустое дело ссылаться на устав, если вы сами с ним не считаетесь.

— Ленин требует, чтобы мы допустили вас как его заместителей. Таким образом вы собираетесь представлять здесь одного Ленина. Мы же представляем партию!

— До чего же коротка память у бывших сторонников большинства! — Красиков посмотрел на Лядова. — Они недавно именовали себя «большевиками», исходя из того, что противостоят меньшинству партии. Ныне для них большинство — это один Ленин.

— Прекратим этот праздный спор. Свое мнение я высказал, говорить больше не о чем. — Плеханов круто повернулся и отошел от них.

Оставалось добиваться своего права через Международное бюро. Благо, их знали многие видные социал-демократы. Лядова — по работе в Берлине, Красикова — по тому же Берлину, где у него был конфликт с германским правосудием, а также по Парижу, Брюсселю, Женеве. Однако все это не могло уравновесить их возможностей и влияния Плеханова, признанного вождя русских марксистов. И хотя французы-гедисты и немцы — Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Каутский — обещали поддержку, уверенности в успехе не было.

Первым на разборе дела слово получил Лядов. Он в совершенстве владел немецким, и ему легче было давать объяснения. Мартын Николаевич перед выступлением очень волновался. Но стоило ему произнести первую фразу, как он успокоился и убедительно показал, чем вызвано непартийное поведение меньшевиков.

Затем слово взял Плеханов. Он был остроумен, блестящ и очень ловко укладывал большевиков на лопатки. Он убеждал, что «приближенные Ленина» болезненно мнительны, что в партии нет никаких принципиальных разногласий. Огромному большинству, мол, противостоит один Ленин и мизерная группка его личных друзей, недовольных положением в партии. Словом, поставил все

с ног на голову. Хотя, сказал он, против товарищей Красикова и Лядова у него лично возражений нет, стоит ли идти на нарушение устава?

Как ни уверенно он держался, как ни искусно отвечал на вопросы, бюро высказалось за допуск большевистских делегатов. Русская секция вынуждена была подчиниться, о чем Красикову и Лядову сообщил Дан, пригрозив, однако, что их и Ленина поведение станет предметом разговора на Совете партии. Пустая угроза эта ничуть не испортила им настроения. Меньшевики потерпели фиаско.

О революции в России, о Кровавом воскресенье он узнал еще зимой в Париже. Ему захотелось плюнуть на фракционную заграничную борьбу, на нескончаемую полемику с меньшевиками и тотчас отправиться на родину. Но пока не выработана была тактика на текущий момент и не оформлена своя, большевистская, организация, ехать было преждевременно. Лишь в конце лета, после Третьего съезда, побывав с докладами о его решениях в заграничных социал-демократических колониях, он по совету Владимира Ильича отправился на родину.

Красиков ожидал увидеть Петербург неспокойным, встрепанным, с массами народа на улицах. Но город выглядел обыденно. Распахнутые двери лавок зазывали покупателей, благодушно настроенные петербуржцы спешили куда-то по своим делам. Катили извозчики, звонила знакомая старая конка, ей вторили чуждые русским городам трамваи…

Но спокойствие Петербурга оказалось обманчивым. Здесь еще не закончились волнения по случаю полугодия Девятого января. Ему встречались демонстрации студентов и курсисток с красными флагами. Он слышал нестройное пение в колоннах, выкрикиваемые кем-то лозунги, на стенах домов белели прокламации. Массы были до крайности возбуждены, и малейшего толчка оказалось бы достаточно, чтобы случился взрыв.

А обстановка в среде питерских социал-демократов мало чем отличалась от заграничной: меньшевики злобствовали, примиренцы сил не жалели, стремясь наладить с ними согласие. А один из них — Мямлин, сухопарый длинноносый человек, договорился до того, что предложил признать незаконность Третьего съезда. Он стал убеждать Красикова, что в Лондоне состоялся не партийный съезд, а фракционная конференция. Учрежденная на Третьем съезде газета «Пролетарий» как орган партии, по мнению Мямлина, являла собой просто фракционный листок.

Петр Ананьевич вспылил и поговорил с ретивым примиренцем без соблюдения «товарищеских приличий», как сказал об этом сам Мямлин, всерьез обиженный откровенной неприязненностью его тона.

Беспринципность и двуликость людей типа Мямлина приводили Красикова в отчаяние. Партия, казалось ему, больна внутренними распрями, рождающими многословие и оторванность от революционного народа. О своих печальных наблюдениях он написал Владимиру Ильичу. Ответ пришел очень быстро, недели через три:

> «Дорогой друг! Спешу ответить на Ваше пессимистическое письмо… Вы неправильно смотрите на вещи. Дожидаться полной солидарности в ЦК или в среде его агентов — утопия. „Не кружок, а партия“, милый друг! Переносите центр тяжести в местные комитеты, они автономны, они дают полный простор, они развязывают руки для денежных и иных связей, для выступления в литературе… Смотрите же, не впадайте сами в ту ошибку, в которой вы других упрекаете: не охайте, не ахайте, а, коли не по душе агентура, налягте на комитетскую работу и своих единомышленников побуждайте налечь на нее… С мямлинством надо бороться *образцовой* постановкой комитетской агитации, *боевыми листками к партии,* а не кислыми жалобами к ЦК!..
>
> Жму крепко руку. Пишите чаще и не хандрите! А на Мямлиных наплевать!
>
> *Ваш Н. Ленин.»*

«На Мямлиных наплевать!» Все равно эта публика не удержится между двух стульев. Разве в революционный Петербург он приехал спасать Мямлиных от заблуждений?

В тот же день Петр Ананьевич объявил в Петербургском комитете, что отныне полностью отдает себя в распоряжение комитета и просит поручить ему живое дело. Для опытного партийца работа нашлась. Он сочинял прокламации, выступал на митингах. Предстояли первые в истории России выборы в Думу — изобретенный царским министром Булыгиным бесправный парламент. Большевики стояли за бойкот выборов, полагая, что участие в них может лишь сослужить службу самодержавию. Меньшевики, с некоторыми, правда, оговорками, приветствовали создание Думы, усматривая в ней первый росток российского

парламентаризма.

Двенадцатого сентября забастовали московские печатники. Это послужило сигналом к началу всеобщей стачки. Правительство, испуганное было невиданным единодушием трудовой массы, недели две спустя пришло в себя, и с тринадцатого октября в Петербурге стали распространяться разговоры о приказе генерал-губернатора Трепова войскам: «Патронов не жалеть, холостых залпов не давать!»

Наступил момент, когда споры об участии в думских выборах отошли на второй план. Власти сами толкали массы на решительные действия.

Вечером того же дня в столичном университете собрались революционные рабочие — представители профсоюзов. Актовый зал, несмотря на внушительность своих размеров, оказался тесным и душным. Публика была возбуждена до крайности.

Красиков пришел в университет с Леонтием Антоновичем Федуловым. В здании на Васильевском все осталось прежним: и высокие двери, и белый мрамор лестниц, и потемневшие бронзовые канделябры, и портреты ученых и государственных мужей на стенах коридоров. За распахнутыми дверями аудиторий глазам открывались амфитеатром спускающиеся к кафедрам столы. И хотя он видел повсюду множество людей, память воскресила эти аудитории иными — притихшими, внимательными; высветила из прошлого лица профессоров и склоненные над столами фигуры однокашников. «Вот тебе раз! — подумал Красиков. — Никак не предполагал, что о студенческой поре буду вспоминать с такой теплотой и таким сожалением».

Красиков и Федулов протиснулись в зал, пробрались к кафедре. На авансцене стоял молодой человек в очках и студенческой тужурке. Он клеймил преступный приказ «царского сатрапа» Трепова, призывал к еще большему сплочению пролетариата с революционной интеллигенцией, к решимости бороться до конца.

— Всему, что исходит от самодержавия, мы должны противопоставить свое несогласие. — Голос оратора, высокий и резкий, врезался в неумолчный гул зала. — Ни в чем не идти навстречу власти! Она зовет вас к станкам — бастуйте! Она задабривает вас думскими выборами — организуйте свои выборы, демократические, всеобщие, равные, прямые и тайные! Избирайте свой революционный орган власти — Всероссийское Учредительное собрание! И пусть в него войдут представители всех слоев нашего народа! Учредительное собрание будет знаменовать окончательную победу революции…

— О стачке разговор! — громко прозвучал недовольный

голос. — О стачке! Не время о выборах! Наслушались!

— Довольно! Не дело говорит!

Леонтий Антонович взглянул на Петра Ананьевича, как бы заручаясь его согласием, и протянул руку к председателю:

— Позвольте сказать?

Обыкновенно медлительный, он легко поднялся на сцену и повернулся к народу. Низкорослый, широкий в плечах, с поседевшими усами и шевелюрой, машинист Федулов некоторое время молча смотрел в зал. Лицо его побледнело, он поднял над головой руку:

— Братья-рабочие! Господин студент говорил нам, что вместо Думы хорошо бы получить Учредительное собрание. И я говорю, хорошо бы. Только если над этим, собранием царь останется, то от него столько же проку будет, сколько и от Думы. Но не для этих разговоров мы собрались. Говорено с января было вдосталь. И насчет выборов, и насчет комитетов разных и профсоюзов. А ныне довольно слов! Пришла пора показать мучителям нашим, что рабочему человеку не страшны приказы Трепова.

Петр Ананьевич с гордостью слушал бывшего своего ученика. Научился Федулов говорить с массой.

— Бастовали мы в этот год немало, натерпелись жены и дети наши. А мы готовы и впредь бастовать сколько потребуется. На приказ Трепова наш ответ может быть лишь один, ответ прямой и твердый: всеобщая стачка!

— Стачка! Бастовать! — прогремело в актовом зале.

Мигнула под потолком люстра. Раз, другой, третий. На сцену поднялся юноша в студенческой тужурке, отдал председателю какую-то записку. Тот прочитал и объявил:

— Товарищи! Электростанция начинает забастовку. Сейчас выключат электричество. Прошу соблюдать спокойствие. Всем будут розданы свечи, и мы продолжим занятия.

По рядам пошли студенты со свечами в ящиках. Спустя две-три минуты, когда погасла люстра, актовый зал осветили тысячи мерцающих огоньков. У Петра Ананьевича в руке тоже потрескивала свеча. Он огляделся. Все вокруг сделалось таинственным, лица как бы озарились изнутри. В зале, наполненном голосами, запахами махорочного дыма и растопленного воска, слова зазвучали торжественнее. Гасли свечи, вспыхивали спички, речи делались возбужденнее, и митинг, слившийся людей воедино, с каждой минутой обретал все большую решимость, рождавшую в душах уверенность в успехе.

В Озерки — Красиков обитал там в доме Федулова — пришлось идти пешком: бастовали железнодорожники. Леонтий Антонович отмалчивался, о чем-то размышляя.

— Что не веселы? — спросил Красиков.

— Нет причины для веселья. Понимаю, надо бастовать. А на душе камень. По ночам паровозы снятся. Руки дела просят. Да и добастовались нынешний год — хоть по миру иди. Опять с Марьей объяснения не миновать. Я вот, будь один, без семьи, сколько потребовалось бы, столько и бастовал. С народом и смерть принять не страшно. А женщина — иное дело. У нее не так ум устроен. Она и сама за жизнь крепче держится, и жалости к людям у нее больше. А если детишки есть, она, вот как моя Марья, и вовсе слепнет.

— Почему же слепнет? Матери самой природой назначено детей своих оберегать.

Петр Ананьевич вспомнил жену Федулова Марию Павловну, некогда круглолицую румяную женщину, и их детей, Костика и Верочку, шумных, смешливых ребятишек. Их теперь не узнать. Мария Павловна истощала вконец, на лбу у нее пролегли морщины, щеки сделались изжелта-серыми, глаза постоянно налиты слезами. И дети бледны, замкнуты, почти неслышны.

Шли долго. Тревожно спали городские здания. Улицы были пустынны. Лишь однажды процокал подковами казачий разъезд да у двух-трех подворотен изваяниями окаменели караулящие кого-то дворники. Дальше темные громады зданий постепенно стали терять высоту, все чаще появлялись деревянные домишки окраин, прилепившиеся к черным мачтам сосен, запахло болотом и хвоей, послышался собачий лай.

— Все беды наши от необразованности, от темноты, — возобновил разговор Федулов. — Силы своей рабочий человек не сознает. Если бы образование пролетариату, он бы живо понял, как жизнь устроить надо. И то понял бы, что силы у него на это довольно. Я вот очень много думать стал и по себе вижу, что сколько ни учись на старости, все равно от невежества не спасешься. Рабочий класс надо смолоду учить.

— Это очень правильно, Леонтий Антонович. Но пока не более чем красивая мечта. Осуществить ее можно лишь после революции. Культуру человек должен с молоком матери впитывать. С детства его должны окружать книги, музыка, искусство. Если же дети растут в бараках, при иконах, пьянстве, площадной брани, что может принести им гимназия или университет?

— И вы, оказывается, об этом думаете?

— Конечно. Хотя, откровенно говоря, меня больше занимает другое — создать общество справедливости, общество без полиции, судов и тюрем. В нем не останется места преступлениям, злобе, неуверенности. Я, Леонтий Антонович,

пытаюсь иногда вообразить жизнь далеких наших потомков. Свободные, не обремененные заботой о хлебе, расположенные друг к другу, они не боятся высказывать любую свою мысль, потому что в обществе нет ни злобы, ни страха, ни подавления. Им все на радость: и труд, и любовь, и искусство… Это будет общество истинной справедливости и равенства.

— Хорошо вы говорите. У меня даже на сердце потеплело от ваших слов. Может, ребятишки мои доживут, своими глазами увидят все это? Знать бы, тогда и помереть не страшно.

— Почему бы им не дожить? У них еще очень много лет впереди.

На углу Забалканского проспекта и улицы Четвертой роты за частоколом прутьев металлической ограды стояло двухэтажное здание, окруженное разросшимися деревьями. Резная дубовая дверь, мраморная лестница, ведущая от парадного входа в уютный вестибюль, потолок в богатой лепке, позолоченные изразцы — все здесь свидетельствовало о великолепии и утонченности, позволительной лишь тем, кто не стеснен в желаниях и возможностях. Здание принадлежало Вольно-экономическому обществу, созданному в шестидесятые годы для способствования промышленному расцвету пореформенной России. В этом великолепном особняке с середины октября стал помещаться Петербургский Совет рабочих депутатов.

На одном из первых заседаний депутат от большевиков Петр Ананьевич Красиков, товарищ Антон, как он теперь назывался, от имени своей фракции внес предложение о равном представительстве политических организаций в Исполкоме. Каждая из трех крупнейших партий — большевики, меньшевики и эсеры — должны быть представлены в Исполкоме тремя лицами. Меньшевики, имевшие в Совете перевес, восстали против предложения. Особенно горячился председатель Совета Хрусталев-Носарь. Им вкупе с эсерами, конечно, удалось бы похоронить предложение большевиков. Но на их беду, дело происходило не за границей, а в революционном Петербурге и не на собрании интеллигентов, а в Совете рабочих депутатов. Почувствовав, что масса их не поддержит, Хрусталев-Носарь и его сподвижники, а вслед за ними и эсеры пошли на попятный.

Восемнадцатого октября привычное многолюдье на улицах не таило в себе воинственности и ожесточения. У афишек, расклеенных на стенах, толпились возбужденные люди. К Невскому одна за другой прошли две колонны демонстрантов. Первая, по преимуществу из рабочих, — с красным флагом; вторая, весьма неопределенная по принадлежности, в ней и

рабочие, и студенты, и чиновники, и прочая публика, — с портретами царя, хоругвями, трехцветными флагами. Эти пели «Боже, царя храни».

На Литейном, у здания Судебной палаты, Петр Ананьевич увидел довольно большую толпу. Подошел. Полная дама в манто вытирала платком слезы и, смеясь, говорила что-то стоящему рядом господину. Тот в ответ согласно кивал. Подле них другой солидный господин лобызался с бородатым мужиком. Шелестели слова: «конституция», «свобода», «цивилизация», «Европа». Петр Ананьевич протиснулся к афишке на стене. Прочел: «Высочайший манифест». И дальше: «Мы, Николай Вторый…» Царь объявлял о даровании невиданных в России свобод: слова, союзов, собраний…

В Совете тоже был праздник. Хрусталев-Носарь возбужденно жестикулировал, улыбался и разве что не утирал слезы, подобно барыньке на Литейном. В столь же радужном расположении духа пребывали и эсеры. Они поздравляли друг друга, пожимали руки «своим» и даже «не своим». Они и меньшевики всячески выказывали взаимную благорасположенность.

Красикова бесила восторженная слепота политических недорослей и тех, кто притворялся недорослями. Создавалось впечатление, будто для этой публики все задачи революции решены царским манифестом.

Едва только началось заседание, он попросил слова и крепко испортил им праздник. Назвал разомлевших от умиления деятелей «квазиреволюционерами», пекущимися не о действительном освобождении рабочего класса, а о «безболезненной кончине революции». Меньшевики и эсеры неистовствовали. Особенно негодовал Троцкий — обвинил Красикова в анархизме и неумении оценить реальную обстановку в России. Следует, мол, трезво взвесить соотношение противоборствующих сил…

— Не посоветоваться ли нам с господином Витте или, лучше, с самим государем? — спросил Красиков. — Они укажут перспективу.

Все заговорили одновременно. Председательствующий и не пытался возобновить порядок. Члены Исполкома кричали о непоследовательности противников, трусости, узости. Но никто никого не слушал. Так продолжалось до самого перерыва.

Выйдя покурить, Петр Ананьевич остановился у окна. На душе было гадко. И это учреждение, состоящее по преимуществу из политиков, не умеющих и не желающих понимать целей революции и роли в ней пролетариата, называется Советом рабочих депутатов?!

Кто-то коснулся его плеча. Он оглянулся. Перед ним, широко улыбаясь, стоял Михаил Трегубов. Давний приятель протягивал ему руку. Красиков посмотрел на него так отчужденно, что воодушевление Михаила тотчас угасло.

С неделю еще меньшевики и эсеры ходили именинниками. Даже гибель Баумана от рук черносотенца и грандиозные похороны в Москве не насторожили их. Эта случайность, мол, ни о чем не говорит. Во всем же остальном их предсказания сбывались. Из тюрем освобождали политических. В обиход входило слово «гражданин». Полиция не чинила препятствий демонстрациям. На «скептиков-большевиков» в Совете поглядывали иронически.

Однако «прозорливцы» торжествовали недолго. В первых числах ноября стали поступать сведения о локаутах, погромах и даже новых арестах. Самодержавие устояло и теперь намеревалось покончить с революцией в короткий срок.

Но и эти расчеты не оправдывались. Из провинции приходили вести о крестьянских волнениях, самочинных захватах земель, поджогах имений. Вслед за Петербургом Советы рабочих депутатов организовались во многих городах. А у столичного Совета появилась собственная газета — «Известия Совета рабочих депутатов».

В конце октября полиция арестовала депутата Совета Немцова и еще четырнадцать рабочих. Красиков принял все возможные меры, чтобы в Совете прошла резолюция-ультиматум о немедленном освобождении арестованных. Той же ночью тюрьму посетил сам полицмейстер. По его приказу арестованные были освобождены.

Когда в первых числах ноября пришла телеграмма из далекой азиатской крепости Кушки, что группа железнодорожников приговорена к смертной казни за забастовку («расстрел на рассвете!»), тоже пришлось вовсю поработать. Исполком Совета направил ультимативное требование Витте — приостановить казнь под угрозой всеобщей стачки железнодорожников. И опять маленькая победа — за несколько минут до истечения срока ультиматума Совет получил от правительства извещение: исполнение приговора приостановлено, дело передано на новое рассмотрение…

А вскоре Совету стало известно о намерении полиции воспрепятствовать торжественным похоронам жертв расстрелов. Очевидно, власти опасались повторения в Петербурге московских событий, сопутствовавших похоронам Баумана. Исполкомовские меньшевики предложили направить депутацию к Витте, просить о заступничестве. Это холопское предложение привело Красикова в

ярость.

— Нам советуют поклониться в ножки господину председателю, — сказал он, — просить разрешения на открытый протест против насилия и произвола. Они толкают нас на скользкий путь. Они зовут нас предать память товарищей, погибших от рук палачей. Как можно идти на поклон к тому самому правительству, от подлой руки которого пали наши братья?

Рабочие депутаты горячо поддержали Красикова. Меньшевики не осмелились настаивать на своем предложении.

В первых числах ноября из-за границы возвратился Ленин. Вечером на явочной квартире большевиков он встретился с товарищами. Владимир Ильич оживленно расспрашивал их о Петербурге, о тактике меньшевиков в Совете, о настроениях бастующих рабочих. Затем разговор пошел о локаутах, предпринятых хозяевами. Подробно расспросив о них, Владимир Ильич негодующе воскликнул:

— Более ста тысяч выброшенных на улицу пролетариев! Самодержавное правительство объявило войну революционному пролетариату. Буржуазия хочет воспользоваться недостаточной сплоченностью пролетариев разных городов и разбить их поодиночке. Наша задача — предостеречь рабочих. Ни под каким видом нельзя поддаться на провокацию. Нужно добиться принятия в Совете разумной, в меру сдержанной и, вместе с тем, решительной резолюции по этому вопросу. Здесь мы должны положиться на товарищей Красикова и Кнунянца. — Он посмотрел на Петра Ананьевича и спросил: — Одолеете меньшевиков?

— Пока одолевали, Владимир Ильич. Попробуем и на сей раз… А не могли бы вы, Владимир Ильич, выступить на заседании Совета? Там говорить разрешают всем желающим.

— Мне выступить? — Ленин задумался. — А почему бы не выступить? Это со всех точек зрения полезно. Уговорили. Согласен. Только уж вы, Петр Ананьевич, предупредите меня заранее о дне и часе.

Речь после этого зашла о перевесе меньшевиков в Совете. Ленин прямо сказал, что большевики проморгали решающий момент. Советы рабочих депутатов — это зачатки новой революционной власти. Ни в коем случае нельзя было получить в нем мест меньше, чем получили оппортунисты.

— Это верно, проморгали, — согласился Кнунянц, тоже член Исполкома Совета от большевиков. — Есть такой грех. Только мы, Владимир Ильич, им здорово жизнь портим. Так что еще неизвестно, у кого перевес получается. Наш Петр Ананьевич

целой дюжины меньшевиков стоит.

— Дюжины стоит? — Владимир Ильич засмеялся. — Мне писали о нем в том же духе. Что дюжины стоит, это хорошо. Сегодня каждому из нас нужно дюжины стоить.

Затем все вместе отправились на Преображенское кладбище поклониться праху жертв Кровавого воскресенья. Почти совсем стемнело. Было сыро и холодно. Под порывами ветра деревья угрожающе взмахивали ветвями. На холмики могил, на деревянные кресты — их здесь было великое множество — падал мелкий снег. Они стояли с обнаженными головами, переводя взгляд с одного креста на другой, и в глазах у всех была безмерная печаль. Никто не нарушал кладбищенской тишины. А в ушах гремели слившиеся воедино губительные выстрелы Девятого января.

Появление Ленина среди большевиков на заседании Петербургского Совета тринадцатого ноября заметно встревожило меньшевиков. Обеспокоились и эсеры.

Присутствие Ленина настолько сковало их, что президиум никак не мог наладить живой ритм работы. Речи звучали вяло, депутаты то и дело поглядывали в сторону большевиков, где между Красиковым и Кнунянцем сидел Владимир Ильич.

Но вот Ленин попросил слова. Хрусталев-Носарь растерялся. В президиуме громко зашептались. Меньшевики и эсеры на передних скамьях притихли в ожидании. Носарь наконец справился с собой и объявил о выступлении возвратившегося из эмиграции Ульянова-Ленина. Большевистские депутаты зааплодировали. Их не слишком дружно поддержали остальные.

Владимир Ильич говорил о борьбе с локаутами, об опасности неподготовленных выступлений рабочих, о том, что Совету необходимо использовать весь свой вес, чтобы возвратить к станкам выброшенных на улицу пролетариев. Голос его звучал ровно. Но по тому, как потемнело лицо Ильича, по резким взмахам его руки Петр Ананьевич угадывал, что Ленин взволнован необычайно.

Депутаты слушали, затаив дыхание. В Совете еще ни разу не звучала речь, в которой столь метко подмечалась бы истинная суть линии буржуазии в революции и так ясно определялись бы цели пролетариата. Когда оратор умолк, под сводами не слишком большого зала взорвалась овация. Аплодировали даже противники большевиков.

Красиков провожал Владимира Ильича. По дороге Ленин говорил, что наступил тот этап революции, когда в любой момент на повестку дня может встать вопрос о вооруженном восстании.

Правительство готово перейти в наступление, но рабочий класс ни в коем случае не сдаст без боя своих позиций. И им, большевикам, нельзя будет наблюдать за этим со стороны, как хотят «товарищи меньшевики».

— Не может быть назначена народная революция, — все более воодушевляясь, говорил Владимир Ильич. — Но назначить восстание, если мы его действительно готовили и если народное восстание возможно… вещь вполне осуществимая. И вы, большевики Совета, должны быть к этому готовы…

Второго декабря был арестован Хрусталев-Носарь. На следующий день Исполкому предстояло собраться для выработки резолюции протеста.

Красиков и Кнунянц подъехали к Совету на извозчике и, увидев у здания Вольно-экономического общества солдат и казаков, молча переглянулись. В вестибюле Совета их встретил Сверчков, заменивший председателя. Он был взбудоражен, красен, глаза его излучали неестественный блеск.

— Вы думаете, они собираются нас арестовать?

— Что вы! — Красиков едва не рассмеялся. — Они просто решили нанести нам светский визит.

— Как можно шутить в столь важный для русской истории час?

Заседали в первом этаже. Все были возбуждены, ежеминутно поглядывали в окна. За оградой лениво прохаживались солдаты в шинелях. В их поведении не обнаруживалось пока ничего угрожающего, и члены Исполкома постепенно обретали спокойствие.

Сверчков предложил призвать рабочих к забастовке протеста против ареста Хрусталева-Носаря и демонстрации силы, устроенной войсками и полицией у стен Совета. Это, говорил Сверчков, единственное средство борьбы с произволом властей. Предложение поддержал эсер Авксентьев. Троцкий, начавший после приезда Ленина заигрывать с большевиками, выступил по этому поводу скептически. Мол, Петербург, не поддержанный Россией, свой пыл истратит попусту. Нужно прежде договориться с провинцией. А как только она начнет, Петербург присоединится к забастовке. Таким лишь путем можно будет отрезвить правительство.

— Позвольте мне? — попросил слова Красиков. Он понимал, что разговоры о забастовке сейчас — пустое занятие. Нужны более решительные меры. Время поставило вопрос: кто — кого. — Я не против забастовки. Но сейчас одной забастовкой ничего не достигнешь. Тем более что при нынешних условиях она неизбежно связана с выступлением на улице. Самодержавие

перешло в атаку. Нам остается либо принять бой, либо сдаться на милость победителя. «Милость» эта означает расправу — тюрьмы, каторгу, расстрелы. Так что путь у нас один — ответить контрнаступлением. Жизнь поставила в порядок дня вооруженное восстание…

В коридоре загремели сапоги, прозвучала воинская команда. Распахнулась дверь, вошел офицер. В помещение набились краснолицые с мороза солдаты. Офицер оглядел депутатов, сказал:

— Господа, вы арестованы. Прошу соблюдать порядок.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
«Господин присяжный поверенный»

I

Жильцы доходного дома мадам Капшинской засыпали рано. В десятом часу обыкновенно стихали голоса, переставали скрипеть деревянные ступеньки лестницы, не стучали двери, в коридорах гасли лампы. Все вокруг погружалось в уютную сонную тишину.

Для помощника присяжного поверенного Петра Ананьевича Красикова наступало самое плодотворное время суток. Он раскладывал на столе выписки из дел, уставы и уложения, монографии по праву, а иной раз и университетские учебники. Читал, делал заметки, составлял процессуальные документы, переводил с французского своего любимого Жан-Жака Руссо. Единственное, что не давало ему вполне сосредоточиться на работе, — это неотступно тревожившие ого и точившие сердце мысли о переходе на легальное положение.

Переход на «легальщину» выглядел малодушием, дезертирством с поля боя в трудный для партии час. Сам того не замечая, он погружался в раздумья, и картины прошлого одна за другой вставали в памяти…

От суда по делу Петербургского Совета рабочих депутатов его спасла случайность. Одного следователя в деле сменил другой и, желая посрамить предшественника, в целях ускорения производства решил избавиться от второстепенных лиц. В категорию «второстепенных» попал и Петр Ананьевич. Депутатам он был известен как «товарищ Антон», и все, кто давал «чистосердечные показания», свидетельствовали против товарища Антона, а относительно господина Красикова ничего показать не могли.

Затем он полгода работал в столичном комитете большевиков, скрывался от охранки и воевал с меньшевиками, хотя партия формально вновь стала единой. Едва ли не на всех заседаниях Петербургского комитета случались ожесточенные споры, и Красиков от имени большевиков полемизировал с противниками наиболее непримиримо, игнорируя авторитетность и заслуги меньшевистских лидеров.

Летом шестого года случился еще один арест, столь неожиданный и нелепый, как и освобождение из-под стражи по делу Совета. Последовала небольшая отсидка и высылка из

Петербурга.

Он поселился в Куоккале неподалеку от «Вазы» — дачи, где жили Владимир Ильич и Надежда Константиновна. «Ваза» на какое-то время сделалась явочным домом и штабом большевиков. Члену Петербургского комитета Красикову необходимо было большую часть времени находиться в Петербурге, но все же встреч и разговоров с Лениным было немало.

А через год в стране уже вовсю свирепствовала реакция. Повсеместно заседали военные суды, выносили смертные приговоры, отправляли «бунтовщиков» на каторгу. Самодержавие чинило расправу над революцией.

Либеральная интеллигенция в массе своей отшатнулась от открытой борьбы, рабочий класс, истощенный и обескровленный пятым годом, утратил безоглядную решительность. Лучшая часть революционной интеллигенции и сознательного пролетариата томилась в тюрьмах.

Оставалось либо вновь бежать за границу, либо затаиться в подполье, дожидаясь нового революционного подъема. Разумеется, можно было работать и нелегально — опыт он приобрел достаточный. И тогда он вспомнил услышанные как-то на «Вазе» от Владимира Ильича слова о «двусторонней тактике» в случае поражения революции, и у него впервые родилась мысль о переходе на легальное положение. Он ведь недоучившийся юрист. Закончив образование, мог бы вступить в сословие присяжных поверенных и посвятить себя защите «государственных преступников», товарищей по партии. Вспоминая берлинского адвоката Карла Либкнехта, он думал, что и в России могло бы в судебных залах звучать слово правды. Во всяком случае, он смог бы принести таким путем пусть небольшую, но вполне реальную пользу в борьбе за сохранение партии.

Ему повезло. Деканом юридического факультета был профессор Жижиленко, бывший однокурсник. Формальности поэтому не очень затруднили. За год были сданы экстерном экзамены по курсу юридического факультета, и в апреле восьмого года ему вручили диплом об окончании университета. Вслед за тем Петр Ананьевич разыскал давнего знакомого, одного из корифеев столичной адвокатуры — Николая Дмитриевича Соколова и заручился его согласием принять новоиспеченного юриста к себе в помощники…

Доходный дом мадам Капшинской давно уснул. Осталась недописанной апелляция на приговор Судебной палаты по делу студенческой социал-демократической организации. Процесс, длившийся около недели, закончился позавчера. Защитниками по делу кроме него и Николая Дмитриевича выступали видные

петербургские адвокаты — Зарудный, Керенский, Стасов. Подсудимых приговорили к длительным срокам каторги. Коллеги считали это благоприятным исходом. И сами осужденные, кажется, были удовлетворены: по аналогичным делам военные суды обыкновенно назначали смертную казнь. И все же Петр Ананьевич, вопреки рекомендациям патрона, решился на обжалование приговора.

Нет, на снисхождение к осужденным и на пересмотр дела он не надеялся. Но использовать легальную возможность для своего рода антиправительственной пропаганды было просто необходимо. Апелляция несомненно попадет на глаза служащим канцелярии правительствующего сената: секретарям, курьерам, машинисткам, кандидатам на судебную должность. Им полезно будет почитать ее. Да и не лишне еще раз напомнить самим судьям, что и во времена безудержной реакции не все капитулировали перед их силой.

Устоявшуюся тишину дома внезапно сдвинул с места резкий скрип ступенек деревянной лестницы. Кто-то быстро взбежал на второй этаж. Спустя секунду раздался стук в его дверь. Петр Ананьевич вышел в коридор с лампой в руке. Увидел Марию Павловну Федулову. Волосы ее выбились из-под платка, на лице было отчаяние.

— Леонтия жандармы арестовали, — произнесла она прерывающимся шепотом. — Что делать, Петр Ананьевич? Научите…

Он пригласил ее в комнату, подал стакан воды. Она жадно выпила и принялась рассказывать, как в полночь явились жандармы, испугали спящих детей, перевернули в доме все вверх дном и увели с собой Леонтия. Муж успел ей лишь сказать, чтобы она сходила в дом мадам Капшинской к адвокату. Надо бы, конечно, дождаться утра, но у нее не хватило терпения.

— Успокойтесь, Мария Павловна, — Петр Ананьевич закурил, взволнованно прошелся по комнате, остановился перед растерявшейся женщиной. — Возвращайтесь домой. Там ребята одни. Утром я наведу справки, а вы зайдите ко мне вечером. Подумаем вместе. Быть может, мне удастся к тому времени повидаться с Леонтием Антоновичем.

Утром он поехал на Сергиевскую к патрону. Николай Дмитриевич, в халате с атласными отворотами, с сигарой в зубах, встретил его по обыкновению радушно. Его красивое лицо осветилось улыбкой. Однако он, догадавшись по озабоченному виду помощника, что тот не в духе, тотчас и сам сделался серьезным. Николай Дмитриевич пожал гостю руку и, не выпуская ее, ввел его в кабинет, усадил в глубокое мягкое кресло,

спросил, не желает ли Петруша кофею.

— Я к вам за советом, патрон.

— За советом? Слушаю, Петруша. Что у вас стряслось? — Он посмотрел на Красикова встревожено. — Что-нибудь прискорбное?

— Сюда, я успел заметить, с радостями никогда не приходят.

И Красиков рассказал об аресте Федулова, о давнем своем знакомстве с ним. Николай Дмитриевич сочувствовал большевикам, и таиться от него не было нужды. Петр Ананьевич закончил рассказ и спросил:

— Быть может, уговорить кого-нибудь из наших светил принять на себя защиту Федулова? Вот вы бы не согласились?

— Я? Петруша, я ведь вам сказал, что у меня на днях начинается большой процесс. Я бы с радостью, но увы…

— Быть может, посоветуете кого-нибудь из коллег?

— Нет, Петруша, вы положительно дитя. Вам кажется, что любой присяжный поверенный, стоит его лишь попросить, согласится принять на себя политическую защиту. Таких, кто с готовностью участвует в делах о государственных преступлениях, во всем сословии единицы. И все они, насколько мне известно, заняты по делу эсеров-террористов. Кого-нибудь еще? — Николай Дмитриевич хмыкнул, отошел к столу, опустился в рабочее кресло, отложил погасшую сигару, некоторое время молчал в задумчивости. Затем опять встал и, пока говорил, более не садился. — Видите ли, Петруша, наше сословие и без политических защит существует не к радости властей предержащих. Прежде чем в тяжких муках родилась российская присяжная адвокатура, сколько было сказано речей и пролито чернил! Николай I на совет кого-то из приближенных учредить в России адвокатуру вскричал: «Кто погубил Францию, как не адвокаты! Кто были Мирабо, Марат и Робеспьер?!.. Пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты!» Вот как! Это и есть официальное отношение к нашему сословию. Если вы полагаете, что ныне здесь хоть что-то изменилось или когда-либо изменится, — вы заблуждаетесь. Мы — извечная заноза в теле государства. Вообразите же, как жалуют тех из нас, кто соглашается помогать политическим противникам власти. Но присяжные поверенные — тоже люди. Иные коллеги наши всегда помнят, чем чревата всякая политическая защита, и о том не забывают, что доход от этих дел ничтожен. А укротить совесть свою так легко! Какой, мол, прок от защитника в деле о государственном преступлении? Судьи его и не слушают вовсе… Так-то, драгоценный! Придется вам защищать своего знакомого самому.

От патрона Петр Ананьевич пошел в жандармское управление на Гороховую, навел справки, получил пропуск в «Кресты» и поехал на свидание с Федуловым. При встрече Леонтий Антонович не обнаружил подавленности или отчаяния. Напротив, он время от времени даже посмеивался и шутил, что вот и ему к старости выпало изведать «царскую ласку». А когда речь зашла о жене и ребятишках, Леонтий Антонович отвел глаза. Непослушными пальцами взял из протянутого защитником портсигара папиросу, жадно затянулся.

— Обидно… — Слово прозвучало как вздох. — Не то обидно, что меня они со свету сжить хотят. Я-то хоть знаю, за что. А Марье да детям за какие грехи страдать?..

Вскинул седую голову, уставился в перечеркнутое тюремной решеткой оконце; лоб его рассекла глубокая борозда.

— Леонтий Антонович, — деликатно вывел его из безысходной задумчивости Петр Ананьевич, — давайте подумаем, какую линию поведения избрать в процессе. Нельзя предаваться отчаянию. Они и надеются на вашу слабость, на привязанность к семье…

— Что же в том худого, что душа у меня за семью болит?

— Ничего худого, разумеется, в этом нет. Но ведь они попытаются сыграть на ваших чувствах, получить нужные им показания. Они хитрят, и нам следует быть хитрыми. Прикиньтесь человеком ничего не знающим и ничего не понимающим.

— Не умею я этого. Хитрости мне отродясь недоставало. Я могу или вовсе ничего не говорить, или уж ежели скажу, то скажу…

— Ни в коем случае! Запомните, в казарму вы попали случайно. Никаких речей не произносили. А прокламации домой принес Костик.

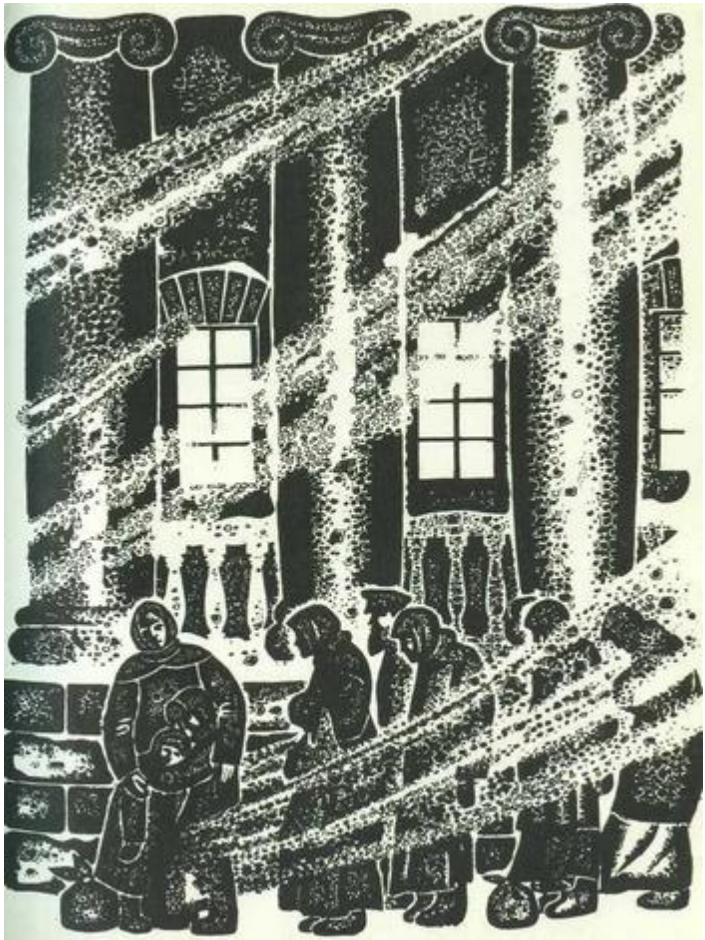
— Не поверят.

— Разумеется. Но что бы вы ни говорили, они все равно не поверят. Вы для них — смертельный враг. Но при всем этом они обязаны соблюсти хотя бы видимость процессуальной безупречности. Так почему бы нам на этом не сыграть? Вы поняли меня?

— Чего тут не понять?

Процесс начался на четвертый день. Закон восемьдесят первого года «О мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия», уточненный и дополненный в начале века, разрешал предавать военному суду гражданских лиц. Дела предписывалось рассматривать «без задержания». Народ окрестил военное правосудие послереволюционных лет

«скорострельной юстицией».



За судейским столом восседали люди в военной форме. Председательствовал старенький генерал с ввалившимся ртом, чрезвычайно амбициозный и обидчивый. Когда что-то было не по нему, глазки его разбухали от слез, а голос поднимался до истерического визга. Члены суда: два полковника, один — тучный и сонный, другой — длинношеий, в очках, и два молодых штабс-капитана — откровенно скучали. Прокурор, в чине полковника, с костлявым лицом, был сдержан и, в отличие от членов суда, понимал свою роль.

На скамье подсудимых сидело пятеро. Федулов был старше остальных. Двое двадцатилетних рабочих из депо, казалось, не испытывали никакого беспокойства. Они перешептывались, указывали глазами на судей, прокурора, свидетелей, посмеивались, когда слышали очевидную ложь. Зато два солдата, остриженные наголо, разительно похожие друг на друга,

плосколицые и конопатые, сидели чинно и неподвижно. У одного глаза сделались белыми от страха, а во время допроса он даже расплакался. Второй держался лучше и даже выгораживал товарища, принимая его вину на себя.

Вначале Петр Ананьевич волновался как мальчишка. Первое дело в военном суде! Да к тому же подзащитным его оказался Леонтий Антонович! Судьба Федулова теперь в известной мере зависела от него. Необходимо было использовать все изъяны в позиции обвинения и, быть может, пробудить в душе военных судей сочувствие к пожилому машинисту, отцу двоих детей.

Свидетельские показания давали трое нижних чинов, фельдфебель и стянутый ремнями подпоручик из полка, где состоялся митинг, приведший к аресту подсудимых. Их показания не содержали, по сути, ничего ценного для обвинения. Затем суд вознамерился приступить к оглашению протокола допроса отсутствующих свидетелей — филеров, агентов охранки, тайных осведомителей. Эти опасались являться в суд — перекрестный допрос непременно выявил бы лживость их свидетельств.

Но принятое после пятого года положение о судопроизводстве в военных судах предоставляло право принимать в расчет свидетельские показания, не проверенные непосредственно судом и сторонами. Оно не имело аналогии ни в одном законодательстве цивилизованных стран. Николай Дмитриевич назвал его «первым шагом к возрождению инквизиции». Правило это тотчас стало мишенью для насмешек и критики со стороны адвокатов и ученых-юристов. Но оно покоилось на слепой озлобленности власти, и его действию ничто не угрожало.

Генерал бесстрастно подал дело секретарю, чтобы тот огласил показания свидетелей. И хотя каждому в зале было понятно, что это не имеет ничего общего с правосудием, все — и судьи, и прокурор, и защитники — держались так, словно ничего из ряда вон выходящего не происходит. Офицеры за судейским столом безмятежно переговаривались, прокурор что-то рисовал остро отточенным карандашом, защита безмолвствовала. И Петр Ананьевич вновь подумал, что суд — вполне подходящее место для того, чтобы большевик мог публично развенчивать государственное устройство самодержавной России и произвол ее судебной системы.

Красиков попросил разрешения заявить ходатайство. Генерал кивнул плешивой головой.

— Господа судьи! Кто не помнит Чичикова из гоголевских «Мертвых душ»? Это он избрал способ создавать капитал, обзаводясь душами покойников. — Петр Ананьевич увидел

нацеленное на него пенсне, покоящееся на хрящеватом носу прокурора, и на мгновение умолк. — Я спрашиваю, господа судьи, не оказались ли мы очевидцами похождений потомков расторопного Чичикова? Вы намерены заслушать показания лиц, не явившихся в суд. Но знаете ли вы, кто они, эти лица, беспристрастные ли свидетели или, быть может, они имеют интерес добиваться осуждения обвиняемых? Здоровы ли они психически или душевно больны? И наконец, существуют ли вообще на свете, или нам предлагают нечто вроде ревизской справки о мертвых душах?

Генерал замахал руками: что вы, что вы! Полковники-судьи глядели на защитника недоумевающе, штабс-капитаны сделались озабоченными. Прокурор побледнел. А Петр Ананьевич не умолкал, хотя и отдавал себе отчет, что ходатайство будет отклонено.

— Я утверждаю, что показания свидетелей, не проверенные в заседании, ввиду их сомнительности не могут быть приняты вами во внимание. Видя свою задачу в помощи суду и исполняя долг, я ходатайствую об отложении дела до того момента, когда обвинение сможет обеспечить явку всех свидетелей, чьи показания используются сторонами и могут представить интерес для суда. И еще я хочу сказать…

— Довольно! — вскрикнул генерал трескучим голосом. — Суд понял ваше ходатайство. Мы вас поняли!

— Я очень полагаюсь на это.

Коллеги по защите поддержали Красикова вяло, понимая, как и он, что это атака на ветряные мельницы. Зато прокурор возражал с такой горячностью, как будто речь, как минимум, шла о приговоре. И, разумеется, суд встал на его сторону.

Процесс длился три дня, и всякий раз, оказываясь после заседания на улице, Петр Ананьевич видел толпу окоченевших на морозе людей, по преимуществу женщин в темных одеждах. Впереди всех обыкновенно стояла исхудавшая до неузнаваемости Мария Павловна в черном заношенном пальто и темном платке. К ней жались два испуганных существа — тринадцатилетний Костик и восьмилетняя Верочка.

Он принужденно улыбался;

— Ничего, ничего… Все обойдется…

Знал, что не обойдется, что безнадежно ждать от военно-окружного суда снисхождения, но не мог сказать ничего иного и молчать не мог. Затем он подряжал извозчика, и они вчетвером ехали домой.

В санях Петр Ананьевич усаживал рядом с собой детей Леонтия Антоновича. Они жались к нему доверчиво и ласково. Он

смотрел в их бледненькие большеглазые лица, и в душе рождалась тоска по собственным сыновьям. Петька и Гошенька жили далеко, в Таганроге, в семье отчима. А он, можно сказать, вовсе не знал собственных сыновей. Петьке ведь уже семнадцатый год, да и младшему тринадцать. Какие они сейчас? Хотя бы весточку от них получить…

— Дядя Петя, — тормошил его Костик, возвращая из мечтаний в жестокую повседневность. — А папу скоро отпустят? Когда он вернется домой?

Нельзя ему думать о себе, о своей нескладной жизни. Сейчас его долг — помочь детям Леонтия Антоновича, а следовательно — ему самому…

К концу процесса стало ясно — приговор будет суровый. Когда генерал объявил об открытии прений сторон, Красиков — ему предстояло выступать сразу после обвинителя — ощутил такое волнение, какого не испытывал никогда. Горло иссушило болезненным жаром, в висках застучали молоточки. Десятки раз повторенная мысленно речь в защиту Федулова теперь казалась корявой и неубедительной.

Ловко обходя невыгодные для себя обстоятельства, прокурор весь гневный пафос обрушил на Леонтия Антоновича. Петр Ананьевич оглянулся на подзащитного. Леонтий Антонович казался спокойным. Однако по тому, как он наклонил вперед голову, словно собираясь принять тяжелый удар, угадывалось, что это внешнее спокойствие стоит ему усилий. За спиной Федулова уныло стоял конвойный с равнодушным лицом.

Обвинитель завершал выступление. Голос его, вначале отчетливый и уверенный, звучал глуше. И тем не менее фамилию Федулова и слова за ней Петр Ананьевич услышал так явственно, будто их прокричали ему на ухо: «Смертная казнь!» Голова наполнилась звоном. «Смертная казнь!» Да это же безумие! «Смертная казнь»…

Какого наказания потребовал прокурор для остальных подсудимых, Петр Ананьевич не слышал. Он осторожно оглянулся. Невидящие глаза Федулова смотрели в окно, разрисованное ледяными узорами. Конвойный солдат уставился на прокурора с ненавистью.

Неумолчный звон в ушах прорезал высокий голос генерала:

— Слово защитнику Федулова. Прошу, господин Красиков.

Петр Ананьевич любил выступать перед людьми. Он знал, что не отличается тем безупречным красноречием, когда искусно составленные фразы плавно переходят одна в другую, не утомляя слушателя и в то же время не тревожа его души. Ни одна речь его в прошлом не была дипломатично-уклончива, никогда аудитория

не оставалась безучастной. Противники обижались и проникались его непримиримостью, единомышленники воодушевлялись. В своих речах он бывал неизменно резок и прям, иной раз — чересчур.

Здесь же, перед военным судом, необходимо было вести себя по-иному. Речь следовало произнести так, чтобы она не навлекла судейского гнева ни на его собственную голову, ни тем более на голову подсудимого Федулова. Он обязан был ни в чем не погрешить против укоренившихся приемов судебной полемики, обнаружить, хотя бы внешне, почтительность к самодержавным законам и военному суду.

В зале присутствовало не более дюжины человек. Но Петр Ананьевич говорил так, словно его слушала огромная аудитория. Напротив с невозмутимым видом сидел прокурор, только что потребовавший смертной казни Федулову.

Красиков всеми силами старался укротить в себе неодолимую злобу к этому лощеному палачу, к этому убийце с университетским дипломом. Необходимо было хотя бы в малой степени смягчить сердца людей, восседающих за судейским столом. От них — от этого выжившего из ума генерала, чванных полковников и изнывающих от скуки штабс-капитанов зависела жизнь Леонтия Антоновича и судьба его семьи…

Помня наставления патрона о пользе употребления таких слов, как «уважаемый господин прокурор», «мудрость законодателя», «высочайшая справедливость» и прочее, Красиков подробно исследовал доказательства, выявил их несостоятельность, обратил внимание «высокочтимых господ судей» на ошибочную квалификацию действий Федулова и повернулся к прокурору:

— Вы, уважаемый господин обвинитель, весьма красочно рассуждали об эпохе цивилизации, об обществе разума и государственного правопорядка.

Прокурор поднял голову. Длинный хрящеватый нос и покоящееся на нем пенсне напоминали могильный крест. Под этим крестом дрогнули бесцветные губы, обнажив золото вставных зубов. Надменная усмешка прокурора подхлестнула Красикова.

— Я понимаю, у вас, уважаемый господин прокурор, есть повод к внутреннему удовлетворению. Вы потребовали смертной казни подсудимому Федулову, одному из тех, кто всю жизнь трудится на вас. Что вам судьба рабочего человека, его жены, его детей? Вы олицетворяете собой общество разума и государственного правопорядка и доказали это здесь весьма красноречиво. Я не намерен взывать к вашему нравственному

чувству, ибо полагаю это безнадежным предприятием. Но я безусловно убежден, что суд — не средневековая инквизиция и ему достанет мудрости игнорировать ваше неоправданное жестокое требование смертной казни для Федулова. Более того, я убежден, что судом будут приняты в расчет мои соображения и здесь восторжествует высочайшая справедливость — Федулов будет оправдан. Высокочтимые господа судьи, я кончил.

Произносили речи остальные защитники. Петр Ананьевич их почти не слушал. Он вглядывался в лица генерала и сидящих вокруг него офицеров, стараясь угадать, каковы их намерения относительно Леонтия Антоновича. Никогда более не испытывал он таких терзаний перед приговором, никогда не смотрел на судей с такой молитвенной надеждой, как в этом процессе.

Затем произносили последнее слово подсудимые. Первым поднялся Леонтий Антонович Федулов. Он говорил спокойно и угрюмо:

— Прокурор потребовал моей смерти. Я не боюсь помирать. Я поработал на этом свете всласть и принял страданий вдоволь. Так что смерть приму, не ропща. Одно только душу мою гнетет в роковой этот час — детишкам невинно придется страдать. Хотя, что ж, и сироты на свете живут. Я знаю, господа судьи, от вас мне пощады не будет, и готов принять любую кару…

— Неужели мы такие изверги? — обиделся генерал.

— Только помните: смерть моя вам на пользу не пойдет… Сказать мне больше нечего. Товарищи за меня договорят.

Вслед за Леонтием Антоновичем последнее слово произносил один из деповских. Он сказал, что всегда был вместе с товарищами и потому просит осудить его к такому же наказанию, как Федулова. Остальные говорили примерно то же.

Приговора ждали часа три. Сменялись конвойные, перешептывались подсудимые, беседовали между собой адвокаты, скрипя сапогами, вышагивал по залу длинноногий прокурор. Вчера вечером Красиков побывал у патрона. Николай Дмитриевич успокаивал его. Говорил, что волна смертных приговоров схлынула и вряд ли суд пойдет на чрезвычайную меру.

Когда перестанет скрипеть сапогами прокурор? Скорее бы вышли судьи, чтобы не слышать этого скрипа!.. Неужели смертная казнь? Да нет, не может, не должно этого быть! Но почему они так долго там сидят? Когда наконец появятся?..

В зале зажгли электричество. Из боковой двери вышел судебный пристав, немолодой грузноватый фельдфебель, попросил «господ» занять свои места, и тотчас появились судьи. Первым к столу подошел генерал с делом в руках. Слева и справа от него шеренгой выстроились офицеры. Глаза Петра Ананьевича

впились в генерала.

Сначала он слышал только монотонный голос председателя военного суда, не улавливая слов. Лишь гром ударов собственного сердца да прерывистое дыхание подсудимых за спиной разрывали вязкое течение генеральского голоса. Внезапно он услышал слова: «к восьми годам каторжных работ». Петр Ананьевич поднял глаза на судей. Да, именно так — восемь лет каторги. Лица людей в военной форме за судейским столом оставались непроницаемыми…

Очевидно, такими же неприступно-безучастными они были бы и после подписания смертного приговора. Эти законники сохранили жизнь Федулову не из уважения к закону, не из милосердия, а потому что «схлынула волна».

Мысль эта промелькнула, едва-едва коснувшись переполненной радостью души. Леонтий Антонович будет жить! Пусть каторга, пусть долгое заточение — все равно. Главное — быть живым, знать, что впереди возвращение к семье, к делу. Жить!..

Мария Павловна и дети, встретив Красикова после приговора, смеялись и плакали от счастья. Радость-то, радость какая! Откуда им было знать, что для Леонтия Антоновича срок жизни уже отмерен, что менее чем через полгода из Якутии придет письмо с известием о трагической его гибели в тайге? Оказалось, не столь уж велика удача — получить каторгу взамен смертной казни…

II

У мадам Капшинской селились люди, попадающие в Озерки из какого-то неведомого мира. Там жили знаменитый когда-то артист императорского театра, писатель-декадент, жонглер передвижного цирка. У мадам Капшинской снимали квартиры также купцы, инженеры, офицеры, газетные фельетонисты и прочий народ, занесенный судьбой в Озерки на не слишком короткое, но и не на очень долгое время.

Возвращаясь вечером из банка, Наташа Стратилатова всякий раз проходила мимо этого красивого трехэтажного здания с высокими окнами и смотрела на силуэты его обитателей, скользящие по занавесям, с трепетным волнением и любопытством. А однажды услышала из распахнутых окон второго этажа божественные звуки скрипки. Она даже остановилась, очарованная. К ней подошел швейцар Фадеич, главный человек в доме мадам Капитанской — ключник и надзиратель:

— Слушаешь?

Наташа посмотрела на него умоляюще: пожалуйста, тише!

— Вчерась поселился, — не умолкал словоохотливый старик. — Видный мужчина. При ем скрипка. Я думал, артист какой. Нет, — как его… этот… адвокат присяжный. Защитник, одним словом.

Наступила осень, холодная и ветреная, с тоскливыми усыпляющими дождями. Окна в красивом доме наглухо затворились до теплых весенних дней. И хотя Наташа, возвращаясь из банка, всякий раз останавливалась под балконом, покоящимся на плечах атлантов, скрипки уже не было слышно.

В Озерки к Нечаевым Наташа переселилась от своих весной восьмого года. Переселилась, потому что без нее дядя Иван и Саня никак не обошлись бы. На маминого брата дядю Ивана в течение полугода свалилось два тяжких несчастья подряд. Сначала самого изувечило на службе, а спустя несколько месяцев умерла тетя Кланя, его жена. На ней держался дом Нечаевых, и теперь, после ее смерти, невозможно было вообразить, как отец и сын станут жить дальше. К тому же дядя Иван с горя запил. Ему грозило увольнение со службы, да и с домохозяином было неладно. Дядя Иван перестал платить за квартиру, и они с Саней могли остаться без крова.

Что было делать? Она объявила домашним, что переедет жить в Озерки. Здесь, что ни говори, есть мама. Как ни хворает она, а все-таки приберет и еду сготовит да еще приработает рубль-другой на машинке. А там…

Из банка она возвращалась в восьмом часу. Осенью в это время было совсем темно. В проулок, где жили Нечаевы, Наташа сворачивала всегда скованная дурными предчувствиями. Ей казалось, что нынче непременно случится нечто прискорбное. Если уж в дом пришла беда… Саня, белобрысый третьеклассник в гимназической форме, придвинул к самой голове керосиновую лампу и навалился грудью на стол. Наташа подошла на цыпочках и стала наблюдать, как старательно выводит он буквы в тетрадке. Саня был мальчик прилежный. Наташа любила его.

Он писал и писал. А у нее был для него подарок. Саня давно мечтал о цветных карандашах, и она после получки зашла в Гостиный двор, купила давно облюбованную плоскую радужно-яркую коробку. Теперь карандаши лежали у нее в ридикюле…

— Вижу, вижу, пришла. — Саня обернулся и, насмешливо сощурившись, смотрел на сестру снизу вверх. — Чего притаилась? Опять надумала что-то дарить? Опять сюрприз?

— Да вот случайно увидела, — как можно безразличнее сказала она. — И подумала, не взять ли? Тебе ведь нужны

карандаши?

Позднее они сидели рядышком у стола. Саня поил Наташу чаем из маленького старого самовара и вспоминал то счастливое время, когда была жива мама и отец выпивал редко. Саня сказал, что, если бы не Наташа, он убежал бы от отца. Не было у него сил жить с ним…

— Отчего его так поздно нет, не знаешь? — спросила она.

— Придет скоро. — Саня зевнул: — И-иэ-эх! У мадам Капшинской он. Там живет адвокат, что ли. Отец к нему пошел. — Мальчик опять зевнул. Глаза его слипались. — Дело какое-то начать он хочет.

— Какое еще дело?

— Откуда мне знать? — Саня стоял у топчана, застланного старым ватным одеялом, босой, в черных трусиках. — Деньги за увечье получить надеется. Выпил он сегодня…

— Ах ты господи! Чего это надумал человек? Еще, того и гляди, службу потеряет. Хуже дитяти малого. — Слова произносились сами собой. Не следовало говорить этого при Сане. Зачем ему, ребенку, лишние горести? — Ты ложись, ложись. Я дождусь его. Уж и поговорю с ним! Уж и поговорю! Не возрадуется!

Едва Саня устроился на топчане, как она услышала его ровное дыхание и подумала: «Вот и хорошо. Пусть спит». Чуть-чуть прикрутила фитиль, придвинула стул к изголовью топчана и стала ждать.

По тому, что дядя подошел к двери неслышно и появился на пороге внезапно, Наташа поняла, что он трезв. Дядя Иван с присвистом вздохнул и, вытянув перед собой руки, здоровую и изувеченную, сошел по ступенькам вниз. Остановился подле племянницы:

— Наташенька! Золотце мое! Не могу сказать, как совестно мне, душа моя. Невыносимо совестно. Мелкий человек я, червь, насекомое…

Он всхлипнул. Стало быть, все же выпил. Жалко его до слез, а вместе с тем нет сил видеть это изо дня в день.

— Пожалуйста, не шуми, — строго сказала Наташа. — Саню разбудишь. А ему вставать затемно. Ложись, коль уж выпил.

— Нет, душа моя, не пьян я и не стал бы пить, если бы и поднесли. — Дядя опустился на табуретку. — Довольно разум пропивать! Человеком рожден Иван Нечаев. Человеком! И разум у него от рождения человеческий. Губить же его алкоголем — преступление не только перед собой, но и перед Россией…

— Что это с тобой? — Наташа увидела широко открытые, не до конца пробудившиеся Санины глаза, упрекнула дядю: — Вот

разбудил все-таки…

— Не беда. И ему не мешает… Был я сейчас, детки, у одного человека. Послушал его, и совестно стало за всю мою прежнюю жизнь. Ничего необыкновенного словно бы сказано не было, а вот я прозрел. Увидел во всей неподобающей наготе постыдное свое прошлое…

— О чем ты? Что увидел? Какой человек?

— Да самый обыкновенный. Вернее, по наружности обыкновенный. А по душе — особенный. Глаза мне на жизнь открыл. Клятву даю отныне жить по-иному.

— Я ничего не понимаю. — Наташа взглянула на Саню.

— Я тоже, — сказал мальчик и зевнул.

Хоть и привыкла Наташа к дядиным зарокам и клятвам и потеряла веру в них, на сей раз почудилось ей в его словах нечто новое. Возможно, в самом деле повстречался он с человеком, поразившим его воображение…

Потихоньку они стали забывать то ужасное время, когда дядя Иван что ни вечер являлся домой пьяным и в иные дни Наташе не на что было купить провизии. Адвокат из доходного дома мадам Капитанской в короткий срок исцелил Ивана Герасимовича Нечаева.

Наступил день суда. Дядя на службу не пошел, и Наташу столоначальник освободил от должности. Она опасалась оставить старика в этот день без своего присмотра.

— Я пойду с тобой в суд, — сказала Наташа утром.

— Ни под каким видом! — Он поглядел на нее с неудовольствием. — За меня не тревожься. Там будет Петр Ананьевич. А девушке в суд идти — срам один. Там распущенная публика, дурные слова…

Вечером с улицы донесся его громогласный пьяный крик. Саня вздрогнул и вопрошающе уставился на сестру. Она всплеснула руками и выбежала во двор. Дядя раскачивался, навалившись грудью на калитку — заостренные деревянные колья впились в тело.

— Ты что? — Наташа схватила его за плечо и стала тянуть от калитки. — Зачем опять напился?

— Не сметь! Не позволю! Слышите, не позволю!! — кричал он так, что было слышно на всю округу. Затем голос его стал утихать и дошел до шепота: — Господи… Наташенька, что же это?.. Опять обидели меня люди. Отказал суд в иске. Куда, дескать, прешь с суконным рылом? — сказал он вдруг зло и трезво. — Возмещения за увечье пожелал? Ишь, прыткий! Деньги хозяевам тоже надобны, а казне государевой тем паче…

Запой на сей раз был жестокий и продолжительный. Не менее

месяца дядя не протрезвлялся. Забросил службу, сбывал в трактире одежду, посуду, Санины книги. Возвратись из банка, Наташа неизменно заставала дядю в компании каких-то оборванцев. Да и сам-то он был ничуть не лучше их — безобразно неопрятный, опухший.

Вокруг початой бутылки «смирновской» лежала обыкновенно чайная колбаса, нарезанный большими ломтями хлеб, очищенные луковицы. А дядя Иван, глупый старик, в тысячный раз повторял известную всем Озеркам историю своего судебного дела и плакал, не видя насмешливого равнодушия на лицах икающих от сытости собутыльников.

— Не в деньгах суть, братцы. Что деньги? — Он поднимал руку. — Деньги — тьфу! — вода. Человеку превыше всего нужна справедливость. Я чего просил? Мне, на службе изувеченному, должны убыток возместить? Должны. Самой малости, можно сказать, просил. А они говорят: «Шиш тебе, Нечаев!» Обидно мне, братцы…

«Братцы» согласно кивали, и опять пили, и опять закусывали. На столе оставалось все меньше хлеба и чайной колбасы. Господи, как же Наташа ненавидела в такие минуты дядю и его гостей! Саня, она знала, голоден. А те пьют и жрут на чужие деньги. Да еще смеются в душе над глупостью хозяина. Урезонивать дядю было бесполезно. Он либо был пьян до беспамятства, либо плакал так жалобно, что она смягчалась и проливала слезы вместе с ним. Если бы не ее жалованье, Нечаевым пришлось бы просить подаяния.

Однажды кто-то деликатно постучался в дверь. Наташа тотчас проснулась. Набросив халатик, сунув босые ноги в туфли, сонная и негодующая, пошла к двери. Там определенно стоял кто-то посторонний. Ни домохозяин, ни дворник не стучались бы так робко. Наташа мысленно осыпала злыми словами бесцеремонного дядиного собутыльника, трясшегося на морозе за дверью. «Чуть свет уже являться стали, пропойцы несчастные! Ни днем ни ночью покоя от них нет. Ну, дядя, не обессудь! Прогоню сейчас приятеля твоего. Да так, что и дорогу сюда забудет». Распахнула дверь — и обомлела. Перед ней стоял незнакомый господин в меховом пальто. Пораженная, она отступила. Незнакомец поклонился:

— Доброе утро. Простите, пожалуйста, за ранний визит. Мне совершенно необходимо застать Ивана Герасимовича трезвым. Помощник присяжного поверенного Красиков, Петр Ананьевич, — представился он. — А вы ведь Наташа, верно? — Он так дружелюбно улыбнулся, что она не стушевалась и смело ответила:

— Наташа, вы не ошиблись.

— Потрудитесь, прошу вас, разбудить Ивана Герасимовича. Не тревожьтесь. Я принес добрые вести.

В то утро в комнатке Нечаевых был праздник. Оказалось, Петр Ананьевич подал апелляцию, и окружной суд принял во внимание его доводы. Прискорбное для Ивана Герасимовича решение было отменено. Суд второй инстанции постановил иск удовлетворить в полном объеме и взыскать с ответной стороны в пользу истца Нечаева возмещение ущерба за увечье за весь срок.

Дядя Иван — он стоял перед Петром Ананьевичем в нижнем белье, — услышав о столь счастливом для него повороте дела, закрыл рукавом глаза и разрыдался. Саня смотрел на господина в меховом пальто не по-детски серьезными глазами безрадостно, словно бы не верил раннему гостю. Не приучила его жизнь к тому, чтобы совершенно чужой человек без корысти для себя приносил другим добрые вести.

Спустя полчаса они все сидели у стола. На нем пыхтел самовар, старенький, с вмятинами на желтых боках и белыми следами пайки. Он сохранился в доме благодаря счастливой случайности. В прошлое воскресенье, идя домой, Наташа издали заметила дядю. Он вышел в проулок с самоваром в руках. Старинная вещь, оставшаяся от тети Клани, определенно предназначалась для залога в трактире. Наташа бросилась вдогонку, настигла дядю, отняла самовар и молча пошла домой…

На стол были выставлены московские баранки, остаток жаркого из потрохов, сахар и даже чудом уцелевшая водка. Гость снял пальто и остался в превосходном костюме серого английского шевиота, с галстуком-бабочкой. Дядя тоже принарядился: извлек из сундука форменную тужурку, не заложенную в трактире лишь потому, что она была последним вещным свидетельством прежнего благополучия. В этой ветхой тужурке и брюках с географическими архипелагами заплат на коленях и прочих обозреваемых местах, старательно причесанный, сидел дядя Иван подле Сани, помолодевший, такой, каким был прежде, не сломленный еще злокозненной судьбой. Величественно вскинутая голова, зычный голос, на зависть дьяконам, надменность во взгляде — он был несколько смешон. Однако Наташа очень его понимала. Слишком долго Иван Герасимович Нечаев ждал этого счастливого дня.

Он чувствовал себя еще и польщенным. Ведь какой человек принес весть! Ему, кажется, все еще не верилось, что сам Петр Ананьевич не погнушался его убогим жилищем, что это он сидит у стола, разговаривает с его Санькой и Наташей, пьет чай из его самовара.

Наташе пришлось надеть изрядно пообносившееся шерстяное

платье. Правда, она успела сделать прическу у зеркала и выглядела сейчас, в этом не было сомнений, весьма недурно. Петр Ананьевич сидел подле нее. Глаза его, серые, несколько холодноватые, утомленно щурились. Она не отводила взгляда от его красивого, хотя и не молодого уже лица, с остроконечной бородкой, ухоженными темными усами, прямым носом и зачесанными кверху волосами. Ей захотелось, чтобы он повернулся к ней и заговорил. И он, словно повинуясь ее воле, спросил:

— Вы, Наташа, ведь здесь не постоянно живете?

— Теперь-то она сможет оставить непутевого дядюшку без своего присмотра, — сказал добродушно дядя Иван, и Наташе стало досадно до слез, что он помешал ей самой ответить Петру Ананьевичу.

— Смогу, если ты пить перестанешь, — промолвила она и вдруг неожиданно для себя бесстрашно улыбнулась гостю: — Если у вас есть еще такого сорта клиенты, поручите их мне. Я наловчилась воевать с этой публикой…

— Жаль огорчать вас, Наташа. — Петр Ананьевич принял предложенный тон. — Но я ведь сам все еще хожу в помощниках. Так что мне пока рано думать о собственном штате.

— Не тужите. — Она и вовсе осмелела. — Будет и у вас еще собственный штат. Непременно будет, уж поверьте мне.

— Надеюсь. — Он смотрел на нее улыбаясь, и глаза его на сей раз вовсе не показались ей холодноватыми….

III

Он открыл ей сам. Стоя у порога, она глядела на него во все глаза. На нем был темный костюм и белоснежная сорочка. До блеска выбритое лицо с аккуратной бородкой тем не менее выглядело усталым и постаревшим. Наташа сразу подумала, что суд над Федуловым, дядиным соседом, отнял у Петра Ананьевича изрядно сил. Все говорили, что, если бы Леонтия Антоновича защищал не Красиков, не миновать бы ему смертной казни…

Вот уже почти два месяца Наташа жила у своих на Выборгской стороне и у Нечаевых бывала только по воскресеньям. Приедет, закупит провизии, сготовит, постирает, погладит, починит платье, приберет в комнате — и домой. Там без ее рук было нелегко.

Нынче дядя Иван вдруг попросил ее отнести Красикову какие-то бумаги. По совести говоря, услышав эту просьбу, Наташа даже испугалась, как бы по ее вспыхнувшему лицу дядя не угадал,

как давно она ждет случая снова встретиться с Петром Ананьевичем.

Наташа давно уже ревниво прислушивалась к разговорам об адвокате, жильце мадам Капитанской. О нем всегда говорили с благодарной почтительностью. Он ведь и советы простым людям давал бесплатно, и дела их вел, не требуя гонорара. Да и прийти к нему можно было в любой день и в любое время. Жители Озерков называли его человеком образованным, понятливым и сердечным. И если при этом присутствовала Наташа, лицо ее заливала краска стыдливой гордости, и она прятала глаза. Ей казалось, что Петра Ананьевича хвалят нарочно ради нее, что всем вокруг известно, как она восхищается им, какие мысли живут у нее в голове…

Сейчас Петр Ананьевич в первое мгновенье удивился, затем приветливо кивнул и спросил так, словно она была у него частой гостьей:

— Вы по делу, Наташа?

— По делу. — Она чувствовала, что щеки ее пылают, и готова была провалиться сквозь землю. — Дядя вот попросил бумаги передать.

— Вот как? Входите же, входите.

Они прошли через маленькую комнатку, где стояло несколько венских стульев и столик, заваленный журналами, газетами и листами чистой бумаги. «Здесь, очевидно, приема ожидают», — догадалась Наташа. Затем попали в большое очень светлое помещение с огромными окнами, закрытой дверью на балкон и двумя картинами в рамах на стенах. Над столом с потолка свисала яркая красивая керосиновая лампа с высоким стеклом. Окна и балконная дверь были задрапированы длинными, до пола, прозрачными занавесями. В углу стояла кровать с блестящими никелированными шарами на спинках. Напротив — между двумя плюшевыми креслами — письменный стол на фигурных ножках. На столе лежала раскрытая книга, рядом — тетрадь, из чернильницы торчало оставленное там перо. Должно быть, она своим появлением помешала занятиям Петра Ананьевича.

— Что же Иван Герасимович сам не пришел? — спросил он, поворачиваясь к Наташе. — Он ведь, по-моему, собирался?..

— На службу его пригласили нынче, — едва слышно ответила гостья. Ей сделалось ужасно обидно — ее здесь и видеть не желают. Но она тотчас овладела собой и сказала с вызовом: — Вот бумаги для вас. Пожалуйста, возьмите. Побегу. У меня тоже дел довольно.

— Что так спешно? Присядьте хоть на минутку, отдышитесь.

Или действительно вовсе нет времени?

— Да, знаете, — теряясь под его взглядом, еще тише ответила она, — некогда. Вырываюсь ведь из дому помочь Нечаевым по хозяйству. Вот и надо хоть что-то успеть. А дядя, как на грех, к вам послал.

— Оказывается, не зря Иван Герасимович так вас превозносит, — улыбнулся Петр Ананьевич. — Вижу, без вашей помощи им в самом деле было бы несладко. Что же, не стану задерживать. Спасибо за документы.

Он проводил ее до двери. Она шла впереди, чувствуя затылком его чуть снисходительный, как ей казалось, взгляд и жалея о том, что обнаружила нетерпение. Теперь ужасно хотелось возвратиться в светлую комнату с длинными занавесями, похожими на шлейфы придворных дам, плюшевыми креслами и письменным столом на фигурных ножках. Так хотелось, чтобы Петр Ананьевич еще раз предложил посидеть у него! Но он молча дошел до двери, распахнул ее и только здесь проговорил:

— Очень рад был видеть вас у себя. Всего доброго, Наташа.

На улице она едва не заплакала от досады.

После того случая у нее словно бы не было повода вспоминать о Петре Ананьевиче и надеяться на продолжение знакомства. Но судьбе, как видно, было угодно распорядиться иначе. У дяди Ивана случились какие-то сложности с получением пособия, и он попросил Наташу разыскать Красикова, переселившегося к тому времени в Петербург. Не отдавая еще себе отчета в том, обрадовала или испугала ее дядина просьба, она поспешно согласилась, хотя понимала: придется просить столоначальника об освобождении на день от должности и потратить порядочно времени на поиски адвоката.

Как выяснилось, он снимал квартиру на четвертом этаже дома номер восемь по Шпалерной. По лестнице Наташа поднималась быстро, словно бы боялась утратить решимость и повернуть обратно. Она ни минуты не сомневалась, что Петр Ананьевич встретит ее холодно, видя в ней надоедливую и бесцеремонную барышню…

К двери была прибита маленькая металлическая табличка: «Пом. прис. поверенного П. А. Красиков». Чуть выше и левее белела кнопка электрического звонка. Наташа прислушалась — в квартире было тихо.

Она робко коснулась пальцем белой кнопки. За дверью зазвенело резво и весело. Наташа отняла палец — звон пропал. Минуту спустя послышались быстрые легкие шаги. Мужской голос спросил:

— Кто там? — добавил: — Я сегодня не принимаю, болен.

— Петр Ананьевич, — громко заявила о себе Наташа, — это от Ивана Герасимовича Нечаева, из Озерков…

— Неужели Наташа? — послышалось из-за двери, и тотчас она увидела перед собой Петра Ананьевича.

На шее у него белел компресс, глаза были красными. Подпоясанный стеганый халат открывал на груди байковую сорочку, на ногах были домашние мягкие туфли. Лоб слегка поблескивал от испарины. Наташе вдруг показалось, что он пошатывается.

— Зачем вы встали? — Она удивилась внезапно прозвучавшей в ее тоне властности. — Больному лежать полагается.

— Полагается, — согласился он, отступая в сторонку и пропуская ее в квартиру. — Да вот прийти человек должен по важному делу.

— У больного не может быть никаких важных дел. — Сердце ей подсказало, что он сейчас ужасно одинок и ему приятна ее забота. — Ложитесь, я у вас побуду. Никого не впущу.

— Невозможно это, Наташенька.

— Почему невозможно? Мне у вас остаться невозможно?

— Нет, нет, не то… Напротив… если вам не в тягость… Невозможно никого ко мне не допускать. С тем человеком встретиться мне совершенно необходимо. Это намного важнее моего выздоровления.

— Хорошо, того пущу.

Они были уже в его спальне. Наташа увидела знакомую по Озеркам кровать с блестящими шарами на спинках и плюшевое кресло. В помещении пахло лекарствами и табачным дымом. Пепельница на стуле у изголовья кровати была переполнена окурками. Подле пепельницы лежала открытая книга и толстый карандаш. На полях книги жирно чернели пометки. В постели — она видела — ему сделалось несколько легче. Как бы оправдываясь, он объяснил:

— У меня простуда часто случается. С детства пошло — схватываю моментально.

Она пробыла у него до вечера. Сбегала в аптеку за лекарствами. Возвратившись, прибрала всю большую квартиру из четырех комнат. Затем стала кипятить молоко.

Но не успела поставить кастрюлю на плиту, как у входа позвонили. Она побежала открывать и услышала из-за двери мужской голос: интересовались адвокатом Красиковым. Немолодой господин в сером пальто с большими пуговицами почему-то сразу показался ей именно тем человеком, кого ожидал Петр Ананьевич.

Гость, должно быть, удивился, увидев Наташу, и уставился на нее обеспокоено и пристально. Затем усмехнулся в усы, снял шапку и пальто, размотал шарф, повесил все это на специальные крюки и спросил, где же сам хозяин.

— Он заболел, — объяснила Наташа. — Лежит. Вас я к нему впущу. Но вы не утомляйте его. Температура высокая.

— А вы кто, сиделка? — Незнакомец опять присмотрелся к ней изучающе. — Нет? Кто же? Отчего я вас не знаю.

— А зачем вам знать меня? — возразила она и смутилась — чересчур уж дерзко прозвучали ее слова. — Имя мое Наташа. Я Петра Ананьевича давно знаю. Пришла по делу, а он болеет. Вот и осталась.

— Это вы хорошо сделали. — Посетитель говорил с ней так, словно у него было право разрешать или не разрешать кому-либо присматривать за Петром Ананьевичем. — Если возможно, побудьте с ним, пока не поправится, — сказал он просительно и добавил с улыбкой: — Перед такой сиделкой ни одна хворь не устоит.

Затем он ушел в спальню, и они с Петром Ананьевичем проговорили там, закрывшись, ужасно долго. Откланялся гость лишь к вечеру, когда за окнами стала сгущаться послезакатная мгла. Наташа напоила больного горячим молоком, проветрила спальню, выбросила окурки и заторопилась. Дома уже, должно быть, тревожились.

— Пора мне, Петр Ананьевич, — сказала она, входя. — Поздно.

— Конечно, конечно. — Он оторвался от книги. — Даже не знаю, как и благодарить. Без вас я сегодня пропал бы.

Беспечно-веселая улыбка не скрыла грустного выражения его глаз. Наташа сердцем поняла, как ему не хочется оставаться одному в этой большой безлюдной квартире, как он вообще одинок. Поняла и вдруг сказала безразлично, как, бывало, сообщала Сане о подарке:

— Завтра у меня свободный от должности день. Ждите меня рано утром. Вас когда можно будить?

Петр Ананьевич проболел целую неделю. Наташа все эти дни была с ним. Оказалось, его кухарка Клавдия за день до того, как ему заболеть, отпросилась к себе в деревню помочь приготовиться к свадьбе младшей сестре. Так что приход Наташи был очень кстати.

А она всеми правдами и неправдами по утрам отпрашивалась у изумленного столоначальника и, втайне казнясь (в субботнюю получку нечего будет принести маме), неслась из банка на Шпалерную.

И была счастлива, видя, как Петр Ананьевич рад ее приходу.

А в воскресенье, перед тем как ей уйти, он посмотрел на нее изучающе и внезапно спросил:

— Вам сколько платят в банке, Наташа?

Она удивилась вопросу, но предугадала, что за ним кроется что-то чрезвычайно важное для нее, и, потупившись, ответила.

— Если я вам положу вдвое больше, — спросил Петр Ананьевич, по-прежнему внимательно глядя ей в глаза, — согласитесь работать у меня?

Щеки ее запылали. Но Наташа взяла себя в руки и деловым тоном поинтересовалась:

— Когда нужно выходить?

IV

Телефон в углу брызнул резким звоном. Наташа вздрогнула, попала не по той клавише. Быстро взглянула на Петра Ананьевича, потупилась:

— Растяпа! Опять испортила…

Красиков нахмурился. В третий раз лист придется переписывать. Он красноречиво посмотрел на свою новую машинистку. На ее лице было такое смирение, такая безропотная готовность выслушать очередной выговор, что он смягчился и сказал менее строго, чем намеревался:

— Так мы с вами до полуночи не закончим.

— Закончим, Петр Ананьевич, закончим. Я постараюсь…

Телефон все звонил и звонил. Красиков сиял трубку.

— Алло! Слушаю!

Внизу, четырьмя этажами ниже, лежала Шпалерная, без единого деревца, с тротуаром из гранитных плит. Красиков увидел стайку гимназистов-старшеклассников, человек десять юношей и девушек. Юноши были в серой форме и фуражках с гербами, девушки — в коричневых платьях и белых передниках. «Завтра воскресенье», — подумал Петр Ананьевич и почему-то вдруг вспомнил, что в октябре, через месяц, ему исполнится сорок три года…

А юные гимназисты бегали вдогонку друг за другом, жестикулировали, смеялись. Но вот внезапно застыли. Гремя колесами по булыжнику, к Литейному ползла арестантская карета. На козлах около возницы восседал солдат с винтовкой стволом кверху. Второй конвоир стоял на подножке сзади. В оконце словно бы шевельнулась занавеска и показалось чье-то лицо…

— Петруша, Петруша, добрый вечер, — домогался его голос из трубки. Он узнал Николая Дмитриевича Соколова. — Простите великодушно, если отвлек от милых сердцу занятий. Но дело не терпит отлагательства.

— Какие там милые сердцу занятия? Диктую апелляцию по делу об увечье…

— Не скажите, не скажите, драгоценный. С того дня, как у вас на Шпалерной появилось эфирное создание по имени Наташа, я не осмеливаюсь без трепета отвлекать вас от занятий.

— Сейчас, Николай Дмитриевич, речь действительно о срочном деле?

— Милый Петруша, зачем же так недружелюбно? — Петр Ананьевич явственно вообразил обиженное лицо Соколова: закушенную нижнюю губу, беспомощно сощуренные глаза за пенсне. — Я ведь люблю вас и пекусь о вашем благе. Дело весьма срочное. Смею надеяться, вам будет любопытно узнать, что у меня в кабинете сидит господин Пешехонов. Знакомы вы с ним? Он вас помнит.

— Еще бы! Хотел бы забыть, да не забудет.

— Петруша, Петруша, — с упреком сказал Соколов. — Опять вы правосудие подменяете политикой. Вы, драгоценный, — адвокат, защитник. Люди обращаются к вам за помощью. Держите в узде свой большевистский темперамент. Алексей Васильевич просит принять на себя защиту некоего господина Трегубова. Обратился-то он ко мне, и я охотно принял бы его поручение. Но увы, у меня дело в Сенате, вы знаете. Я порекомендовал вас. Клиент согласился. Я бы даже сказал, ухватился. Как вы смотрите на это? Господин Пешехонов желал бы прямо от меня отправиться к вам на Шпалерную.

— Я готов принять его в понедельник, — сказал Красиков.

— Вы правы. Всего доброго, Петруша.

Красиков повесил трубку, дал «отбой», закурил. Опять Пешехонов! И в те давние времена, когда они пребывали в Пскове под негласным надзором полиции, Петр Ананьевич видел в Пешехонове не революционера, а барина, услаждающего душу свою «крамольными» речами о безысходной доле русского народа.

В девятьсот пятом году было несколько встреч в Совете рабочих депутатов. Пешехонов появлялся там в свите эсеровских вождей Авксентьева и Гоца. Впрочем, и в эсерах Алексей Васильевич ходил недолго. В седьмом или восьмом году от эсеров откололась группа умеренно-либеральных политиков. Они — Пешехонов, Мякотин, Анненский — создали свою партию «народных социалистов». Как же обесценилось это слово —

«социализм»! Все кому не лень украшаются им, как дамы полусвета поддельными драгоценностями.

Восемь лет не виделись они с господином Пешехоновым. И вот — радуйтесь, милостивый государь! — в понедельник новая встреча. Что гонит его к адвокату? Неужели и ему охранка мешает жить?

Да, а ведь речь-то, кажется, шла о защите Трегубова. Щекотливое возникнет положение. Михаил ожидает получить в защитники знаменитого присяжного поверенного Соколова. А перед ним предстанет Петр Красиков!

Петр Ананьевич возвратился к столу, встал за спиной у Наташи. Она повернула к нему лицо. Щеки ее разрумянились, глаза смотрели ожидающе. Красиков прочел апелляцию, сказал:

— Исправлено хорошо. Можно идти дальше. Вы готовы?

Наташа кивнула.

— В таком случае продолжим. Пишите: «Изложенное и понуждает меня просить высокий суд об отмене решения, постановленного с очевидным нарушением закона». Готово? Диктую дальше: «Посему полагаю, что иск надлежит удовлетворить в полном объеме». Написали? Заканчиваю: «Во исполнение воли мещанина Степанова, присяжный поверенный Красиков». Благодарю. Наташа, вы не очень торопитесь? Выслушайте меня, и я тотчас отвезу вас, не возражаете? Вы в Озерки?

— Да, — прошептала она.

— Как нам быть? — Петр Ананьевич дождался, когда Наташа разложила экземпляры апелляции и смахнула пыль со столика. — Я задолжал вам за две педели. И сегодня, к сожалению, опять не могу заплатить. Подождете до следующей субботы?

— Подожду. — Наташа вздохнула.

По тому, как она стала сосредоточенно рыться в ридикюле и как долго, согнувшись, шнуровала высокие сапожки, Петр Ананьевич угадал: она едва удерживается от слез. «Что же делать?» — думал он тоскливо. Менее всего хотелось ему сейчас объясняться — ей ведь известно о большом гонораре, полученном из Коммерческого суда по делу купца Воздвиженского.

Гонорар действительно был порядочный. Наташа, должно быть, очень бы удивилась, узнав, что почти все, чем Красиков располагал, накануне он вручил товарищу для кассы большевистского ЦК. Но что ей за дело до этого? В ее глазах он вполне благополучный присяжный поверенный. Не корифей, конечно, подобно Карабчевскому, Керенскому или Грузенбергу. Но ведь не обязательно быть «корифеем», чтобы в срок рассчитываться…

Наташа зашнуровала сапожки, выпрямилась. Глаза ее были влажны. Петр Ананьевич коснулся ее плеча.

— Пойдемте, — сказал он.

На Литейном остановили извозчика. На козлах сидел моложавый финн со светлой шкиперской бородой и короткой трубкой в зубах. Пролетка у него была новенькая, пахла кожей и столярной мастерской. Он окинул оценивающим взглядом господина в серой визитке, перчатках, с тростью, при галстуке-бабочке и миловидную дамочку в прикрикнул на гнедую лошадку:

— Тпру! Стой, глупый дурак!

Они устроились на мягком сиденье, и Петр Ананьевич приказал извозчику ехать в Озерки. Финн — он был в темной куртке из чертовой кожи и кепке с лакированным козырьком — обернулся, некоторое время молча попыхивал трубочкой. Должно быть, прикидывал, заговорить ли о плате или положиться на щедрость господина в визитке. С такой приятной дамочкой на ночь в Озерки едет — не поскупится. Финн отвернулся и хлестнул лошадку кнутом:

— Н-но! Пошел, пошел скоро…

Миновали Литейный мост, остался позади Финляндский вокзал, пролетка покатила по Лесному проспекту. Впереди слева на фоне зеленого вечернего неба поднимались черные силуэты заводских труб. Над ними висело дымное облако. Для рабочих трудовая суббота еще не закончилась. А Выборгская сторона уже настраивалась на воскресенье. Слева и справа на тротуарах исходила красками и голосами развеселая толпа. Багровые хмельные лица, цветастые платья, кофты, платки, начищенные до блеска сапоги, шелковые рубахи, подпоясанные кавказскими наборными ремешками, — все это двигалось, перекрикивалось, хохотало. Из распахнутых окон трактира вырывалось пьяное пение. На углу под фонарем гармонист растягивал меха трехрядки, услаждая «Барыней» слух текущей мимо толпы.

Наташа забилась в уголок пролетки и оттуда, как из норки, пугливо поглядывала на Петра Ананьевича. Она слегка побаивалась его и вместе с тем чувствовала себя подле него в безопасности. Он был великодушен — она не раз имела случай убедиться в этом — и безжалостен в словах — и это ей пришлось испытать на себе. Но не суровость в нем преобладала, а доброта. Страшась его слов, она обыкновенно ждала от Петра Ананьевича сердечности. И он, кажется, никогда не обманывал ее надежд.

Сейчас он молча курил, стряхивая пепел папиросы на дорогу. С ней он, против обыкновения, не заговаривал. Не расспрашивал об Озерках, дяде, о Саниных успехах в гимназии. И она

помалкивала. Размышляла, как выйти из положения.

Цокала копытами лошадка, тянул какую-то однотонную песню окаменевший на козлах финн, равномерно подпрыгивали на булыжнике колеса, поскрипывали под сиденьем рессоры. Наташа словно бы плыла в младенческой зыбке. Было покойно и мягко, как давным-давно в детстве. Езда нагоняла сон. Мысли сделались неповоротливыми. Внезапно ее плеча коснулась рука Петра Ананьевича.

— Возьмите. — Он протягивал ей деньги. — Здесь не весь долг. В следующую субботу получите все сполна.

Она догадалась — он отдает ей последнее. Отвела его руку. Нахмурилась, вскинула голову:

— Не надо! — и добавила просительно: — У отца сегодня пенсия. Обойдемся.

— Наташа! — рассердился Петр Ананьевич. — У нас был уговор?

Повернул голову финн. Он, должно быть, сообразил, что господин и дамочка — не те, за кого он их вначале принял.

— Хозяин платит — надо брать, — сказал он. — Когда бы я не получал плату от седоков, себя и старый дурак, что нас везет, кормить не знал бы чем. А кормить перестал — везти перестал.

«Политическая экономия!» — усмехнулся Красиков и спросил:

— Давно извозом занимаетесь?

— Нет, недавно. Второй месяц. Я — финляндец. Заработки летом делаем. Лето — я, лето — брат. Как деньги соберем, на свой край хозяйство заводим. Жить хорошо каждый станет, жену берет, дети родит.

— На завод почему не пошли работать?

— На кой завод? Не работу — заработок ищем.

— А на заводе разве нельзя заработать? — Этот крепенький финский мужичок определенно был порождением нового времени. Вряд ли восемь — десять лет назад повстречался бы с таким. Он, как и хмельная, разнаряженная по-воскресному толпа на Лесном, — плод послереволюционного застоя. — И на заводах можно…

— Можно? — перебил его финн. — Что можно? Кто долго работает и дело свое знает, заработает. А другой народ? Кукиш один получает и еще забастовки да революция. Нам это на кой? Нам дом строить надо, жену иметь, детки — все! Пролетка есть, старый дурак везет. Ездить люди будут. Живем!..

Остался позади бесконечный Лесной проспект. Пролетка катила по улицам столичных пригородов, застроенных деревянными финскими домиками с островерхими крышами. По

обе стороны дороги поднимались высоченные сосны. Здесь Петербург сливался с лесистым Карельским перешейком, и пригороды терялись в зарослях. Воздух был напитан запахами хвои и болотной воды, от залива тянуло сыроватым ветерком. Прямые высокие стволы отчетливо обозначились на густо-зеленом небе. В окнах кое-где забрезжил слабый свет…

V

…Во времена Оргкомитета, в мае третьего года, он отправился поездом из Киева в Одессу. На небольшой станции Жмеринка у него была встреча с товарищем, поставленным на транспорт «Искры». Разговор затянулся, и Красиков отстал от поезда. А дело в Одессе не терпело отлагательства.

При виде бойко уходящих зеленых вагонов он так огорчился, что побежал вдогонку за поездом. Понимал, настичь не удастся, и все же не останавливался, пока не оказался в степи. Унесся вдаль колесный стук, вильнул зеленым хвостом и пропал за перелеском состав. Трепетали под порывами ветра листья на деревьях у дороги, ласково грело землю майское солнце, стрекотали кузнечики, радовали глаз полевые цветы. А он шел потерянный, удрученный, проклиная себя за беспечность и размышляя, как попасть к сроку в Одессу.

И ныне было такое чувство, словно он отстал от поезда и идет по благоухающему, обласканному солнцем полю. А ему так не хватает шума, азартных споров, разгоряченных полемикой лиц, прокуренного воздуха. Покой и райские кущи не по нему. «Господин присяжный поверенный»! Кто «господин»? Он, Петр Ананьевич Красиков! Кто же еще? Вот на столе стопка визитных карточек:

«Петр Ананьевич Красиков.
Присяжный поверенный.
Шпалерная, 8, кв. 10. Тел. 151–32.
Прием по будням от 6 до 8».

Предскажи кто-нибудь из товарищей лет десять тому назад подобный поворот в его жизни, он счел бы это злой шуткой. Да никому бы и в голову не могло прийти, что Петр Красиков окажется на легальном положении, на вторых ролях в партии, что ни на Четвертом, ни на Пятом съездах его не будет в числе делегатов и Пражская партийная конференция пройдет без его участия…

Особенно острым чувство отстраненности от главных

событий в партии сделалось после разговора с председателем Совета Петербургской присяжной адвокатуры Дмитрием Васильевичем Стасовым. Этот разговор случился в мае. Стасов позвонил ему, попросил зайти. По голосу старика в трубке угадывалась чрезвычайная взволнованность.

Давний знакомый Петра Ананьевича, старый слуга Стасовых Роман Васильевич встретил Красикова у подъезда и, пока они поднимались по лестнице, рассказал, что «Леночку засудили в Тифлисе» и что «старик (так называл он Дмитрия Васильевича, хотя сам был не намного моложе хозяина) ужас как убивается».

Стасов пригласил Красикова в кабинет. Высокий, с совершенно белой длинной бородой, Дмитрий Васильевич не выглядел «убивающимся». Напротив, он говорил спокойно и рассудительно. Для своих восьмидесяти пяти лет Стасов обладал поразительно ясным рассудком и сохранившейся памятью. Он и сейчас еще вел дела в судах.

— Дорогой Петр Ананьевич, — начал старик торжественно, стараясь, должно быть, не выдать волнения, — сегодня мы получили прискорбную весть. Леночку приговорили к ссылке в Сибирь и лишению всех прав состояния. Сколько я ей твердил: не женское это дело — революция. Не женское! Да-с, Петр Ананьевич…

— Любой взрослый человек волен распоряжаться собой по собственному разумению, — сказал Красиков, и ему показалось, что старик взглянул на него неодобрительно: мол, вы с ней в свое время были вместе, а ныне вы здесь, а она — в тюрьме.

Но Дмитрий Васильевич возразил вовсе не укоряюще:

— Не знаю. Мне трудно с этим согласиться. Петр Ананьевич, я полагаю, вы по-прежнему состоите в сношениях с ними. Если ошибаюсь, простите великодушно. Вообще-то, быть может, вы правы. Человек сам волен распоряжаться собой по собственному разумению. Но родителям-то каково, если их дочь в Сибири? Позвольте спросить: верно ли, что случается из тех мест ссыльным за границу перебираться? Нельзя ли Леночке помочь в этом? Если нужны деньги…

— Дмитрий Васильевич, как я могу ответить? Скажу лишь одно: будет возможность, Елене Дмитриевне помогут бежать и снабдят всем необходимым. Без внимания товарищи ее не оставят.

— Еще вот что позвольте спросить. — Голоса старика вовсе стало не слышно. Он, должно быть, едва удерживался от слез. — Еще вот что… Вы ведь, помнится, сибиряк? Скажите, может ли там существовать человек, привычный к европейским условиям?

— Почему же нет? И в Сибири люди живут. Елене

Дмитриевне она даже на пользу пойдет, Сибирь. Ваша дочь — человек прочный.

— Благодарю вас, голубчик. Леночка действительно… В меня пошла… Скажу вам по секрету, она — моя любимица. — Он все же не сдержался. Из-под красных век выкатились прозрачные слезы. — А наши-то, наши-то правители! Не помнят, кто их на плечах своих несет. Людей губят. Лучшее на земле раздражают и злят — молодежь. Ах, скоты!

Петр Ананьевич проснулся затемно. Включил электричество, побрился на кухне, выпил стакан молока с французской булкой. Зашел в кабинет и, не зажигая света, сел у окна. Ему нравилось наблюдать с четвертого этажа, как ранним утром пробуждается город.

В черной стене фасадов напротив загорались квадратные отверстия окон. Вспыхивало электричество, по занавесям двигались тени. Но таких окон было много меньше, чем в будни. По воскресеньям обитатели Шпалерной не торопились прерывать сладкие предутренние сны. Из подворотен стали выходить дворники в белых фартуках, с метлами и большими совками для мусора.

Красиков сидел в задумчивости. Впереди был день, свободный от адвокатских трудов и забот. Если не случится ничего непредвиденного, можно будет дать себе отдых. Почитать для собственного удовольствия (кстати, на полке лежит неразрезанной новая книга Максима Горького), вечером отправиться в Александринку на мейерхольдовскую постановку «Живого трупа» с Ходотовым и Тиме. Нет, пожалуй, лучше побывать на Сергиевской у Николая Дмитриевича.

Там воскресными вечерами собирается оппозиционно настроенная публика из присяжных поверенных. У Соколова непременно встретишь его давнего друга, присяжного поверенного Мечислава Юльевича Козловского. Кабинет Мечислава Юльевича, поляка из Вильно, помещается в квартире Николая Дмитриевича. Они и одним телефоном пользуются. На Сергиевской почти наверное увидишься и с Петром Ивановичем Стучкой. Козловский и Стучка — товарищи по партии, большевики. Да и Николай Дмитриевич именует себя «приверженцем Ленина», хотя в организации не состоит.

У Соколова вечерами в воскресенье появляются и те, кто принадлежит к иным партиям, — трудовики, кадеты, «народные социалисты», эсеры, меньшевики. Случаются весьма бурные дискуссии. Приходится иной раз в полемике пренебрегать этикетом, «правилами приличия», негласно узаконенными в

сношениях между адвокатами, когда прежде всего принимается в расчет внешнее соблюдение почтительности. И тем не менее эти собрания — на них разговор обыкновенно идет о делах судебных — довольно интересны. Светила присяжной адвокатуры — люди по преимуществу чрезвычайно искушенные в тонкостях юриспруденции, мировой истории правосудия и государственной репрессивной политики. Есть что послушать!

Ну а до вечера можно дома побыть. Почему бы не тряхнуть стариной и не помузицировать? Давно не брал он в руки скрипку. «Стареете, господин присяжный поверенный, — безрадостно усмехнулся он, — стареете». Он включил свет, достал из шкафа скрипку, смахнул с нее пыль, натер канифолью смычок. Провел по струнам. Пустая квартира ожила. Мелодия «Сентиментального вальса» унесла его в прошлое. Перед глазами возникла Виктория в гимназической форме, с библией и веточкой пихты в руках… Женева. Разметав ручонки, безмятежно спит в кроватке сын. А Виктория не сводит с мужа восхищенных глаз… Он видит, как она горда им, как любит его, и скрипка поет нежно и благодарно…

Брюссель. Гостиница «Золотой петух» — пристанище делегатов. Он играет в холле второго этажа. Слушает и мечтательно улыбается Владимир Ильич, растроганно смотрит на него Гусев, поглаживает бородку Бауман… Да, «иных уж нет, а те далече…» Все было, все прошло. А что будет?..

Поет скрипка, разнося по безлюдной квартире возвышенно-трогательную мелодию, и некому послушать ее. Что это он отпевает себя? Впереди еще много лет и несчетно дел. И все же на душе тяжесть. С чего бы это? Нужно вспомнить. Неужели из-за дела Трегубова? Кажется. Неизбежная теперь встреча с человеком, знавшим его в самые счастливые времена, всколыхнула память, и он вдруг осознал себя бесконечно одиноким.

А ведь где-то живут его сыновья. Они должны были хоть что-то унаследовать от отца, его дети. Быть может, написать им? Все прежние письма возвращались нераспечатанными. Виктория ограждала мальчиков от опасного отцовского влияния. Когда-то при мысли о ней останавливалось дыхание. Не мог изгнать ее из сердца и, таясь от самого себя, хранил в душе надежду на примирение. Сейчас же удивился собственному спокойствию. А вот при мысли о сыновьях сердце замерло. Как давно не видел их! Петька уже совсем взрослый — за двадцать лет молодцу. Как он там с отчимом ладит? Хотя о нем тревожиться незачем. Петька крепок и телом, и духом. А Гоша — существо тонкой конституции. Болезнен, самолюбив, обидчив. Забрать бы их. Так ведь не оставят мать. Сложно все это. Взрослые люди его

сыновья…

Зазвонил телефон. Удивленный — кто бы это в такую рань? — и недовольный — отвлекли от размышлений! — Красиков снял трубку.

— Слушаю!

— Господин Красиков? — спросил мужской голос. — Прошу покорно простить мне смелость…

— С кем имею честь?

— Вас беспокоит Пешехонов. Мне совершенно необходимо повидаться с вами без промедления. Позвольте приехать?

— Что же делать? Жду вас часам к трем. Ровно в три у входа позвонили. Петр Ананьевич открыл дверь одному из вождей партии «народных социалистов» — господину Пешехонову. Не представься гость заранее по телефону, Красиков наврядли признал бы в этом холеном человеке в золотых очках того демократичного по наружности ссыльного народника, каким был Алексей Васильевич в Пскове.

Скорее всего, и облик Петра Ананьевича произвел на Пешехонова примерно такого же рода действие. Он восхитился:

— Вы ли это, Петр Ананьевич?! Здравствуйте, господин присяжный поверенный, — и подал руку.

— Здравствуйте, здравствуйте. — Красиков легко пожал мягкую руку Пешехонова, спросил: — Вы ведь по делу?

— Конечно, конечно. Разве я бы осмелился?..

— Вот кабинет. — Хозяин прошел в дверь первым, указал клиенту на стул, сам сел к столу, открыл коробку сигар: — Курите.

— Благодарю. — Алексей Васильевич взял сигару, повертел в руке. — Я не пристрастен к этому зелью. Но для компании…

В Пешехонове Петра Ананьевича все раздражало: и холеность рук, и располагающая улыбка, и мягко обнимающие сигару губы. Стоило усилий не выдать неприязни. Пока тот не появился, было понятно, как себя вести. Отношений следует придерживаться сугубо официальных: он — адвокат, Пешехонов — клиент. И никаких посторонних разговоров. Помимо судебного дела, у них не может быть ничего общего. Но сейчас, опасаясь неосторожным словом, взглядом, интонацией выдать раздражение (адвокатская этика!), он принял в расчет наставления Соколова и спросил:

— Что вас так обеспокоило?

— Вы ли это, Петр Ананьевич? — Пешехонов прищурил глаза от сигарного дыма, и не понять было, чего больше в его усмешке: иронии или удовлетворенности. — По совести говоря, я уже в Пскове нисколько не сомневался, что ваша интеллигентность возьмет верх…

— Сейчас вас ко мне привело дело?

— Ах, да, да. Конечно, дело. Арестован мой товарищ по партии Михаил Гордеевич Трегубов. Он…

— Ваш товарищ по партии?

— Вы, кажется, с ним знакомы?

— Знаком. Когда его взяли и за что?

— Я знаю, вы не разделяете моих убеждений. Михаил Гордеевич прежде тоже стоял на иных позициях. Но жизнь, опыт политической деятельности в российских условиях привели его к пониманию наших идей. Россия и ее народ придавлены бременем вековых предрассудков. Рабство и чинопочитание в крови у всех — от придворного сановника до последнего мужика. Мы находим, что борьба нелегальной узкой партии заговорщиков у нас бессмысленна. Кроме напрасных жертв, она ничего не даст народу. К конечному успеху Россию может привести лишь легальная широкая партия. Она, помимо всего прочего, станет еще школой демократического и конституционного воспитания масс…

— Господин Пешехонов, не вернуться ли нам к Трегубову? Так за что он арестован? Когда? Где его содержат?

— Вы правы. — Алексей Васильевич увял. — Он арестован в пятницу. Обвиняют его, как мне сообщили, по сто двадцать девятой статье Уложения. Но вот вчера я случайно узнал от одного сведущего человека, что по положению о политических делах они рассматриваются в трехдневный срок. Потому-то я так спешно к вам приехал.

— Такое положение действительно принято в третьем году. Но оно не всегда соблюдается. Во всяком случае, день у нас еще есть. — Петр Ананьевич задумался. — Сто двадцать девятая, говорите? Да это…

У входа кто-то позвонил. Красиков недоуменно поднял брови и отправился открывать. За дверью стояла Наташа.

— Вы? — Он испугался. — Что случилось?

— Я вам помешала? — Наташа едва не плакала от смущения.

— В чем дело?

— Я была в театре на Офицерской… Потом, когда освободилась, вдруг вспомнила… — Она сделалась пунцовой. — Клавдия выходная, вы один…

«Напрасно она это». — Трудно было заставить себя рассердиться. Но вслух он произнес как можно строже:

— Наташа, вам совсем не обязательно являться ко мне по воскресеньям. Что это вам в голову взбрело?

— Петр Ананьевич, я ведь знаю, как вы живете по воскресеньям. И не поедите ничего. А я бы сделала что требуется.

— Наташа, мы поссоримся.

— Я подожду, пока клиент уйдет. Я не помешаю.

— Что же, — уступил он, — посидите в приемной. Но уйдет он не скоро…

В кабинет он возвратился обескураженный. Приход Наташи смутил его. Теперь ни о чем, кроме этого неожиданного события, невозможно было думать. Особенно же угнетало его то, что ему не удавалось определить своего отношения к случившемуся: обрадовал, огорчил или испугал его этот визит Наташи? Пешехонов о чем-то говорил. Петр Ананьевич поднял на клиента непонимающие глаза и услышал:

— Вы, я вижу, чем-то озабочены. Если позволите, я зайду завтра.

Красиков проводил его до двери и, словно осознав, что не сказано самое важное, поинтересовался:

— Неужели вы искренне верите, что ваша легальная партия станет «школой демократического воспитания масс»? При самодержавии?

— Вижу, вы и по сей день остались в плену прежних заблуждений. — Пешеходов развел руками. — Мне вас жаль.

— Весьма признателен. Делом начну заниматься завтра.

VI

О нем все же вспомнили в охранном отделении Департамента полиции. Уже несколько раз под видом клиентов являлись филеры. У него, однако, нюх на эту публику пока не притупился.

Вот и этот. Его только что впустила в кабинет Наташа. Угрюмый, крупный, с бритым лицом, он осмотрелся, задержав несколько дольше, чем следовало, взгляд на книжном шкафу. Опустился на указанный Красиковым стул, внимательно присмотрелся к адвокату, запустил руку во внутренний карман пиджака, извлек толстый потрепанный бумажник, стал перебирать документы.

Он еще не произнес ни слова, а у Петра Ананьевича уже не было сомнений относительно цели его визита. Клиент положил на стол бумаги, сообщив при этом, что он слесарь с Балтийского, незаконно уволенный за политику. Присмотревшись к его рукам, Петр Ананьевич окончательно утвердился в основательности своих подозрений.

Поросшие рыжеватыми волосами толстые пальцы, по всей видимости, никогда не осязали никакого металла, кроме монет. К тому же в лице его, почтительно-льстивом, угадывалось

равнодушие, какого не могло быть у человека, заинтересованного предметом разговора. И Петр Ананьевич спросил:

— Давно вас уволили?

— Не так чтобы очень. С полмесяца прошло. Ни за что ни про что, господин присяжный поверенный. Кто по нынешним временам считается с рабочим человеком?.. — И повел речь о «бесправии пролетария», о «разгуле черной сотни».

Пообещав заняться его делом к концу недели, Петр Ананьевич спровадил «клиента». Когда захлопнулась дверь в прихожей, Наташа, не уходившая во время разговора из кабинета, прыснула. Красиков поднял на нее удивленные глаза:

— Вы чему смеетесь?

— Не придет он больше.

— Откуда вам известно?

— Не за тем он пожаловал.

— За чем же?

— Да не за тем, я уж поняла.

Она, конечно же, кое о чем догадывается. При ней иной раз случалось вести по телефону разговоры с товарищами. Наташа получает почту, и к ней в руки попадают письма из-за границы, не имеющие никакого отношения к его адвокатской практике. В квартире у него, бывает, появляются бежавшие из ссылки товарищи и другие нелегальные. У него никогда нет свободных денег, хотя доходы предполагают обеспеченность. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что за внешне благонамеренным существованием скрывается какая-то иная, быть может, истинная его жизнь. Разумеется, Наташа ничего не знает наверное. Но будь ей известно все, ему — он уверен — это ничем бы не угрожало. Наташа — человек надежный.

За время работы у него она сделалась и секретарем, ведающим перепиской, и регистратором, оформляющим соглашения с клиентами, и даже экономкой. Именно от нее, а не от хозяина получает теперь распоряжения Клавдия. Наташа рассчитывается с прачкой, бакалейщиком и зеленщиком, прибирает в комнатах, пришивает ему пуговицы, гладит платье.

Как случилось, что она заняла такое большое место в его жизни? Произошло это словно бы само собой, хотя, если быть до конца чистосердечным, и не против его желания.

Он сознает, что каждый новый день делает их все более необходимыми друг другу, и гонит прочь эти мысли. Ему с ней нельзя соединиться. Он обязан подчинить ее и, прежде всего, себя разумной воле. Ведь его сын всего года на два младше Наташи. Да и только ли это?..

Если Виктория, образованная, с гимназических лет

наслышанная о неизбежности борьбы против самодержавия, не сумела смириться с неустроенностью жизни профессионального революционера, то откуда Наташе взять на это сил? У него нет права ломать судьбу девушки. Да и свою — тоже. Ибо вторично пройти через крушение, подобное тому, что случилось у него, теперь будет выше сил человеческих. Ошибку, простительную молодости, зрелости позволить никак нельзя…

Звонок у входа прервал его размышления. Наташа выбежала в прихожую и минуту спустя возвратилась в Сопровождении Николая Дмитриевича. Не требовалось особой проницательности, чтобы угадать по лицу Соколова его подавленность и огорчение. В отличие от большинства своих коллег Николай Дмитриевич не умел скрывать от постороннего взгляда чувств, его обуревавших. Сдвинутые к переносице брови, поджатые губы, беспомощные глаза — он словно бы вымаливал сочувствия, рассчитывая на доброту ближних.

— Что с вами, патрон? — надеясь подбодрить его, весело спросил Петр Ананьевич. — Вы, кажется, чем-то расстроены?

— Расстроен? — Соколов медленно поднял голову. — Я убит. Полчаса тому назад был оглашен приговор по нашему делу… Нет, это немыслимо. Каторга! Посмотрели бы вы на них, на этих преступников…

— Это что же, по делу о типографии? — спросил Петр Ананьевич. — Расскажите подробнее. Очень интересно.

В Судебной палате более двух недель продолжался процесс по делу о студенческой подпольной типографии. Защитниками в процессе выступали едва ли не все светила столичной присяжной адвокатуры, и по первым сведениям, распространившимся после допроса подсудимых, складывалось такое впечатление, что у обвинения нет позиции.

— Ах, вам интересно? — возмущенно переспросил Николай Дмитриевич. — Вам просто интересно? Конечно же, вы сообщите в свою «Правду», что еще на одном политическом процессе над борцами против самодержавия царский суд обнаружил беспринципность, угодничество и жестокость.

— Это, по-вашему, не будет отвечать истине?

— Разумеется, будет. Но как можно сохранять это олимпийское спокойствие, зная, что чистых и наивных интеллигентных юношей приговорили к столь бессмысленно жестокому наказанию. Я вот не в силах рассуждать спокойно. — Он вздохнул, взял из шкафа том Фойницкого и патетически произнес: — Этому ли вы учили нас, профессор? Этот ли суд вы называли «палладиумом свободы и независимости»? — Голос его дрогнул. — Детей отправлять на каторгу! За что?! Да если

вдуматься, их «нелегальная типография» была скорее ребячьей игрой, чем опасным для государства предприятием… И каторга! Подумать только!..

— Неужели вы, Николай Дмитриевич, не понимаете, что ребячьи забавы с типографиями для самодержавия опаснее иных оппозиционных газет? — спросил Петр Ананьевич. — И я вполне понимаю беспощадность суда.

— Конечно, — вмешалась Наташа. — Без листков и прокламаций, я помню, никогда ничего не начиналось: ни демонстрации, ни стачки.

— Вы что же, находите приговор справедливым? Это… — Николай Дмитриевич посмотрел сначала на Наташу, затем на Красикова.

— Как юрист — нет, — возразил Петр Ананьевич. — А как политик полагаю, что ничего иного нельзя было ожидать.

Соколов закурил сигару, прошелся по кабинету, сел. Молчал он довольно долго, поглядывая то на Красикова, то на Наташу. Затем угрюмо заговорил:

— И все-таки не отступлюсь. Принесу кассационную жалобу. Заметных нарушений Устава как будто бы нет, и все же придраться кое к чему можно. На успех я не надеюсь, но тем не менее буду писать. Если бы вы только видели этих «политических преступников»!

— Успокойтесь, Николай Дмитриевич, — сказал Красиков. — Я вас отлично понимаю. Но что проку в пашем негодовании, в наших проклятьях, высказанных pro domo sua?[1] Неужели вы в самом деле, подобно профессору Фойницкому, допускаете возможность существования в самодержавной России суда, имеющего хотя бы малое основание именоваться «палладиумом свободы и независимости»?

— Можно лишь восхищаться вашей невозмутимой трезвостью, — с болью в голосе произнес Николай Дмитриевич. — Я вот после подобных приговоров долго не способен рассуждать отвлеченно.

— Но со временем это проходит? — Красиков улыбнулся.

— Со временем проходит. — Соколов тоже улыбнулся.

— А я видела вас на собрании труппы в театре на Офицерской. — По их тону Наташа угадала, что присяжные поверенные не станут продолжать спор, что Петр Ананьевич старается успокоить Николая Дмитриевича, и решила отвлечь их от разговора о злополучном процессе. — Я была там в воскресенье. Вы сидели в ложе подле сцены.

— В «Луна-парке»? — тотчас оживился Соколов. — На «Владимире Маяковском»? Верно, был. Но я-то там свой человек.

А вы как оказались в театре?

— Да ведь и я, можно сказать, для них свой человек. Играла с ними не раз. И сейчас меня приглашали на роль какой-то «Женщины со слезинкой». Я бы, конечно, с удовольствием. Но дома дел тьма, да и Петру Ананьевичу пришлось бы, по сути, без меня обходиться…

— А что, понравился вам спектакль? — спросил Николай Дмитриевич.

— Понравился ли? — Наташа задумалась. — Как вам сказать? Непривычно это и удивительно. И слова особенные, возбуждающие. Любопытно бы, конечно, сыграть в таком невиданном спектакле.

— Вы правы. Меня, к примеру, потрясла пьеса этого фантастически талантливого юноши Маяковского. Потрясла и порадовала. Ведь эта штука, эта трагедия, если вдуматься, опаснее подпольных типографий. Слушаешь ее и чувствуешь — невозможно, никак невозможно жить так, как жил прежде.

— Это вы верно заметили, Николай Дмитриевич. Очень даже верно. Именно так и чувствуешь: невозможно жить по-прежнему! — От волнения она покраснела. Глаза ее вдохновенно блестели.

Петр Ананьевич залюбовался Наташей. Никогда еще не видел он ее такой одухотворенной и не подозревал, что она способна так топко и глубоко чувствовать искусство.

Обратил он внимание еще и на то, как деликатно и тактично отвлекла она гостя от разговора о процессе. Во всяком случае, Николай Дмитриевич ушел от них приободрившимся и несколько повеселевшим, пообещав непременно навести справки о Наташиных успехах на сцене.

Только они его проводили, только возвратились в кабинет, намереваясь приняться за бумаги Трегубова, оставленные Пешехоновым, как у входа опять позвонили. Наташа открыла дверь, увидела женщину, спрятавшую лицо под вуалью. Войдя в прихожую, незнакомка подняла вуаль. Это была весьма привлекательная женщина лет тридцати, темноволосая и темноглазая. Она объявила, что ей необходимо тотчас же «повидаться с господином Красиковым». Не «на прием попасть», не «посоветоваться» или «поговорить о деле», а «повидаться»…

Из кабинета вышел Петр Ананьевич, обрадованно засмеялся и протянул незнакомке обе руки. Увел ее с собой, а Наташу попросил подождать в приемной. Она сидела у стола, должно быть, целую вечность. В кабинете звучали негромкие голоса, мужской и женский. Ни о чем в жизни Наташа так не мечтала, как о том, чтобы оказаться в эту минуту там, за дверью, услышать, о

чем они говорят, вглядеться в их лица. В душе росла и росла знакомая тревога. С некоторых пор эта тревога там гнездилась постоянно. Не была Наташа избалована радостями. В душе у нее словно бы навеки заледенел страх перед будущим. И теперь он все чаще и настойчивее напоминал о себе. Чересчур уж благоволила к ней судьба. Устроена она у превосходного человека, ее не только не обижают, а напротив, можно сказать, балуют и заработком и вниманием. Так удачно все может складываться лишь во сне. Но сны ведь не бывают бесконечными…

Наконец дама с вуалью ушла. Наташа постучалась в дверь. Услышала недовольное: «Входите!» — и открыла. Петр Ананьевич стоял к ней спиной. Он что-то торопливо прятал в шкафу.

Затем стал звонить по телефону. Сообщил какому-то Макару, что какая-то Наташа оставила рецепты, а предписания врача передала на словах, что без осмотра больного диагноз в окончательном виде поставить нельзя. Наташа обомлела. Она сообразила, что дама с вуалью вовсе никакая не Наташа, Макар — не Макар. Никакого больного на самом деле нет, и врача — тоже. Сообразила, что визит Наташи, телефонный разговор с Макаром и те «рецепты», что спрятаны в книжном шкафу, — все это таит в себе страшную опасность, что опасность эта следует за Петром Ананьевичем неотступно. И тогда, когда в шкафу нет «рецептов»…

Ей стало очевидно, что его могут арестовать, засадить в тюрьму, отправить, подобно Леонтию Антоновичу, на каторгу, где он непременно погибнет, как погиб дядин сосед. Появилось предчувствие, что это случится в самом скором времени. А Петр Ананьевич повесил трубку, присмотрелся к ней и спросил, с чего бы это у нее такое испуганное лицо. Она бормотала что-то невразумительное о погибшем Федулове, несчастной вдове и сиротах. Надо было говорить, чтобы не выдать своих чувств. То, что переполняло ее, искало выхода, и она знала, что если не сейчас, то чуть позднее все равно не совладает с собой. И когда к вечеру он спросил, куда ее везти — домой или в Озерки, случилось неизбежное. Похолодев от ужаса, Наташа сказала:

— Зачем вы меня гоните? Я люблю вас, вы ведь знаете.

— Напрасно это, Наташа. — Он сел напротив и посмотрел на нее так, словно она была просто глупенькой девчонкой. — Не следовало вам об этом говорить. Разве вы не понимаете, что я вам не пара?

— Господи, отчего не пара? — У нее замерло дыхание. — Мне лучшей пары не надо. Я уж и дома объявила, что останусь здесь.

Он стал объяснять ей, что в его жизни бывали времена не

столь благополучные, как ныне, что и теперь в любой момент могут наступить самые огорчительные для нее перемены, что по этой причине много лет тому назад от него ушла жена с детьми, что его сыну почти столько же лет, сколько Наташе.

— Судите сами, имею ли я право?..

— Имеете, Петр Ананьевич, имеете. Я ведь знаю о вас больше, чем вы полагаете, и мне ничего не страшно…

— Не страшно? — переспросил он словно бы недовольно, а в действительности — она угадала по его глазам — благодарно. — Вот что, Наташа. Одевайтесь-ка, отвезу вас домой. Пройдет ночь, и утром вы сами не поверите, что такая блажь нашла.

VII

Он по обыкновению проснулся рано. В домах на противоположной стороне Шпалерной не светилось еще ни одно окно. Все вроде бы было как всегда. И тем не менее внутри не переставала звучать какая-то бравурная мелодия. Он весь был наполнен словно бы беспричинной радостью, необъяснимым ликованием. Невозможно было оставаться неподвижным, была потребность что-то делать, каким-то образом освободиться от преизбытка энергии.

Он прошелся по коридору, напевая какую-то легкомысленную арию из оперетки, направился в кабинет, достал скрипку, стал играть «Серенаду» Брага. Играл и думал о Наташе. Она готова разделить с ним его судьбу, ее ничто не пугает: ни возраст его, ни вероятность лишений в будущем. Она любит его…

Им обоим от этого, должно быть, не уйти. Зачем же самообман? Зачем было напускать на себя вчера вечером эту стариковскую рассудочность, эту неуязвимость перед лицом жизни? Нужно быть самим собой.

Но ведь и юношеской опрометчивости он позволить себе не имеет права. Нет, нет, он вел себя с Наташей вполне разумно. И сегодня он встретит ее невозмутимо, словно ничего не произошло, словно накануне они расстались так, как расставались во все прежние вечера.

В девять он ей открыл и, когда увидел впившиеся в него испуганные глаза, почувствовал, как нелегко будет играть роль равнодушного хозяина.

Петр Ананьевич помог Наташе снять пальто и произнес голосом отчужденно-деловым:

— Вчера мы так и не открыли досье по делу Трегубова. Будьте добры, займитесь бумагами, оставленными Пешехоновым.

А я справлюсь в Палате, не поступило ли туда дело.

Наташа послушно кивнула головой и занялась бумагами. Взяла скоросшиватель, развернула сверток с документами. Одни подшивала, другие откладывала в сторону. А Петр Ананьевич снял трубку, попросил соединить его с канцелярией Судебной палаты. Молодой голос какого-нибудь кандидата на судебную должность объявил, что дело Трегубова не пришло.

Он дал отбой и позвонил в жандармское управление. Письмоводитель попросил подождать у телефона, и минуту спустя в трубке зазвучал густой бас:

— Полковник Невистов слушает. С кем имею честь?

— Присяжный поверенный Красиков. Интересуюсь делом Трегубова. В каком оно положении? Скоро ли поступит в суд?

— Красиков? — Бас был словно бы удивлен. — Красиков? Не Петр ли Ананьевич? Вы? Да-с… Необыкновенная, доложу вам, встреча. Меня-то хотя бы помните? Девяносто четвертый год, ротмистр Невистов при полковнике Шмакове. Забыли?

— Простите, господин полковник. Я интересовался делом Трегубова. Не соблаговолите ли ответить на мои вопросы?

— Тэк-с, тэк-с… Находите неуместным… Тэк-с… Делом Трегубова интересуетесь? Позвольте спросить, на какой предмет?

— Извольте. Я принял на себя защиту Трегубова. Так скоро ли дело будет передано в суд?

— Как только закончим дознание. Честь имею. Днем позже позвонили из жандармского управления. Петр Ананьевич услышал бас жандармского полковника Невистова:

— Господин присяжный поверенный, нам стало известно, что у вас хранятся бумаги Трегубова об образовании, службе, семейном состоянии и прочие, каковые были оставлены вам господином Пешехоновым. Для завершения дознания нам необходимо их обозреть. В силу статьи триста семидесятой Устава прошу вас прибыть к нам с документами Трегубова. Жду в послеприсутственное время.

Петр Ананьевич открыл аккуратную небольшую книжицу «Устав уголовного судопроизводства», прочел статью триста семидесятую: «Если представится необходимость в получении бумаг, переданных присяжному поверенному с условием сохранить их в тайне, то следователь рассматривает их вместе с присяжным поверенным». Делать было нечего…

В парадном за массивной дверью стоял дежурный из нижних чинов. Громадного роста, с винтовкой, он едва заметно поворачивал голову в сторону входящего и провожал взглядом до самой канцелярии. Оказываясь здесь, человек с первого мгновенья чувствовал себя заподозренным и как бы

просвеченным насквозь.

Письмоводитель, чересчур подвижный молодой человек в партикулярном платье, предложил господину присяжному поверенному подождать, а сам удалился развинченной походкой порочного отрока. У двери он оглянулся, по лицу его прошла судорога усмешки.

В появлении жандармского полковника Невистова тоже было свое значение. Неузнаваемо постаревший, столь грузный, что ему, должно быть, стоило усилий носить собственное тело, в синем мундире, едва сходящемся на животе, лакированных сапогах со шпорами, он проплыл мимо Красикова, даже не взглянув на него. На апоплексически-красном лице полковника с пепельно-серыми бакенбардами было выражение глубокой задумчивости. Ничего вокруг полковник не замечал. Внезапно он поднял голову и словно бы невзначай взглянул на Красикова. «Дело» тотчас было захлопнуто. Полковник вышел из-за перегородки, протянул Петру Ананьевичу руку.

— Вы, оказывается, уже здесь. — Невистов играл роль приятно удивленного человека. — Пунктуальны, господин Красиков!

— Я принес бумаги. — Петр Ананьевич погасил папиросу о дно пепельницы, уклонившись таким способом от рукопожатия, и спросил: — Угодно ли вам будет обозреть их сейчас?

— Угодно, милостивый государь, угодно. Пройдемте ко мне.

Они пошли по гулкому коридору с длинной цепью электрических лампочек под потолком. Жандарм — его как будто ничуть не обескуражило недружелюбие Красикова — любезно распахнул перед ним дверь своего кабинета. Петр Ананьевич тотчас узнал помещение, где два десятилетия тому назад его допрашивал полковник Шмаков. Здесь все было прежним. Лишь на месте портрета Александра III висело изображение Николая II, чья бородка очень проигрывала в сравнении с бородой прежнего императора.

Полковник Невистов грузно опустился в кресло за массивным столом, указал Красикову на стул. Заговорил:

— С трегубовским делом покончено. Можно хоть завтра передавать в Палату. Не завидую вам, Петр Ананьевич. Ох, не завидую!

— Это в каком же смысле?

— Да во всех, милостивый государь. Не угодно ли? — Полковник поставил на стол коробку сигар, проговорил расстроенно: — Недостает сил бросить.

Сердце стало пошаливать. Врачи настоятельно рекомендуют бросить. А вот не могу. Вам курение не вредит?

— Нет, на здоровье не жалуюсь.

— Весьма редкое явление по нынешним временам. И все же, позволю себе заметить, умеренность разумнее излишеств.

— Не заняться ли нам обозрением бумаг? — Петр Ананьевич положил на стол досье.

— Вы очень торопитесь?

— Я? Нет. Но ведь вы здесь не без дела сидите.

Полковник усмехнулся, взял досье. Дружелюбие жандарма таило в себе какой-то не улавливаемый пока расчет. Петр Ананьевич испытывал угнетающее чувство раздвоенности. Он сидел на том же месте, где когда-то отвечал на вопросы Шмакова. Но перед ним был другой жандармский полковник, всячески выказывавший расположенность к нему. Да и сам он тоже… Поддерживает легкий разговор, словно они с Невистовым не враги, а всего лишь процессуальные противники и противоборство их — не более чем разногласия защитника и следователя.

Полковник взглянул на него благосклонно:

— Петр Ананьевич, позвольте спросить, так сказать, неофициально, как это вы, такой видный в прошлом социал-демократ, и вдруг ведете такой… как бы вернее сказать… весьма благонадежный образ жизни: квартира из четырех комнат, молоденькая машинистка и прочее?

— Вижу, ваш интерес ко мне не иссякает, или, быть может, опять любопытство к психологическим загадкам?

— Помните? Тэк-с. Отличная у вас память, Петр Ананьевич. Не грех позавидовать. — Жандарм беззвучно засмеялся, трясясь расплывшимся телом. Глазки-полоски на рыхлых щеках заблестели. — Вы превосходный собеседник. Я бесконечно рад нашей встрече.

— Не пора ли, господин полковник, обозреть бумаги?

— Сейчас приступим к делу. Сейчас. Неужели вы сочли, что нам так уж важны бумаги Трегубова? — Полковник испытующе посмотрел в глаза Красикову. — Догадываюсь, вы поняли, что полковник Невистов трехсот семидесятой воспользовался с той лишь целью, чтобы повидаться с вами? Смею надеяться, я прощен?

— Господин полковник…

— Как вы полагаете, зачем нам понадобился Трегубов? Так ли он опасен для государственных устоев? Он ведь не большевик и даже не социалист-революционер. Такие, как Трегубов, нам не только не опасны, а, если хотите знать, полезны. Они — наши помощники.

— Совершенно с вами согласен. И все же…

— Однако и вы, Петр Ананьевич, не лишены любопытства к психологическим загадкам. Весьма похвально. В нашем с вами деле без психологического любопытства многого не достигнешь. Позвольте быть с вами откровенным? — В его глазках появилось нечто близкое к застенчивости. — Не испытываете ли вы затруднений, так сказать, финансового свойства? Я вот, несмотря на порядочное содержание, все более и более погрязаю в долгах. Семья, трое детей. Сын студент, дочь на выданье…

— К чему мне все это знать?

— Незачем? Жаль. Но ничего, сейчас я скажу кое-что чрезвычайно для вас любопытное. Речь о финансовых затруднениях зашла отнюдь не случайно. Вы еще достаточно молоды, а жизнь требует своего. В этом, боже упаси, нет ничего худого. Пусть служит у вас молоденькая машинистка, пусть вы отвозите ее по вечерам на извозчике, пусть у вас в доме полная чаша — нас это вполне устраивает. Но ведь нам доподлинно известно, что ваши доходы идут и на кое-что иное. У нас есть основания…

— Я, господин полковник, присяжный поверенный при Санкт-Петербургской Судебной палате и пришел сюда именно в этом качестве, а не в качестве допрашиваемого. Прошу иметь это в виду. Что же касается моего образа жизни, говорить о нем полагаю здесь неуместным.

— Похвально. Весьма. Я не намерен затрагивать неприятные вам обстоятельства. На сей случай нашлось бы довольно средств иного свойства. — Он многозначительно усмехнулся. — Я говорю с вами откровенно и питаю надежду на ответную откровенность. Речь идет не о ваших политических убеждениях, боже упаси. Поверьте, я порадовался, когда узнал, что именно вы приняли на себя защиту Трегубова. Я подумал, мы с Петром Ананьевичем отчасти, так сказать, в одинаковом положении. Нужда в деньгах у обоих, не так ли? Нужда-с. А Трегубов — наследник миллионного состояния…

— Ах вот оно что, — засмеялся Петр Ананьевич. — Теперь мне ясно, зачем арестован Трегубов.

Полковник поглядел на него неодобрительно и принялся наконец обозревать документы. Перелистывал досье, брезгливо выпятив губу, словно от бумаг исходил омерзительный запах.

— Хоть убейте, этого я не в силах уразуметь. У человека огромное состояние. Ему все доступно, все по силам. И в его положении связываться с какими-то партиями! Нет, этого не поймешь. Никак не поймешь.

— Иной раз не поймешь и другое. — Сколько раз в жизни осуждал он себя за невоздержанность в словах! И вот опять не

устоял перед искушением задеть за живое надутого жандарма. — К примеру, как человек из разночинцев поступает на службу в корпус?..

— У меня на сей счет, Петр Ананьевич, своя теория имеется. Я полагаю так: умный человек первую половину жизни взбирается к вершине, а вторую, достигнув ее, — пожинает плоды усилий, потраченных на преодоление неизбежных на этом пути препон. Иным восхождение к вершине дается легче, чем большинству, и они, вот как я, в раннем сравнительно возрасте достигают заметного положения. Иным господом даровано счастье родиться на вершине, как тому же Трегубову. Эти блаженствуют с пеленок. Однако нет и, как я полагаю, не должно быть людей, достигших тем или иным способом вершины, которые, оставаясь в здравом уме, стремились бы возвратиться к подножью, на дно, как определил это состояние ваш Максим Горький. Вот я и поставил смыслом своей службы удержание на вершине тех лиц, каковые сумели туда подняться. Видите, я не только царствующую фамилию и высшую знать оберегаю, а и наши с вами интересы блюду.

— И предлагаете мне стать посредником?..

— Что же здесь худого? Мы никого по миру не пустим, против закона не погрешим, невиновного суд не накажет, государственные устои не пошатнутся. А мы на вершине будем держаться крепче.

— Удобная у вас теория! — воскликнул Красиков. — Ею все оправдать можно. А как быть с теми, кто не одолел препон и остался на дне? Кто станет блюсти их интерес — тех на каторгу?

— Зачем же так сразу на каторгу? Мы оставляем возможность искупить вину. Обнаружилось бы только желание и…

— …и деньги для следователя?

— Деньги — предмет необходимый. Без них не прожить ни тем, кто устои оберегает, ни тем особенно, кто их разрушить намеревается. Не так ли, Петр Ананьевич?

— Итак, блюсти интересы тех, кто на дне, все же запрещено?

— О них пекутся люди на вершине. Но ведь те, со дна, тоже на вершину рвутся. А места там немного, так ведь?

— У вас больше нет во мне нужды?

— Тэк-с, тэк-с… Торопитесь? Не смею задерживать. Не забывайте все же нашего разговора. У вас будет свидание с Трегубовым, подумайте. Мой телефон вам известен. Звоните.

VIII

Вместо предписанных законом трех дней дознание по делу Трегубова длилось около двух недель. Наконец кандидат на судебную должность, отвечавший обыкновенно по телефону из канцелярии Палаты, известил Красикова о поступлении дела. Случилось это лишь в середине октября. Написав два прошения, одно — о допуске его к участию в процессе в качестве защитника, второе — о разрешении свидания с подзащитным, Петр Ананьевич отправился на Литейный.

Над парадной, по обыкновению закрытой, дверью на стене бело-розового здания Судебной палаты символом судейской мудрости был запечатлен в барельефе Соломонов суд: древний иудейский царь, слева и справа от него — две женщины, на переднем плане — обнаженный юноша-воин с мечом в одной руке и схваченным за ноги младенцем — в другой. Согласно преданию, каждая из женщин доказывала, что она мать ребенка. Выслушав их, Соломон Мудрый объявил свое решение: младенца разрубить пополам, чтобы обеим досталось по равной части. Едва юноша занес меч, как одна из женщин крикнула: «Остановитесь! Пусть он достанется сопернице, но не убивайте дитя». И тогда Соломон обратился к ней: «Ты — мать. Да будет дитя твоим!»

Петр Ананьевич вошел через боковую дверь. Отдал служителю котелок и пальто и поднялся на второй этаж. Ему нужен был кабинет члена второго уголовного департамента барона Рауш фон Траубенберга. Лишь в самом конце коридора на высокой дубовой двери с медной ручкой увидел он искомую табличку. Постучался.

— Входите! — донеслось из кабинета. — Входите же!

Наискосок от двери к столу пролегла ковровая дорожка, зеленая с красной каймой. За столом сидел сухонький господин с морщинистым стариковским лицом и совершенно лысым черепом. Был он в синем вицмундире, с Анной на шее и Владимиром на груди. Красиков положил перед ним оба прошения. Барон взял их, пробежал взглядом и поднял на посетителя светло-голубые, обесцвеченные возрастом глаза.

— Вы будете защищать Трегубова?

— Ко мне обратились.

— Странно. — Барон пожевал губами. — Присяжный поверенный Красиков? Э-э… Не слышал.

— Не беда, господин барон. Еще услышите.

— Вы так думаете? Э-э… От меня вам что угодно? Подписать прошения? Э-э… пожалуйста. — Он быстро написал по нескольку слов на бумагах, поставил замысловатые подписи. — Да, господин… э-э… Красиков. Попрошу не опаздывать в заседание. Я противник отложения дел. Вашему же брату, присяжным

поверенным, особливо молодым, вечно времени недостает. Голова кружится от гонораров.

— Я буду вовремя, господин барон.

— Не смею больше задерживать.

Литовский замок, тюрьма, где содержался Трегубов, находился около Мойки и Никольского канала. Именно сюда его самого препроводили в шестом году, когда он был схвачен с Еленой Дмитриевной на Английском проспекте в помещении Союза горных инженеров.

В том, что он подъехал к Литовскому замку на извозчике с пропуском за подписью председателя Судебной палаты и гербом Российской империи в правом верхнем углу и удостоверением присяжного поверенного, было нечто противоестественное. Он, большевик Красиков, — по эту сторону тюремного забора, а «энес» Трегубов — в застенке. Он двинулся не к полосатой черно-бело-оранжевой двери у тюремных ворот, а свернул к невысокому парапету у канала. Пошел дождь, и темная вода между отвесными гранитными стенами едва заметно пузырилась.

Михаилу предъявлено обвинение по статьям Уложения, предполагающим ссылку на поселение. Жандармский полковник ведет беспроигрышную игру: либо — доход финансовый, либо, на худой конец, — поощрение по службе.

Ссылка на поселение… Глупо. Глупее не придумаешь. Елена Дмитриевна и тифлисские большевики тоже сосланы царским судом в Сибирь. Быть, может, Михаилу полезно вкусить «милостивости» царского суда? Быть может, это несколько просветлило бы его разум? Но что в таком случае делать защитнику? Какую справедливость отстаивать?

Пальто промокло насквозь. Портфель блестел от воды, как лакированный. Петр Ананьевич пересек булыжную мостовую, постучал в окошко.

Тюремная канцелярия помещалась в небольшом деревянном строении, прилепившемся к кирпичному забору. Дежурный прапорщик, немолодой, с печатью усталого безразличия на лице, прослуживший в сем заведении, должно быть, многие годы, заглянул в бумаги, поднял сонные глаза на Красикова, и они вдруг словно бы ожили. И Петру Ананьевичу глаза эти показались знакомыми. «Неужели с шестого года здесь?» — подумал он.

Прапорщик еще пристальнее вгляделся в него и зычно крикнул:

— Павленков! Проводи в семнадцатую. Идите за солдатом, господин Красиков. — Он указал глазами на дверь во двор.

Минуту спустя Петр Ананьевич был уже в тюремном корпусе. По стенам коридора выстроились провалы дверей с отверстиями-

глазками и написанными белой краской номерами. Красикова сопровождал надзиратель с ефрейторскими лычками на погонах.

И семь лет назад его в этом коридоре сопровождал надзиратель. Так же гулко разносился по зданию стук каблуков о цементный пол. Но тогда ему «тыкали» и подталкивали в спину. Сейчас надзиратель держится на почтительном расстоянии и даже как бы робеет перед ним. Он останавливается у приоткрытой двери с номером семнадцать.

— Побудьте в камере. Заключенного доставим в момент.

Вновь такой же каменный мешок, как тот, где его некоторое время продержали в шестом году. Словно бы придавленное сверху оконце с частой решеткой в глубокой нише под самым потолком, выкрашенные в серый цвет раковина и водопроводный кран в углу, тяжелая дверь с глазком на уровне человеческого лица. Не хватает лишь узких железных коек у стен да бочки-параши под окном. Зато имеются намертво прикрепленный к полу столик да два сросшихся с цементом стула.

Сквозь неплотно притворенную дверь проникают голоса и шаги — позабытые тюремные звуки. Вокруг медленно и лениво, как вода в Никольском канале, зажатая гранитными берегами, течет извечная жизнь узилища.

Красиков достал из портфеля досье по делу Трегубова — несколько листков записок и бумаги, полученные от Пешехонова, — положил на столик, закурил. В камеру вошел внушительного роста мужчина в жилете поверх белой рубашки тонкого шелка, с расстегнутым воротом. Жилет и поскрипывающие на ходу сапоги гармошкой делали его похожим на приказчика. Он вгляделся в защитника. Брови изумленно поднялись.

— Меня к адвокату привели, — улыбнулся он. — Так это ты?

— Я.

— Сюрприз, доложу тебе. Менее всего ожидал получить в защитники эсдека. Однако рад. Сюрприз! Мой защитник — Петр Красиков!

— Петр Ананьевич, — считая неуместным в этих стенах подобное воодушевление, поправил Красиков. — Действительно, трудно верить.

— Так здравствуйте же, господин присяжный поверенный! — Трегубов стал серьезным и, шагнув к столику, несмело протянул руку. — Или все таишь старые обиды?

— Здравствуй. — Пожимая руку, Красиков рассматривал вблизи лицо Михаила. Борода тронута сединой. От глаз лучиками разошлись морщины. — Старые обиды я давно забыл. Новые накопились. Но об этом — в другое время. Сегодня у нас иные

заботы. Для начала такой вопрос. — Петр Ананьевич открыл досье. — Какие наброски статей у тебя нашли при обыске? О чем статьи?

— Да мелочь всякая. Для «Русского богатства» писал о выборах. По совету Алексея Васильевича отстаивал тезис, что через представителей своих в парламенте народ может повлиять на развитие…

— Это все?

— Да нет. Нашли еще черновик прокламации о Ленских событиях.

— Это существеннее. А с жандармом что?

— Да ничего особенного. Если бы не солдаты, худо бы ему пришлось. Хотя и так потрепал его чувствительно. Понять не могу, как меня угораздило. Не совладал с собой. Ты ведь меня знаешь.

Странной была беседа. Подзащитный обращался к нему на «ты», вспоминал об общих знакомых. Петру Ананьевичу никак не удавалось дать почувствовать Трегубову, что от их былой дружбы, кроме этого «ты», ничего не осталось.

— К тебе Зоя не приходила? — спросил Михаил. — Жена?

— Ты женат?

— Двое детей уж. Сын и дочь, — сказал Михаил горестно и поинтересовался: — Отец к тебе не заходил? Не удивляйся. Прикатил. Ушел мой старик от Гадалова, свое дело начал. Миллионное. И вот примчался чадо спасать. Уверен, что потрясет кубышкой — и сын вновь станет достойным членом общества. А ты удивлен, почему я не эсдек. Чем старше становлюсь, Петр, тем яснее понимаю: не революционер я.

— А статьи крамольные, прокламация о Ленском расстреле?

— Это иной разговор. Что до тех, кто рабочих расстреливает, то они и мои враги. Скажешь, у Гадалова и папаши трудиться — тоже не мед? Согласен. Рабочий — не хозяин. Однако у нас до расстрелов покуда не доходило. Стряслось бы что подобное, я и отца не пощадил бы. Не веришь? Что ж… Так родитель не бывал у тебя? Теперь жди, непременно явится…

В дверях стоял интеллигентного вида старик. Его можно было принять за врача или ученого, если бы не синий картуз на голове. Петр Ананьевич — он вел прием без Наташи, отсутствовавшей по случаю болезни отца, — узнал Гордея Захаровича Трегубова. И все же спросил:

— Вы ко мне?

— Если вы присяжный поверенный Красиков, то к вам.

Без шубы, в дорогом костюме, выдававшем в нем, впрочем,

провинциала, узкоплечий, с худой морщинистой шеей, старик выглядел и вовсе ветхим. Он оценивающе оглядел кабинет, сказал:

— Небогато у вас, небогато. Сыну моему повиднее защитника найти следовало. Есть они в столице.

— Ко мне вы по делу?

— По делу, господин Красиков, по делу. Мое время дорого, и без дела мне разгуливать некогда. Скажите, сколько дать следует, чтобы Михаила из тюрьмы освободить?

— Что значит «следует»?

— Вы защитник, должны знать. Всем людям деньги нужны, бумажки вот эти. — Он запустил руку во внутренний карман, достал оттуда пачку сторублевок. — За то, что заточили Михаила, жалованье было получено, а чтобы освободить, мне платить надо. Я понимаю, не отказываюсь. Вот у полковника Невистова был. Деловой человек. Не вилял. Расстроился, правда. Опоздал я. Дело в суд ушло. Теперь платить поболее придется. Сумму назначил чувствительную. Мне денег не жалко. Не люблю, однако, в дураках оказываться. Тем более, что Михаилу по статье ничего страшного и быть не должно. Верно?

— Смотря как понимать.

— А вы, господин Красиков, не могли бы в суде поговорить с кем следует? Глупо полковнику платить, если он к делу касательства не имеет. Поговорите. Я заплачу сколько надо. И вас не обижу.

— От меня, Гордей Захарович, подобных услуг не требуйте. Я не полковник Невистов. Могу лишь один путь предложить — просить об освобождении Михаила под залог. Я напишу прошение, а платить вам придется. Под залог, надеюсь, его освободят.

— А после что будет?

— Суд будет, Гордей Захарович.

— И что же присудить могут?

— В худшем случае — ссылка на поселение в Сибирь.

— Только-то? Ну-ну. Сколько вы берете за визит?

— Вы мне ничего не должны. За составление бумаги возьму с вас.

Гордей Захарович осуждающе поглядел на Красикова и поднялся. Петр Ананьевич проводил его в прихожую, подал шубу, а когда возвратился в кабинет, обнаружил на столе пять сторублевых ассигнаций…

IX

По случаю воскресенья Петр Ананьевич был дома один и в столь раннее время никого не ожидал. Ровно в девять у входа внезапно позвонили. Он увидел Наташу, раскрасневшуюся и улыбающуюся, с букетом роз и тортом в коробке. Изумленно спросил:

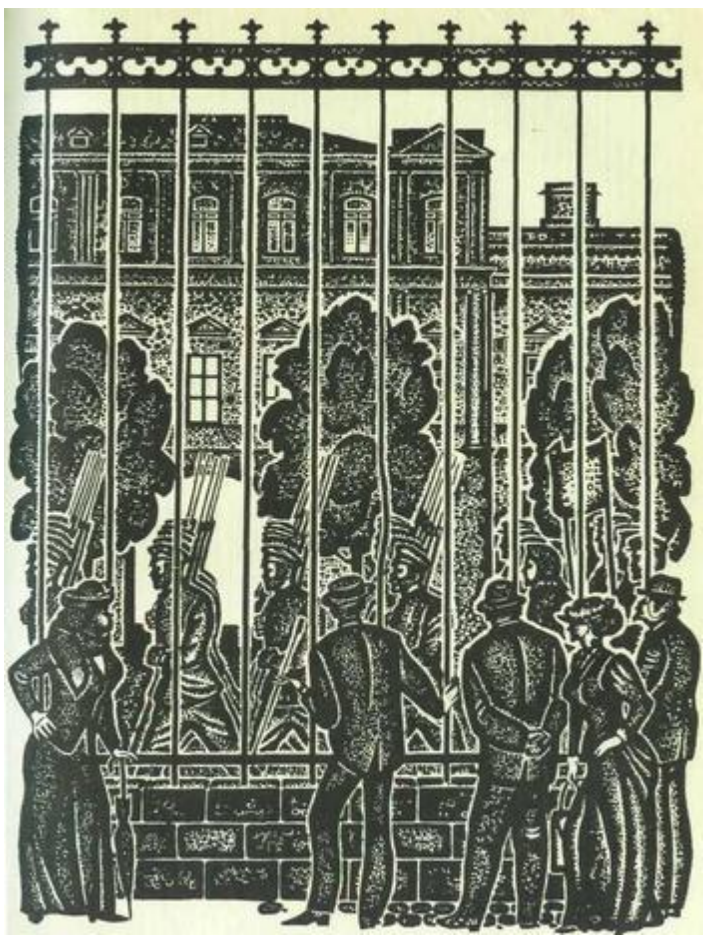
— Что это?

— Поздравляю с днем рождения, желаю счастья и всяческого благополучия. — Она засмеялась неуверенно и смущенно.

— Спасибо, Наташенька. Но откуда вам известно?.. — Он и сам не помнил о своем дне рождения и впрямь был удивлен.

— Да уж известно…

Завтракали вдвоем. Выпили немного рейнвейна. Наташа, смеясь, утверждала, что Петр Ананьевич нынче выглядит гораздо моложе, чем накануне. Если так пойдет и дальше, они вскоре и вовсе поравняются годами. А он и в самом деле ощущал себя помолодевшим и беспечным, каким не бывал с гимназических лет.



Наташа сидела по другую сторону стола. На ней была кремовая закрытая блузка с кружевной отделкой на воротнике. В ушах поблескивали крохотные сережки. Зачесанные кверху темно-каштановые волосы открывали гладкий и высокий лоб. В широко поставленных карих глазах угадывалась готовность принять любой удар судьбы. И Петр Ананьевич, кажется впервые, подумал: «Нет, оттолкнув ее, я причиню боль не только себе…»

— Вы ведь любите театр? — спросил он.

— Очень…

— В таком случае мы отправимся в Александринку. Что у них сегодня дают?

— Кажется, «Дон-Жуана». Как хорошо, что у вас появилась эта идея! Я уже два года мечтаю попасть на мейерхольдовского «Дон-Жуана».

Тотчас поехали в театр за билетами. Петр Ананьевич взял на вечер два кресла в партере, и они решили идти домой пешком. Наташа сказала, что нынче, пожалуй, последний погожий день, что когда заладят дожди, из дому не захочется выйти.

День и в самом деле выдался великолепный. На синее, высокое, безоблачное небо выбралось по-осеннему прохладное солнце. Оно светило ласково, не ослепляя. Все вокруг сделалось многоцветным, пестрым и ярким. Золотом отливала ранняя желтизна на деревьях. Занавеси в окнах выглядели невыносимо белыми, большие листья фикусов — ядовито-зелеными. Бронза украшений на зданиях сверкала, как благородный металл. Голоса прохожих звучали громко и отчетливо, извозчики понукали своих лошадей весело и беззлобно, между прохожими сновали неуемные гимназисты. Вот трое кадетов картинно отдали честь встречному офицеру. Глядя на них, рассмеялись девицы-институтки…

Навстречу им по лестнице спускался Николай Дмитриевич. Увидев Красикова в обществе Наташи, он спросил недовольно:

— Вы где это пропадаете, Петр Ананьевич?

— Очень мило с вашей стороны! — Красиков переглянулся с Наташей. — Сегодня вы предъявляете мне претензии! Пойдемте-ка наверх. — Он опять посмотрел на Наташу: — Остался у нас рейнвейн? Вас это устроит, Николай Дмитриевич, или пойти за коньяком?

— Господин присяжный поверенный, мне не до шуток. — Николай Дмитриевич обиженно отвернулся.

— Что опять, дорогой патрон?

Соколов не ответил. В молчании они поднялись на четвертый этаж, и мужчины направились в кабинет, а Наташа — на кухню,

приготовить к столу. Закурив сигару, Николай Дмитриевич принялся шагать из угла в угол.

— Так что же случилось?

— Что случилось? Случилось то, драгоценный, что мы имели несчастье родиться в этой огромной, богатейшей, несуразной стране, где триста лет могла просидеть на троне бездарная и жестокая династия.

— Но почему именно сегодня, в день моего рождения, вас это так взволновало? — Петр Ананьевич не мог не улыбнуться. — Между прочим, вы даже не поздравили меня. А в прежние годы об этом не забывали…

— Простите, — едва слышно отозвался Соколов и опять стал молча шагать по кабинету. Несколько раз туда и обратно прошла по коридору Наташа. Петр Ананьевич хотел уж было позвать гостя в столовую, но тот внезапно обернулся и заговорил с горечью: — Вообразите, меня, кажется, собираются упрятать в тюрьму. Не улыбайтесь, это гораздо серьезнее, чем вы полагаете. Не догадываетесь, за что? Я сам до сегодняшнего дня не догадывался. Помните собрание корпорации, когда мы направили приветствие защитникам Бейлиса в Киев? Я председательствовал, а докладчиком был Александр Федорович Керенский. Он и текст послания предложил. Теперь припоминаете? А я вот забыл. И без киевского процесса достаточно забот и осложнений. Часа полтора тому назад позвонил Александр Федорович. Оказывается, против нас — его и меня — возбуждено уголовное дело. Пуришкевич и Марков-второй все-таки своего добились. Присяжные поверенные Керенский и Соколов преданы суду как зачинщики оскорбительного для власти приветствия коллегам в Киеве. Самодержавие не может позволить, чтобы черносотенцев называли черносотенцами…

Он метался по кабинету. Сигара то и дело гасла, и он, ломая спички, прикуривал. Вдруг остановился перед Красиковым, потребовал ответа:

— Вы полагаете, они посмеют нас осудить?

— Полагаю, посмеют. — Петр Ананьевич вновь не удержался от улыбки. — Почему им не посметь? Но не тревожьтесь — царю сегодня невыгодно обрушиваться с репрессиями на интеллигенцию. Но с другой стороны, и думских деятелей типа Пуришкевича самодержавию нет никакого смысла от себя отталкивать. Вас, патрон, так осудят, чтобы вы не слишком обиделись. Месяц тюрьмы — максимум.

— Тюрьмы?! — ужаснулся Николай Дмитриевич. — Нет, нет! Это невозможно! Я не могу! У меня дела, клиенты…

— Они подождут.

В дверь заглянула Наташа, сказала:

— У меня все готово. Прошу вас в столовую.

— Пойдемте. — Петр Ананьевич взял гостя под руку.

— Поразительный вы человек, Петруша. — Николай Дмитриевич закусил губу, обиженно уставившись на Красикова. — Разве вам непонятно, насколько все это серьезно и прискорбно? Простите, но я откланяюсь.

— Разумеется, разумеется. И все же, простите меня, не вижу повода отчаиваться. Уверяю вас, приветствие коллегам в Киеве стоит небольшой отсидки. А лично вам знакомство с тюрьмой в качестве узника, надеюсь, пойдет на пользу, поможет избавиться от иллюзий.

— Но ведь это ужасно. Ужасно и стыдно! Дело не только во мне или Александре Федоровиче. Мы не умрем, если и тюрьмы отведаем. Ужасно, что менее чем через полвека после исторической судебной реформы от нее сохранились только фразы в статьях и учебниках.

— Вот видите, мои предсказания уже сбываются. Вы еще до суда и до тюрьмы начали избавляться от иллюзий. — Он увидел, что Николай Дмитриевич улыбается, и сказал: — Вот и хорошо. Вы стали похожи на самого себя. Пойдемте отведаем, что Наташа приготовила.

— Нет уж, Петруша. Проводите меня, пожалуйста…

Наташа пробыла у него до вечера. А после спектакля он отвез ее на Выборгскую сторону. Она всю дорогу была задумчива и молчалива, а перед тем как попрощаться, сказала со вздохом:

— Сердце замирает, когда думаешь, как это прекрасно. Этот вечер я никогда не забуду.

Она, разумеется, говорила о спектакле. А он всю дорогу думал совсем о другом: о том, что теперь не сможет уже смотреть на Наташу по-прежнему.

X

Зал заседаний Судебной палаты подавлял торжественностью. На возвышении, под большим портретом Николая II, стоял длинный стол. За ним сидели коронные судьи — трое членов департамента. В центре — барон фон Траубенберг в синем вицмундире, при орденах. Правее, за другим столом, заняли места сословные представители: губернский предводитель дворянства, городской голова и третий, молодой и неспокойный, заменявший, должно быть, старшину.

Подсудимый, освобожденный до суда под залог, сидел на

отдельной скамье перед возвышением. Позади него, опять-таки на отдельной скамье, разместились Гордей Захарович и испуганная молодая женщина с неприметным лицом. «Жена?» — удивился Петр Ананьевич. Ему казалось, женой Михаила должна быть какая-нибудь яркая особа, красавица.

Барон фон Траубернберг открыл поданный ему том судебного дела, полистал, выставив на обозрение лысую шишковатую голову. Затем решительно выпрямился и объявил:

— Слушается дело по обвинению Трегубова Михаила, сына Гордеева, по статье Уложения о наказаниях…

Петр Ананьевич слушал рассеянно, наблюдая за подзащитным. Тот нервически посмеивался. Отец его не отводил глаз от судей. Жена, очевидно, вообще ничего не слышала и не понимала.

Из коридора на цыпочках вошел Пешехонов, остановился сзади у колонны. В дверь заглянул полковник Невистов. Красиков подумал: «Сорвал, должно быть, куш господин полковник. Интересуется ходом дела…»

Напротив Петра Ананьевича расположился за столом товарищ прокурора Судебной палаты Червинский, действительный статский советник, высоколобый немолодой господин в пенсне, с гладко выбритым лицом. Он то склонялся над столом, что-то записывая, то обводил публику предостерегающим взглядом. Судя по его наружности, он принадлежал к тому многочисленному роду служителей Фемиды, каковые приучили себя подавлять при исполнении обязанностей в своих душах все человеческие чувства.

Между тем барон повернул голову к Трегубову и отнюдь не грозно потребовал:

— Подсудимый, встаньте! Вы имеете дать суду пояснения по существу дела. — Михаил вскочил, вытянулся и замер. Барон так же негромко и даже участливо поторопил его: — Мы ждем, пожалуйте.

— Да ведь я уже все сказал.

— Превосходно. Э-э… господин прокурор, будьте любезны.

Обвинитель поставил несколько ни к чему не обязывающих вопросов. Они были направлены скорее в помощь защите, чем на пользу обвинению. «Не зря Гордей Захарович, оказывается, с ассигнациями в столицу прикатил», — размышлял Красиков, слушая, как мирно переговариваются обвинитель и подсудимый.

— У защиты имеются вопросы? — Голос барона отвлек его от мыслей.

— Имеются. — Красиков повернулся к Трегубову. — Известно ли вам, подсудимый, как передовая часть русского общества

отнеслась к расстрелу рабочих на Ленских золотых приисках?

— Господин защитник… — Лицо барона сделалось беспомощным.

— Прошу меня простить. — Петр Ананьевич склонил голову. Заметил, как нахмурился молодой сословный представитель и городской голова зашептался с предводителем дворянства.

— Видите ли, господа судьи, один пункт обвинения самым тесным образом связан с упомянутым событием. При всем желании мне его не обойти, — и вновь обратился к Трегубову: — Итак, подсудимый…

— Я отвечу. Нынче нет в России ни одного достойного человека, не стыдившегося бы…

— Господин Трегубов! — остановил его барон.

— Господин председатель! — В руках у Красикова появился новогодний номер «Биржевых ведомостей», где высказывались оценки тому, что произошло в политической жизни России прошлого года, и делались попытки предсказать будущее ее развитие. Молодой сословный представитель даже руками замахал при виде газеты. — Я полагаю уместным огласить газетную статью, дозволенную цензурой.

— Зачем? Зачем, господин… э-э… защитник? Извольте ставить вопросы по существу дела. Зачем сторонам касаться фактов, не относящихся прямо к сути обвинения?

— Господин председатель, моему подзащитному вменено в вину написание прокламации по поводу расстрела на Лене. Речь идет о статье сто двадцать девятой Уложения. Я же, со своей стороны, стою на той точке зрения, что упомянутую прокламацию следует ставить подсудимому в заслугу, а не в вину. Но, очевидно, критика убийц безоружных рабочих здесь ныне не в чести, как и в прочих правительственных учреждениях…

— Господин защитник… — взмолился барон. Свидетелей допросили быстро. Слушая прения сторон, обвинителя — товарища прокурора Червинского, Петр Ананьевич невольно вспоминал процесс, проходивший в этом же зале два дня тому назад. На скамье подсудимых находились присяжные поверенные Керенский и Соколов, а в роли обвинителя выступал тот же действительный статский советник Червинский. В том процессе он, однако, не был настроен так благодушно, как сейчас. Как и предполагал Петр Ананьевич, Керенского и Соколова приговорили к месяцу тюрьмы. И уж как старался тут господин Червинский! Да, правительство теряет голову, стараясь угодить господам Пуришкевичам…

— Господин защитник, — сказал барон, — вам слово.

Петр Ананьевич поспешно встал. Он волновался — слишком

давно выступал в последний раз в Судебной палате. В зале стоял ровный и словно бы бесстрастный гул. Обвинительная речь никого, кажется, особенно не взволновала.

— Господа судьи! — начал Красиков негромко. — Спустя несколько минут вы удалитесь на совещание, чтобы, оставшись с глазу на глаз с законом и собственной совестью, решить судьбу моего подзащитного и поставить приговором последнюю точку в процессе. Будущим Трегубова я ничуть не обеспокоен, — во всяком случае, имея в виду исход настоящего дела. Сознаюсь, у меня никогда не было опасений по этому поводу. Да простится мне прямота — вздорность обвинения столь очевидна, что…

— Господин защитник, не забывайтесь! — Барон фон Траубенберг был не на шутку разгневан. — Соблюдайте приличия!

— Виноват. Но разве обвинительная речь не удостоверяет моей правоты? Прокурор в политическом процессе, по сути, отказывается от обвинения! Это ли не свидетельство вздорности той затеи, в какой мы участвуем? — Заметив, что барон открыл рот, Красиков опередил его: — Все, все, господин председатель. Слово «вздорность» более не сорвется с моих уст. — Он перешел к завершающей части речи: — Как видите, высокочтимые господа судьи, вина моего подзащитного ничем не доказана. И меня посему ничуть не удивила позиция обвинителя.

Не глядя в зал, Петр Ананьевич спиной и затылком улавливал волнение публики. На него были нацелены отнюдь не сочувственные, скорее, напротив, враждебные взгляды дам и господ, занимавших скамьи для публики. Стоял недобрый гул. «Погодите же, милостивые государи, — ощущая, как зреет в душе почти позабытое уже опрометчиво-воинственное ликование, подумал Красиков, — сейчас у вас появится повод негодовать!»

— И вот я спрашиваю, в чем суть предостережения господина прокурора? — Он повернулся к публике. — Господин прокурор полагает предосудительной способность гражданина государства Российского видеть отсталость и дикость наших порядков и ничем не стесненный произвол полиции и прочих властей. Прислужники отечественного и иностранного капитала расстреливают доведенных до отчаяния безоружных рабочих. Ныне каждому честному русскому человеку, наделенному зрением и слухом, невозможно без боли вспоминать о трагедии на Лене. Боль эта многократно усиливается при мысли, что члены правительства с думской трибуны…

— Господин Красиков, прошу вас!.. — вскрикнул барон.

— …с думской трибуны возвещают перед всей Россией: «Так было — так будет!» Даже «Биржевые ведомости», эта никак не

радикальная газета, открещивается от преступления на Лене. Почему бы в таком случае не предостеречь издателей «Биржевки»? Охранка пока до этого не додумалась. А вот Трегубова, благо он предстал перед судом, предостережем! «В его лета не должно сметь свои суждения иметь»! Предостережем от крамольных мыслей о возможности такого преобразования России, чтобы она, чего доброго, не встала в один ряд с Европой. Мы — не Европа, мы — Россия! Да сохраним во веки веков верность незабвенному и милому сердцу крепостному праву!

— Господин защитник! — Барон сделался малиновым. Он с остервенением тряс колокольчик. — Предупреждаю… предупреждаю в последний раз!

— Я кончил, господин председатель.

Не прошло и часа, как в вестибюле появился судебный пристав гренадерского роста и стал приглашать публику в зал:

— Господа, заходите. Поторопитесь, господа!

Как и следовало ожидать, Трегубов был оправдан. Петр Ананьевич вышел на Литейный, испытывая одновременно и удовлетворение — его подзащитного оправдали, — и досаду, ибо ему было понятно, что на его долю выпала роль статиста в скорее печальном, нежели веселом водевиле с неизбежным благополучным финалом.

Шел первый снег. Крупные хлопья лениво, как бы нехотя, предвидя свою обреченность, планировали над брусчаткой мостовой, над плитами тротуаров и, едва коснувшись их, таяли.

Михаила, его родню и друзей ждали две извозчичьи пролетки. Петр Ананьевич наблюдал, как возбужденно и шумно рассаживалась компания Трегубова. О нем, защитнике, в минуту торжества никто из них не вспомнил. Но его ничуть не покоробило их равнодушие.

Что ему до них, как и им до него? Душа Петра Ананьевича была заполнена другим. Ему следовало поторопиться домой. Там его ждала Наташа. Жена…

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Между прошлым и будущим

I

Горела Судебная палата. Из высоких окон валил дым, подсвеченный пламенем. Пылала парадная дверь за чугунной фигурной решеткой. Персонажи «Соломонова суда» поджаривались на огне, словно грешники в аду. В воздухе носились обрывки судебных дел. Бело-розовые стены покрывались копотью. Поэтому, должно быть, здание выглядело как будто более тяжелым и громоздким, чем в «спокойные» времена. На Литейном — от Сергиевской до Невы — и на Шпалерной — от проспекта до тюрьмы — половодье кацавеек, тулупов, бушлатов, шинелей. Красные нарукавные повязки, винтовки, пулеметные ленты…

Со стороны «Шпалерки», где люди у каменной стены сбились особенно тесно, внезапно донесся слившийся воедино мстительный рев сотен глоток. Народ смял охрану, распахнул массивные тюремные ворота, прорвался внутрь, освобождая арестованных. На перекрестке нет городового с жезлом. И вообще нигде не видно ни полицейских, ни жандармов, ни городовых — словно грозовым дождем смыло. Зато везде вооруженные матросы и солдаты. Да и рабочие с красными повязками на рукавах держат винтовки, как будто это их повседневный инструмент…

Вчера вечером в квартире Петра Ананьевича — он уже несколько дней из-за простуды никуда из дому не выходил — по обыкновению, собралась большевистская публика. Первым пришел Петр Иванович Стучка. Он достал из кармана и сунул Красикову письмо из Риги, стал рассказывать, что у него на родине тоже начались волнения. Забастовали металлисты и портовые грузчики, их поддержали студенты. Невозмутимый и уравновешенный Стучка был возбужден и многословен, восхищался земляками, твердил, что ему, быть может, предстоит вскоре «самая лучшая поездка в Ригу».

Несколько позднее явились Козловский и Соколов. Начался общий разговор. Один лишь Николай Дмитриевич отмалчивался.

Вот уже три дня, с момента очередного ареста Елены Дмитриевны, Соколов пребывал в печальном унынии. Несмотря на возраст свой и изменчивость в увлечениях различного свойства, этот почти пятидесятилетний человек сохранил по-

юношески целомудренную верность давнему поклонению Елене Дмитриевне. Это была не влюбленность, не мужская страсть, а нечто возвышенно-поэтическое и самозабвенное. Уж как ни резко иной раз обрывала его Стасова, как ни высмеивала его интеллигентскую половинчатость, он не только не восставал против этого, но даже роптать и обижаться не смел. И тем не менее он все более отдалялся и от Елены Дмитриевны, и от ее товарищей.

В Красикове бывший патрон возбуждал противоречивые чувства. В высшей степени добропорядочный и бесхитростный человек, Соколов был искренним во всех своих увлечениях и во всех своих заблуждениях. К его заблуждениям Петр Ананьевич до норы относился терпимо. А с осени четырнадцатого года о терпимости не могло быть и речи. Во всей столичной адвокатской корпорации лишь три присяжных поверенных — Стучка, Козловский и он, Красиков, — остались на большевистских позициях «пораженчества». Соколов не сумел подняться выше своего «патриотизма», не понял и не принял тактики большевиков. Хотя какое-то время он по инерции еще именовал себя «приверженцем Ленина», все легче ему было находить общий язык с теми, кто под знаменем «любви к отчизне» открыто сотрудничал с угнетателями российских трудящихся.

Должен был еще подойти Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Он позвонил днем, обещал непременно быть. Владимира Дмитриевича ожидали с особенным нетерпением. Он был самым тесным образом связан с Петербургским комитетом и ЦК и, постоянно бывая на заседаниях, знал о намечаемых на текущий момент планах гораздо больше, чем знали они.

Владимир Дмитриевич появился так поздно, что они уже и надеяться перестали. В столовую он вошел крайне взволнованный, запыхавшийся, словно за ним гнались вплоть до четвертого этажа. Еще и не поздоровавшись, он с порога объявил:

— Плохие новости. Арестован Петербургский комитет.

Некоторое время все подавленно молчали.

— Надеются обезглавить революцию! — воскликнул Николай Дмитриевич и уставился в глаза Петру Ананьевичу, как бы спрашивая: «Вы со мной согласны? Я ведь хочу, чтобы вы были согласны…»

Но его слова остались без ответа… А сегодня утром чуть свет Николай Дмитриевич дрожащим от счастливого волнения голосом сообщил: «Кажется, начинается». В Таврическом — ему звонил Александр Федорович Керенский — полная неразбериха. Накануне царь подписал указ о роспуске Думы. Но ее председатель Родзянко, не подчинившись, послал царю

телеграмму-ультиматум: «Немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство!» Затем Родзянко обратился по телеграфу к главнокомандующему, генералу Алексееву, за поддержкой. Вскоре на имя Николая II была отправлена еще одна телеграмма: «Надо принять немедленные меры, ибо завтра будет поздно!»

Петр Ананьевич пренебрег температурой и более не ложился в постель, стараясь не отходить от телефона. Вторично Соколов позвонил около полудня. На сей раз новости были еще более значительные и обнадеживающие. Только что в Думу явились делегации от восставших против правительства частей и потребовали от «избранников народа» ответа, на чью сторону они встанут. В то же время с Родзянко связался по телефону князь Голицын, премьер, известил об отставке кабинета.

— Дожили, Петруша, дожили! — Николай Дмитриевич даже всхлипнул. — Если сможете, приходите сейчас же в Таврический. Все наши туда собираются. Святой долг быть сейчас там, где решается судьба России. От государственно мыслящих людей зависит грядущее…

В Таврический непременно надо попасть. Еще в середине февраля на заседании ЦК, где шла речь о тактике партии в предстоящей революции, было решено способствовать созданию Совета рабочих депутатов. И они стали действовать. У него дома вдвоем с Еленой Дмитриевной написали листовку о Совете. Вот ее экземпляр белеет на стене Арсенала:

«…Только организация может укрепить нашу силу. Прежде всего выбирайте депутатов, пусть они свяжутся между собой. Пусть под защитой войска создается Совет депутатов. Крепкой связью вы присоедините к себе остальных солдат… Организуйте Совет рабочих депутатов».

У Арсенала идет митинг. Там шеренгой — мал мала меньше — выстроились захваченные шведами в петровские времена и выкупленные позднее русскими торговыми людьми пушки. Ораторы поднимаются на ствол головного орудия, срывают шапки, выкрикивают непривычные уху слова:

— Граждане свободной России!..

— Слава доблестной революционной армии!..

— Долой Николая Кровавого!..

Со стороны Лиговки внезапно долетает пулеметная дробь. Митинг настораживается. Люди вытягивают шеи, прислушиваются. Стрельба обрывается столь же неожиданно. На орудие поднимается новый оратор. Смуглолицый, в меховой шапке, на черном пальто пламенеет бант.

Петр Ананьевич застрял в толпе. Повсюду лица, лица, лица…

Разинутые в крике рты, выбившиеся из-под платков и ушанок волосы, слезящиеся на ветру глаза. Шинели, матросские бушлаты, душегрейки, студенческие тужурки, шубы, добротные пальто…

Надо было торопиться. В Таврическом дворце сейчас, быть может, происходят важные события. Но Петр Ананьевич не прилагал чрезмерных усилий, чтобы выбраться на простор. Ведь именно здесь, на улицах, массы творят революцию, здесь Петроград подобен Парижу Четырнадцатого июля. Народ штурмует российскую Бастилию.

— Братья! — Сквозь митинговый гул доходит голос оратора. — Наступил великий день. Мы все, собравшиеся здесь, приветствуем свободный революционный народ России. Каждый из нас, перечеркивая в памяти мрачное прошлое, произносит с гордостью: «В бывшей самодержавной России отныне нет ни господ, ни рабов!» Мы все граждане великой свободной демократической страны, равные теперь перед богом и законом.

Красиков невольно прислушался. Голос показался очень уж знакомым. Где приходилось его слышать? Да ведь это Пешехонов, Алексей Васильевич. Оказывается, и энесы приветствуют революцию! Своеобразно, однако, приветствуют. Отныне, по их словам, наступит классовый мир, тишь и благодать.

В мозгу засела какая-то чрезвычайно важная, хотя и не до конца еще определившаяся мысль. Петр Ананьевич начал решительно пробиваться к орудиям. В толпе громко переговаривались:

— Проняло, видать, барина…

— Поравняться с нами желают…

— В подвал твой на жительство переберется по причине равенства!

— А все же славно, братцы. Ей-богу, славно… Красиков оглянулся на улыбающегося чумазого молодого рабочего и преодолел в себе желание объяснить ему, что нельзя поддаваться радости первого успеха, что сладкие речи господина Пешехонова опасны, потому что они зовут остановиться на том, что народ получил сегодня.

У головного орудия распоряжался с начальственным видом веснушчатый молоденький матросик. На него наседали трое желающих выступить — солдат в прожженной на боку шинели, женщина в душегрейке и возбужденный, нервный студент в очках. Матросик, не утрачивая важности, время от времени хватался за карабин и покрикивал на них.

— Сейчас буду говорить я, — объявил Красиков.

— Как это? — Матросик на миг онемел. Но тотчас пришел в себя и свирепо вытаращил глаза. — Соблюдать порядок! Ясно?

Не ввязываясь в полемику, Петр Ананьевич поставил ногу на колесо орудия, взобрался на плоскую казенную часть. Пешехонов его не видел. Он весь был в своей речи. Наконец, выкрикнув заключительный лозунг о единении русского народа в революции, он обернулся, узнал Красикова:

— Вы — говорить? — и улыбнулся так, словно эта встреча им обоим в равной степени приятна. Попросил: — Одну минуту, — и возвысил голос: — Братья! Вот рядом со мной стоит следующий оратор. Я не сомневаюсь, что хотя мы принадлежали к различным партиям, вы сейчас услышите то же, что говорил и я. Мы, русские, должны быть заодно всегда, и в трудный, и в светлый час. Ибо мы волею исторических судеб — единая братская семья. Революция сплотит нас еще теснее. Да будет так во веки веков!

Он оглянулся. Глаза его сверкали воодушевлением. Ему, должно быть, и в самом деле не верилось, что сейчас кто-нибудь может с ним не согласиться. Он схватил Петра Ананьевича за руку, пожал ее и спрыгнул с орудия. Красиков занял его место.

— Товарищи! — выкрикнул он.

— Ого! Лихо берет.

— Товарищи! — повторил Петр Ананьевич. — Мы с предыдущим оратором действительно принадлежим к различным партиям. Правда, я не думаю, что отныне между нами не будет повода для расхождений. То обстоятельство, что мы оба русские, отнюдь не сделало нас братьями. Не думаю я также, что победа России над империалистической Германией избавит нашу отчизну от враждующих партии и классов. Мне трудно судить, сознательно или бессознательно обманывает вас выступавший передо мной господин, но что он вас обманывает, это для меня очевидно. Взгляните, товарищи, на ту сторону проспекта. В этом вот пылающем сейчас здании наших братьев обрекали на каторгу и виселицы. Но разве неправый суд над ними творили не русские? А в охранке не такие ли русские измывались над русским рабочим человеком? Кто расстреливал вас Девятого января на Дворцовой площади? Кто? Разве царь позвал для этого немцев? Товарищи! Мы с выступавшим передо мной господином по-разному любим свой народ и свою отчизну. Он зовет вас к миру с помещиком и капиталистом. А я и мои товарищи большевики говорим: пролетарская Россия ставит своей целью свергнуть бесповоротно не только царя, но и всех тех, кто веками угнетал трудовой народ, — помещиков и капиталистов. Мы говорим, нам безразлично, русские ли они, или Нобели, Лесснеры, Терещенки, Манташевы, фон Вали. И те и другие — наши классовые враги. И я провозглашаю: да здравствует революционное единение трудового народа!

Студент в очках запел «Марсельезу». Весь митинг подхватил песню. Пел веснушчатый матросик, пел солдат в прожженной шинели, пела женщина в душегрейке. И чумазый парень без шапки, должно быть, подтягивал, хотя навряд ли знал слова. А вот пел ли господин Пешехонов? Петр Ананьевич вгляделся в море лиц, одежд, ушанок, платков. Исчез Алексей Васильевич, исчез…

Матросик подал Красикову руку. Петр Ананьевич сошел с пушки и начал проталкиваться по Шпалерной в сторону Таврического дворца. Город казался затопленным людской массой. По мостовым и тротуарам во все стороны толпами и колоннами перемещались люди в шинелях и штатском, над ними плыли лозунги самых противоположных политических направлений. Лица солдат в колоннах — их попадалось все больше и больше — выглядели озабоченными, команды звучали отрывисто и хлестко.

На площади перед Таврическим дворцом народа было не меньше, пожалуй, чем на Литейном. Одно лишь отличало площадь от проспекта — здесь господствовал серый цвет, цвет шинельного сукна. На его фоне резко выделялись красные островки: лозунги, плакаты, флаги. Между белыми колоннами вытянулась цепь солдат-преображенцев. Они оттеснили серую людскую лаву от входа в здание Думы.

Перед окнами дворца тоже митингуют. Петр Ананьевич остановился, прислушался. Очень важно понять настроение войска. От этого во многом зависит развитие революции.

Внезапно шум толпы на площади рассек настойчивый сигнал автомобиля. Из-за угла выполз открытый мотор, раздвинул массу, остановился у колонн. Первым из него вышел Александр Федорович Керенский, вслед за ним — еще один думский депутат, меньшевик Чхеидзе, и последним — Николай Дмитриевич Соколов. Народ расступился.

А митинг шел своим порядком. Сменяли друг друга ораторы. Одни произносили речи подобные пешехоновской, другие требовали «замирения», третьи, вот как этот молодой солдат в шинели, подпоясанной пулеметной лентой, говорили о свержении царя, о передаче всей власти народу.

— Петр Ананьевич, сюда! — донесся голос Соколова с противоположной стороны площади.

А Красиков, с радостью прислушиваясь к словам солдата, думал: «Вот как заговорила армия! Кто же тебя, братец, научил так рассуждать и говорить, с каким же хорошим человеком посчастливилось тебе встретиться? Ты ведь умница, тебе можно доверить самое трудное дело. Нам с тобой, товарищ, предстоит

драться вместе…»

— Петр Ананьевич! — К нему проталкивался Соколов. — Пойдемте!

Нарядом преображенцев командовал поручик с красной нарукавной повязкой. Он остановил идущего первым Керенского:

— Вы куда, господин?

— Я — Керенский, депутат Думы. Вот удостоверение.

— Позвольте. — Поручик повертел в руках документ, оглядывая при этом спутников думского депутата. — А эти господа?

— Привыкайте к слову «товарищи», — посоветовал офицеру Красиков. — С «господами» скоро будет покончено.

Александр Федорович неодобрительно взглянул на коллегу и объявил поручику: «Эти господа со мной». Произнес столь внушительно, что их пропустили без дальнейших формальностей.

Во дворце было суматошно и шумно, как и во всем городе. Солдаты парами перетаскивали куда-то патронные ящики. Словно бы заплутавшись в лесу, потерянно бродили по коридорам люди в шинелях, представители восставших частей. В левом крыле здания, у высокой двери кабинета Родзянко, охраняемой двумя рослыми часовыми-гвардейцами, мелькали какие-то дамочки с бумажками в руках, беседовали между собой думские депутаты с замороженными страхом лицами и алыми бантами на груди.

А из открытой настежь двери Екатерининского зала долетали голоса ораторов, рев огромной толпы, смех, пение «Марсельезы». Там хозяевами были рабочие и солдаты. Громадное помещение заполнили сотни, нет, — тысячи людей. И митинг здесь шел не один, а сразу несколько.

Красиков направился к ближайшей группе. Говорил молодой казак в кубанке. Он то и дело хватался за эфес шашки и кричал тенорком:

— Мы не отпираемся, есть грех на казацкой совести. Есть, никуда от него не деться. Только мыслимо ли век его нам на шею цеплять? Время ноне не то, и казак не тот. Слыхали, чай, кто возле Казанского собора в субботу за народ вступился и фараонов огнем разогнал? Может, кто не слыхал? Так я скажу: казаки наши!

— Правильно, казак!

— Долой фараонов!

Несколько дальше в центре другой группы речь произносил оратор совсем иного толка. Красивое породистое лицо, пенсне на шнурке, красный бант на пальто и резкий, царапающий ухо голос. Кое-что из его речи проникало сквозь митинговый гул: «долгожданная демократия», «новая государственность», «европейская конституция», «единство армии и народа».

За окнами стемнело. Вспыхнули две большие люстры. Народ все прибывал и прибывал. Петр Ананьевич огляделся. В океане человеческих лиц не увидел ни одного знакомого и отправился искать Соколова.

Николая Дмитриевича нашел он в соседней с кабинетом Родзянко двенадцатой комнате. Здесь было накурено так, что электрическая лампочка плавала в табачном дыму, как нерастаявшая льдинка в мутном весеннем потоке. На столе лежала раскатанная штука красного сатина и ножницы. Ткань публика резала на ленты для бантов и нарукавных повязок. Из соседних помещений кто-то вносил стулья и расставлял их рядами. Николай Дмитриевич сообщил Красикову:

— Как только соберется народ, проведем первое заседание Совета рабочих депутатов. Мы с Александром Федоровичем собирались начать в семь. Но вот Шляпников возражает, — он указал глазами на стоящего в одиночестве у стены человека в черном демисезонном пальто. — Он считает, что надо обязательно дождаться представителей от заводов.

— Правильно считает.

— Разумеется, разумеется. Но не забывайте, время идет, а революция все еще не имеет руководящего центра. А правые не теряют зря ни минуты. Уже создан Временный думский комитет. Мы же раскачиваемся…

— У нас был уговор ждать до девяти. — Подошел Шляпников, довольно молодой человек с худым нервным лицом. — Будем верны слову. Сколько соберется народа, столькими и ограничимся.

— Здравствуйте, товарищ Шляпников, — Петр Ананьевич протянул ему руку. — Рад встретиться здесь…

Тот не дослушал, с подчеркнутой поспешностью отвернулся и, словно не заметив протянутой руки, торопливо возвратился на прежнее место у стены. Петр Ананьевич удивленно пожал плечами.

Первое заседание Петроградского Совета рабочих депутатов открылось в двенадцатой комнате Таврического дворца в девять вечера двадцать седьмого февраля. Вначале присутствовало около пятидесяти человек, пришедших на заседание явочным порядком от своих партийных организаций. Это по преимуществу были интеллигенты меньшевистского и эсеровского толка. Большевиков среди них, как и в Совете пятого года, оказалось не много.

Заседание открыл Николай Дмитриевич Соколов. Он произнес патетическую взволнованную речь. Собравшиеся наградили его аплодисментами. Вначале все шло слишком уж

гладко. То и дело звучали рукоплескания, слышался доброжелательный смех. Постепенно, однако, с приходом депутатов от заводов и полков обстановка стала накаляться. С мест неслись недовольные выкрики, все чаще выходили ораторы в простой рабочей одежде и шинелях, и выступления их вовсе не походили на адвокатские речи в судебных процессах.

Из кабинета Родзянко появились думские депутаты Чхеидзе, Скобелев и Керенский. Заняли места в президиуме. За спиной у Петра Ананьевича переговаривались большевики Залуцкий, Молотов и Шляпников. Особенно многословен был последний. Начинал он шепотом, но переполнявшая его озлобленность мешала ему владеть голосом. Красикову, впрочем, казалось, что тот не без умысла высказывается очень громко. Ядовито-желчные замечания Шляпникова были как бы предназначены для его, Красикова, ушей.

— Обратите внимание, — отчетливо шептал Шляпников, — сколько здесь «бывших»! Прибежали за «историческими ролями». Пока мы в подполье боролись, они своего не упускали. А сейчас в «вожди» рвутся…

— П-пусть рвутся, — слегка заикаясь, возразил Молотов. — Рваться — это еще в-вовсе не значит добиться цели.

— Все равно противно! Где у людей совесть? На их месте я бы сегодня постеснялся народу на глаза показаться.

Петр Ананьевич, задетый за живое, обернулся. Увидел нацеленные на него черные глаза Шляпникова. Сколько в них было презрения! Встретившись взглядом с Петром Ананьевичем, тот не отвел глаз. Напротив, так уставился, словно не в силах был шевельнуть головой.

На вид Шляпникову было лет тридцать. Следовательно, когда Красиков угодил в одиночку Трубецкого бастиона Петропавловки, ему не было и десяти. А ведь как беспощадно судит людей!

Выдвигали кандидатов в Исполком. Фамилии и партийные клички выкрикивали с мест без всякого соблюдения очередности. Соколов едва успевал записывать.

— Павловича!

Петр Ананьевич услышал вдруг свою давнюю партийную кличку и оглянулся. Ее выкрикнул кто-то молодым голосом в задних рядах. Шляпников помрачнел. На него с улыбкой взглянул Молотов.

— Павловича! — прозвучал тот же голос. — Пишите Павловича!

Неожиданно вспыхнула полемика по поводу представительства политических партий в Исполкоме Совета. Петр Ананьевич напомнил, как решался этот вопрос в пятом году.

Неплохо бы, сказал он, применить этот принцип и теперь. Это предложение вызвало ярость оппортунистов, и особенно представителей мелких партий.

— Позвольте слово! — прозвучал мальчишеский голос откуда-то сзади. Это он требовал включения в число кандидатов Павловича. Петр Ананьевич обернулся и увидел молодого солдата в шинели, подпоясанной пулеметной лентой, того самого, что так разумно выступал на митинге у Таврического дворца. Солдат шел к столу президиума, и лицо его потемнело от прилива крови. — Я от Саперного батальона депутат. Фамилия — Федулов. — Петр Ананьевич даже привстал, услышав эти слова. А солдат между тем продолжал: — Никогда еще никуда меня не выбирали. А уж если теперь выбрали, должен я сказать. Слушаю тут, чего говорят, и совестно делается. Зачем попусту слова тратить? Шел сюда, надеялся — дело иду делать. Выходит, зря надеялся. Собралось в Совете больше таких, что не о народе, а о себе думают. Вот я и рассуждаю: чем бесполезные слова говорить, лучше бы нам всем туда пойти, где товарищи мои, может, с фараонами дерутся. Правда, мне в батальон пока пути нет. Наказ не выполнил. А наказ такой: иметь революционное правительство. Потому, я думаю, правильно товарищ от большевиков говорил: есть у нас три самые большие политические партии. Пусть из них и будет Исполком.

Собрание зашумело. Николай Дмитриевич, не обращая внимания на протесты, воспользовался правом председателя и поставил предложение большевиков на баллотировку. «Обиженные» угомонились, и Временный Исполком был избран. В его состав от большевиков прошли Залуцкий, Красиков и Шляпников. Председателем Исполкома избрали Чхеидзе, его заместителями — Керенского и Скобелева. Опять, как и в пятом году, сказался перевес эсеро-меньшевистской коалиции.

После голосования объявили перерыв. Исполком еще должен был провести свое первое заседание. Время перевалило за полночь. Телефонная станция не работала, и позвонить домой было невозможно. А Наташа едва ли не сутки ничего не знала о нем. И ведь не известно еще, когда закончат заседать. Все разбились на группы, все были возбуждены — настраивались на драку. Да, судя по всему, мирной жизни в Совете ожидать не приходилось. Даже те, кому не было нужды задерживаться в Таврическом, не спешили уходить. Собирались по нескольку человек, спорили, совещались.

Петра Ананьевича задержал в двенадцатой комнате Соколов, просил от имени Александра Федоровича передать большевикам просьбу: сегодня, когда речь будет идти о становлении

Исполкома Совета, не обострять обстановки, способствовать работе, а не срывать ее. При разговоре присутствовал Чхеидзе, не проронивший, однако, ни слова. Только смотрел на Красикова большими черными печальными глазами.

Красиков ответил им, что просьбу, разумеется, передаст, и вышел в коридор. У входа в Екатерининский зал увидел Молотова, Залуцкого, Шляпникова, окруженных солдатами и рабочими, и направился к ним. Надо было рассказать о разговоре с Соколовым в присутствии Чхеидзе.

— Товарищ Павлович!

Кому это он понадобился? Петр Ананьевич оглянулся. Его настигал тот самый молодой солдат, назвавшийся Федуловым. Красиков вгляделся в него. Скуластый, по-юношески румяный, с выбившимся из-под бескозырки светлым чубом, он как будто ничуть не походил ни на Леонтия Антоновича, ни на его сына.

— Позвольте два слова спросить? — Солдат определенно робел перед ним, и эта робость, и внимательный взгляд снизу вверх внезапно словно бы сорвали пелену с памяти. «Костя Федулов!» — Можно? А то уходить я собрался. Вы ведь Красиков Петр Ананьевич, защитником раньше были, верно?

— Верно. — Красиков улыбнулся. — А вы Костя Федулов, не ошибаюсь? Нет? Возмужали вы — никак не узнать. Служите давно? Второй год? Большевик? Это очень хорошо. Спросить хочу, Костя… — Красиков был в затруднении. — Откуда вам моя давняя партийная кличка известна?

Федулов улыбнулся простодушно:

— Я ведь вас, Петр Ананьевич, не сразу признал. А когда дело до выбора Исполкома дошло, разговор я услыхал — возле меня ребята с Путиловского сидели. Слышу, вроде кого-то Петром Ананьевичем величают, а потом — Павлович да Павлович. Ну я, значит, спросил. Один путиловский, оказалось, в пятом году в Совете был и вас хорошо помнит. Показал на вас и говорит: наш человек, большевик, в Совете верную, пролетарскую линию вел. Я, значит, получше присмотрелся и узнал вас. А тут путиловский говорит: есть решение Павловича, вас то есть, в Исполком выбрать. Давай, солдат, кричи Павловича. Вот я и…

— Как дома? — поинтересовался Петр Ананьевич, безуспешно стараясь согнать с лица выражение растроганности. — Как Мария Павловна? Верочка? — По мгновенно изменившемуся лицу Кости он угадал, что об этом спрашивать не следовало. — Простите, пожалуйста…

— Чего уж теперь? С того света не воротишь. Померли обе в позапрошлом году… Тиф… Сперва мама, потом сестра. — Солдат обмяк, сморщился, умолк. Затем вздохнул: — Не могу говорить о

них…

— Понимаю…

— Петр Ананьевич, вы ведь останетесь на Исполкоме. А мне с вами очень хочется поговорить. Не то что хочется — надо.

— В чем же дело? Мы теперь, очевидно, будем часто встречаться. Да и ко мне заходите домой: Шпалерная, восемь, квартира десять. Кстати, если можно, зайдите сейчас по этому адресу. Жене скажите, где я. — Непременно зайду.

Уже светало, когда на заседание Исполкома явился почетный важный гость — председатель Государственной думы Родзянко. Он произнес приветственную речь. Наблюдая, в каком восторге пребывают меньшевики и эсеры, слушая этого земельного магната, многие годы преданно служившего самодержавию, Красиков наливался негодованием.

А Родзянко утверждал примерно то же, что Пешехонов на митинге у Арсенала. Господин думский председатель, впрочем, был последовательнее и откровеннее, нисколько не сомневаясь, что здесь его поймут.

— Если мы вместе с союзниками не разгромим нашего смертельного врага, — заканчивая речь, провозглашал Родзянко, — погибнет не только революция, но и Россия вообще. Мы с вами это понимаем. Приветствуя в вашем лице, господа, новую, свободную Россию, я призываю вас не пощадить сил для достижения победы над внешним врагом.

Раздались рукоплескания. Петр Ананьевич резко встал, повернулся спиной к президиуму и почетному гостю и поднял руку:

— Товарищи! Нас вновь зовут спасать Россию, русскую землю и — это уже новое — русскую революцию. Кто же настаивает на продолжении мировой бойни, кто жаждет прибавить крови рабочих и крестьян в и без того затопившую землю кровавую реку? Господин Родзянко, именующий себя «избранником народа», «демократом» и «патриотом». Прошлой ночью он убеждал царя «принять немедленные меры» против революционного народа, а сейчас призывает спасать революцию. Вот чего стоят его демократизм и патриотизм. Впрочем, я склонен верить, что господин Родзянко любит русскую землю. Ему как патриоту дороги огромные имения — его собственные! — в Нижегородской и Екатеринославской губерниях. Вот ради них и готов господин председатель бестрепетной рукой отправить на гибель следующие тысячи русских и немецких солдат. Сейчас ему есть что спасать. А я позволю себе спросить нашего гостя, станет ли он с тем же рвением призывать к защите отечества, если его

владения перейдут к народу?

Петр Ананьевич оглянулся. Он, конечно, не ждал встретить благодушную улыбку на мясистом лице Родзянко. Но и ненависти такой тоже не предвидел. Господина председателя, казалось, вот-вот хватит апоплексический удар. На иссиня-багровом лице белыми поперечными мазками выделялись седые брови, сошедшиеся у переносицы. Белая бородка тряслась, щеки были в движении, будто он что-то жевал.

— Это слишком, — неуверенно произнес кто-то. — Гость все же…

— Товарищ Павлович… — начал было Чхеидзе.

— Я… не понимаю… — Родзянко задыхался. — Меня пригласили… Я пришел… сказал. Нет, я не ожидал… Так нельзя! За что?.. Мы жизни сыновей отдаем… А он! Да как он смеет! Я земли своей пожалею? Чудовищно! Да будь она проклята, моя земля! Зачем она мне, если не станет России? Как же можно, господа?.. Хоть рубашку с меня снимите, а отечество, Россию спасите от врага!

Раздались жидкие рукоплескания. Родзянко, тучный и словно бы малоподвижный, легко и стремительно прошел к двери своего кабинета и заперся там.

— Зря вы так, товарищ Павлович, ей-богу, — расстроенно пожурил Петра Ананьевича Чхеидзе. — Здесь ведь не митинг, а авторитетный выборный орган. Теперь мы на виду, и следует…

— Угождать вчерашним прислужникам царя? Это мы предоставим вам.

II

Господи, да разве же она тогда, в тринадцатом году, могла вообразить, что когда-нибудь хоть на йоту разочаруется в нем? О себе нисколько ведь не думала. Только о нем. Как ее дома ни уговаривали, ни пугали его возрастом — ничего слушать не желала. Сердце подсказывало — ему с ней станет лучше. И она уж постарается, себя не пощадит, а его избавит от забот и одиночества. С ней он отдохнет от страданий. Их у него в прошлом было вдоволь. Так пусть впредь будет славно, по-семейному…

На первых порах все так и складывалось. Петя — вот уж четвертый год, как они поженились, а ей все странно его Петей называть — как будто наполовину помолодел. Веселый стал, уступчивый, старался каждую минуту дома с ней побыть. От этого и она была счастлива. Бывало, Николай Дмитриевич заходил и —

добрая душа — говаривал:

— Не вам, Петруша, ко мне, а мне к вам на ученье идти следовало. Как у вас все устроилось! Даже завидно. Но завидуй не завидуй, а удачливость не от желаний наших зависит. От приспособленности жить в обществе. Вот вы, Петруша, относитесь к числу тех избранных — и не спорьте, драгоценный! — кто более прочих предназначен для существования среди себе подобных. Вам до смерти не избежать удачливости.

Петя смеялся и тряс ему руку. И вообще все было так душевно, так складно. Она, как и прежде, следила за порядком в бумагах, писала на машинке под диктовку. Случалось, муж советовался с ней, как вести себя с клиентом, принимать ли новое дело, и обыкновенно прислушивался к ее словам. Но для нее важнее было другое. Несколько раз он посылал ее с какими-то бумагами по секретным адресам. Когда она благополучно возвращалась, он придирчиво расспрашивал, по каким улицам она шла, не следил ли кто за ней, с кем встречалась на тайной квартире, о чем там с ней говорили. Она не обижалась на его придирчивость и отвечала с гордостью, догадываясь, что он допускает ее к самому потаенному и самому главному в его жизни.

Получив гонорар, муж неизменно давал ей денег и настаивал, чтобы она передала домой. Семья ее более не бедствовала. Брат возвратился в гимназию, маме не было нужды крутить по ночам машинку, зарабатывая гроши на хозяйство. Когда Наташа навещала их, родители без прежней неприязни интересовались ее мужем. О нем говорили уважительно и благодарно — «наш Петр Ананьевич».

Не слишком долго, однако, тешило ее душу семейное благополучие. Не прошло и года замужества, а ее уже стали изводить сомнения: не чересчур ли опрометчиво пошла за человека, чья душа в последнее время представлялась далекой и недоступной?

У них стали бывать шумные и, если присмотреться, не очень воспитанные гости. Они много курили, громко и сердито спорили, мусорили в прихожей и комнатах. Она высказывала мужу неудовольствие, а он гневался не на них, а на нее. Но не в том была ее беда. Она смирилась бы и с многолюдьем, и с лишними расходами, и с неизбежным беспорядком в квартире, если бы хоть немного могла понять, ради чего они сходятся вечерами, из-за чего: так ожесточенно спорят.

А в последние месяцы — началось это после возвращения из сибирской ссылки Елены Дмитриевны Стасовой — Наташа и вовсе сделалась посторонней у себя дома. Товарищи мужа

перестали ее замечать. Как же ей было обидно и горько! До слез… Вечерами в столовой летали непонятные слова: «тактика», «оппортунизм», «ренегатство», «капитулянтство». Она вслушивалась, старалась ничего не упустить, уловить смысл, угадать причину волнения Петиных товарищей. Ничего ведь ей так не хотелось, как стать с ними вровень.

Мужу, ей казалось, было совершенно безразлично; ее состояние. И все же Наташа его строго не судила. Ведь у революционеров не такие представления обо всем, как у прочих, обыкновенных людей. А ее мечтой всегда было не просто стать помощницей мужу в адвокатских делах и хозяйкой в доме — ей хотелось быть ему другом во всем: в радости и беде, в трудах, мыслях. Прежде она верила, так и будет. До чего же глупая, господи…

В тот день Петя возвратился из Коммерческого суда раньше, чем намеревался. Она его еще не ждала и стояла в кабинете перед книжным шкафом, читая названия на корешках и соображая, что бы взять почитать. Ведь все то, что знали Петины товарищи, они из книг почерпнули. А у нее что — разума не хватит самой до всего дойти?

Она так и не нашла ничего подходящего и в печальной задумчивости присела на стул. В этой позе и застал ее Петя. По лицу, должно быть, догадался о том, что делается у нее в душе. Встревоженно спросил, чем она расстроена. Удерживаясь от слез, Наташа принялась не слишком вразумительно изливать свои горести.

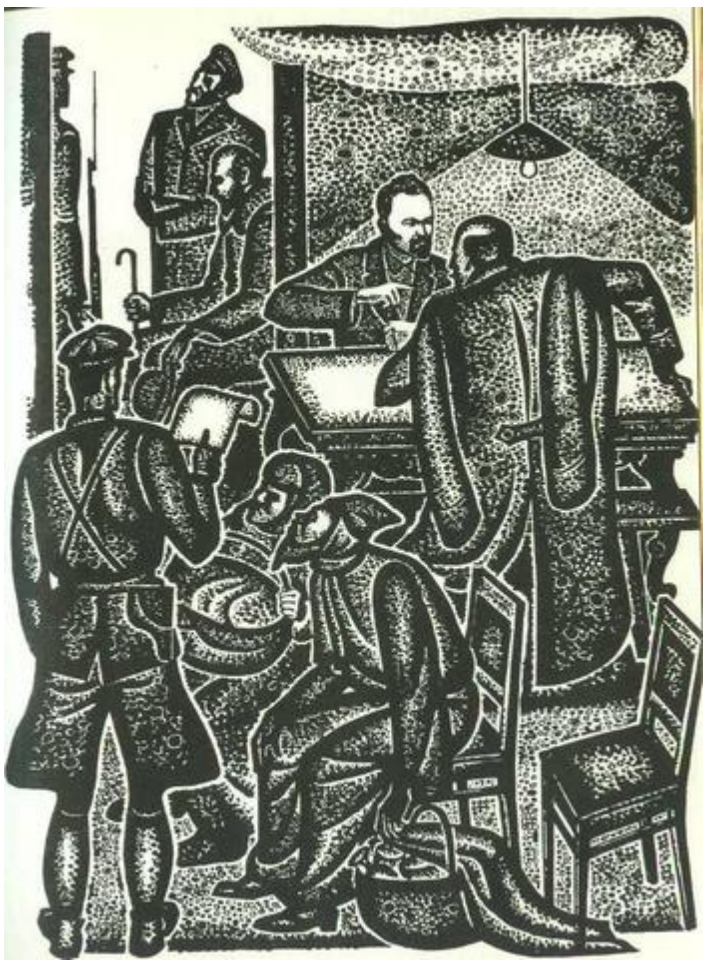
— Удивила ты меня, — строго сказал муж. — Зачем из-за этого переживать? Правильно ведь решила — нужно учиться, читать. Тогда не будешь чувствовать себя такой беспомощной. Станешь больше понимать. Хотя, между прочим, бывает, что ничего не понимают и весьма образованные люди. Давай подберем книги сегодня. Зачем откладывать?

Поговорили они тогда, и сердце ее успокоилось. Но вот на другой день опять пришла Елена Дмитриевна, и все словно бы стало прежним. Непостижимой, недоступной ее разуму женщиной была Елена Дмитриевна Стасова. Высокая, в пенсне, в строгом закрытом платье, немногословная и по-мужски суровая, она обладала безмолвно признанной всеми властью над людьми. Перед ней все гости Красиковых — и Петя тоже — робели, словно гимназистки перед классной дамой. Наташе хотелось хотя бы чуточку быть похожей на нее.

Вначале в душе поселились подозрения чисто женского свойства. Но вскоре она поняла, что ревность здесь неуместна. Зато на смену ей пришло иное, не менее досадное чувство. Рядом

с Еленой Дмитриевной она выглядела слишком уж серенькой и неинтересной…

В середине февраля Петя простыл и слег. По вечерам температура поднималась до тридцати девяти. Чтобы находиться поближе к телефону, он лежал на диване в пропахшем лекарствами кабинете и выходил в столовую только изредка, когда ему становилось легче или когда там собирались товарищи. А обыкновенно лежал сердитый и от досады без конца курил. Ей нельзя было от него отойти. Он то требовал звонить Мечиславу Юльевичу, то подать ему свежие газеты, то чернильницу, перо и бумагу. Она видела, он ужасно переживает, и все безропотно сносила.



В четверг двадцать третьего февраля Клавдия возвратилась утром из лавки взбудораженная и распаренно-красная, как после бани. Принялась воодушевленно описывать, что делается в

городе. С Выборгской, с Васильевского, из-за Нарвской заставы — отовсюду рабочих («почти сплошь бабы») идет бесчисленно. Несут они плакаты с одним-единственным словом: «Хлеба!» А полиции и казаков на улицах не видать.

С того дня все и пошло. Рабочие демонстрации сделались едва ли не обязательной приметой Петрограда. По утрам ото всех заводских окраин к центру черными потоками текли колонны, как будто потемневшая от ветра вода Финского залива вышла из берегов и заливала улицы, площади, проспекты. Появились баррикады на Литейном, на Лиговке и еще кое-где. Николай Дмитриевич говорил по телефону, что по приказу министра Протопопова полиция устраивает облавы и хватает всех подозрительных.

В воскресенье на улицы были выведены войска. Народ как будто угомонился. А утром в понедельник демонстрации вновь захлестнули город. Николай Дмитриевич сообщил по телефону все главные новости, одна другой неожиданнее. Петя обмотал шею шарфом, надел пальто и ушел. Она заикнулась было о его болезни. Но он так посмотрел на нее, что она сочла за благо вторично об этом не напоминать.

Миновал час, второй, третий. Петя все не возвращался. Ранние февральские сумерки сделали город таинственным и страшным. На душе у нее росла тревога. И сквозь заклеенные окна временами откуда-то долетали удары винтовочных выстрелов и останавливающий сердце треск пулеметных очередей. Где он? Что с ним?

Свет не горел — бастовала электростанция. Наташа зажгла лампу, села в кабинете у окна, стала смотреть вниз. Со стороны Литейного доносился неясный гул, мелькали отблески пламени.

И Клавдия куда-то запропастилась. В квартире стояла ужасающая тишина. Наташа зябко поежилась, принесла из спальни теплый платок. Внезапно раздался стук в дверь. Предвидя дурные вести, пошла по коридору с лампой в руке. Чужим голосом спросила:

— Кто это?

— Квартира Красикова? — прозвучал мужской голос, незнакомый и молодой и потому как будто враждебный. — Мне бы супругу его.

— Сейчас… Минутку…

Руки не повиновались. Ключ никак не попадал в отверстие. Сомнений не было: тот, за дверью, скажет сейчас нечто ужасное. Не имела она права отпускать больного человека из дому. Не имела…

В первое мгновенье Наташа вошедшего как следует не

разглядела. А когда подняла лампу, невольно попятилась — перед ней стоял Костя Федулов, дядин сосед, еще в позапрошлом году, кажется, взятый на войну, после того как он похоронил мать и сестру. Щадя Петю, она ему об этом не рассказывала. И вот — на тебе! — Костя явился собственной персоной. И ведь глядя на него, никак не заподозришь в нем несчастного сироту. Напротив, он выглядит румяным крепышом с лихо выбившимся из-под бескозырки чубом. Шинель подпоясана пулеметной лентой. И весь он как будто распространяет здоровье и уверенность, нисколько не походя на того подавленного бедами паренька, каким она видела его в Озерках.

— Неужели Костя? — зачем-то спросила она.

— Трудно узнать? — Он улыбнулся широко и словно бы беспечно, как человек, совершенно излечившийся от всех печалей. — Мне ведь и Петр Ананьевич то же самое сказал.

— Петр Ананьевич? Ты видел его? Где он? Где?..

— Да не тревожься. В Таврическом дворце он, в Совете! Его от нашей партии в Исполком выбрали. На заседании он остался, а меня вот попросил сюда зайти, предупредить.

— Что же, он там всю ночь пробудет?

— Кто его знает. Может, и всю ночь. Он же теперь — новая революционная власть. Наша власть, большевистская. А ведь их, большевиков, только трое в Исполкоме. Так что нелегко им будет…

— Хоть поесть можно там, в том дворце?

— «Поесть»! Эх ты!.. Революция, а она — «поесть»! — Костя смотрел на нее насмешливо и неодобрительно, затем обвел взглядом коридор, сказал: — Места много у вас, — и, заметно смутившись, проговорил: — Ты не серчай, ладно? — Он забрался рукой в карман под шинелью, достал кисет. — Покурю я, а? Я вот чего спросить хочу: можно мне у вас где-нибудь на кухне или, допустим, в чулане переночевать? А то часть моя знаешь где…

— Конечно, конечно. — Наташа почувствовала себя ужасно неловко. Услышала, что с Петей ничего не случилось, и вовсе поглупела от счастья. Даже в комнату человека не пригласила. — Пойдем-ка, устрою тебя и накормлю. Ты ведь голоден?

— А что? Не откажусь. Можно сказать, с утра ничего не ел.

Наташа сперва повела его в кухню. Поставила на стол съестное и стала с улыбкой наблюдать, как аппетитно ест Костя. А солдат тем временем рассказывал о войне (он успел посидеть в окопах под Варшавой), о сослуживцах своих, о том, как и почему он стал большевиком, и о том еще, как случилось, что именно его, «молодого, да раннего», от батальона в Совет выбрали. Ей сделалось около него спокойно. Тревога улеглась. Присутствие в

доме мужчины — пусть постороннего, пусть того, кто был в ее глазах мальчиком, — возвратило ей душевное равновесие. Она слушала его и безмятежно улыбалась.

Он поел, покурил и сладко зевнул. Она позвала его в Петин кабинет, постелила на диване. Солдат в минуту улегся и тотчас уснул.

Наташа задремала на стуле. Разбудил ее скрежет ключа в замке. Она сорвалась с места и, прикрывая ладонью стекло лампы, быстро вышла в коридор. В прихожей Клавдия развязывала платок. Она, должно быть, не только наблюдала события. На лбу у нее пылала ссадина, под глазом был синяк, пуговиц на пальто недоставало.

— Ты где была? — спросила Наташа шепотом.

— А чего дома сидеть? — по обыкновению во весь голос принялась описывать Клавдия. — Там знаешь чего делается!

— Тс!.. — Наташа поднесла палец к губам.

— Чего это? Хозяин, что ль, спит?

— Петра Ананьевича нет. Гость у нас, солдат, депутат Совета.

— А-а… — понимающе протянула Клавдия и ушла на кухню.

Наташа осторожно открыла дверь кабинета. Костя стоял у окна. «Ох Клавдия, Клавдия! — в какой уж раз вознегодовала Наташа. — Вовек не научится спокойно разговаривать. Чтоб так кричать…»

— Петр Ананьевич пришел? — Костя обернулся.

— Нет, не он это. — Наташа вздохнула.

— Жаль. Не дождусь его, видно. Надо все-таки к себе возвращаться. А то там переполох начнется. Я теперь не просто солдат — депутат Совета. Никак нельзя никому позволять о нас дурное говорить.

При мысли, что он уйдет, ей почему-то сделалось страшно. Наташа, однако, его не остановила. Если уж революция, можно ли о себе думать?

Петр Ананьевич появился дома лишь утром. Был он худ и черен лицом, словно только что вышел из больницы. Но глаза из темных впадин смотрели весело и оживленно. Наташа быстро согрела чай, накрыла на стол. Пока хозяйничала, рассказывала о Косте, о том, что знала о его горе, но скрывала это. Петя слушал молча.

Позже, когда он завтракал, она сидела напротив и не сводила глаз с его небывало утомленного, измученного лица. Не удержалась и заботливо спросила, как он себя чувствует, не надо ли лечь.

— Лечь? — Петя словно бы удивился. — Некогда теперь

болеть. Такие события начинаются, что каждый человек у нас на счету. И я, разумеется, нужен…

Едва перекусив, он ушел. Сказал на прощанье, чтобы она не тревожилась и постаралась никуда из дому не уходить — могут прийти товарищи. В их квартире теперь будет нужда куда большая, чем прежде.

Она спросила, когда он возвратится. Он только плечами пожал. А она еще один день и еще одну ночь провела одна в пустой квартире. Никто не звонил, и никто не являлся. Только с улицы доходили тревожные звуки. А Клавдию черти носили по митингам…

Никого, не дождавшись, она легла, перед самым рассветом. Сна не было долго — все чудились какие-то шорохи, голоса, стук шагов на улице. Затем усталость все же сморила. Со сна она то и дело вскидывалась и безумно глядела по сторонам. Под утро знакомо заскрежетал ключ в замке. «Клавдия!» — обрадовалась Наташа. Набросила на плечи платок, вышла в коридор. Увидела, вернее, угадала в полутьме Петю.

— Ты одна? — спросил он.

— Одна. — Ей отчего-то стало страшно. — Случилось что-то?

— Опять всю ночь заседали. Есть хочу свирепо. И спать. — Он щелкнул выключателем, но лампочка не загорелась. — Бастуют? Превосходно. Пока дело идет неплохо. Посмотрим, как пойдет дальше.

Она ожидала, он хоть поест. А то ведь высох весь за двое суток. Но Петя лишь поковырял вилкой в тарелке, отхлебнул глотка два остывшего чая и сразу открыл портсигар.

— А говорил, голоден, — сказала она укоризненно. — Взгляни на себя — Кащей Бессмертный! Можно ли так?

— Да я сыт вроде. — Он подавил зевоту и жадно затянулся. — Теперь бы неплохо соснуть часок…

Уснул он моментально. Она сидела в кресле, смотрела на его спокойное во сне лицо, размышляла. Отчего так получается? Вот он все время там, где происходит самое важное. И весь народ, можно сказать, революцией живет. Даже Клавдия… А она в стороне.

Но нельзя быть в стороне. Ей даже кажется, что муж стал отдаляться от нее именно по этой причине. Что же делать? Что делать? А ничего. Сказать, что впредь не станет сидеть дома. Пусть берет с собой и дело для нее какое-нибудь находит. Она не хуже других!

Словно бы угадав ее мысли, Петя открыл глаза, сел, сонно улыбнулся. Вгляделся в ее глаза, спросил:

— Скучаешь?

— Да уж. — Она кивнула, нахмурилась. — Надоело сидеть и ждать. Сколько это будет тянуться?

— Не переживай. Найдем дело для тебя.

— Скоро ли?

— Наберись терпения.

— Я давно набралась. — Она вздохнула.

А он опять ушел на весь день. И назавтра было то же. И спустя два дня, и спустя три… Никто к ним не звонил, Федулов не появлялся, не видела она ни Мечислава Юльевича, ни других Петиных товарищей. А клиентам теперь было не до старых дел…

Муж бывал дома не более двух-трех часов в сутки. Уходил рано, возвращался за полночь, а чуть свет опять куда-то убегал. Да и был он все это время словно бы не в себе. Она заговаривала с ним, а он и головы не поворачивал, будто оглох. Однажды она вошла в кабинет и обмерла: Петя стоял лицом к окну и выразительно жестикулировал, словно спорил с кем-то или выступал перед публикой. Услышав шорох за спиной, он поспешно обернулся, спросил словно бы недовольно:

— Который час?

— Не знаю. — Ответить хотелось резко, чтобы он понял, что и о ней нельзя забывать. Спросила, однако, буднично: — Посмотреть?

— Зачем? — Петя достал свои карманные часы. — Мне пора. Ты что-то хотела сказать?

— Нет, нет. — Она уж и позабыла, зачем сюда шла. — Ничего.

Жаль, не удалось поговорить. Но она все равно не станет караулить квартиру. Ночью непременно скажет Пете обо всем. Пусть находит для нее дело. Стоя у кухонного столика и глядя на свое отражение в желтой поверхности примуса, готовила себя к неизбежному объяснению с мужем. Внезапно к ней ворвалась Клавдия, растрепанная и до крайности возбужденная. Сорванным на митингах голосом объявила:

— Все, Наталья, прощевай. Домой подаюсь. Повстречала земляка. Уговаривает. Вы тут и сами управитесь. А без меня у нас в Опушкине революции не будет. Петру Ананьевичу от меня поклон передавай. Собираться пойду. Не гневайся, ежели что не так было.

Наташа кивнула. Клавдия расцеловала ее и ушла в свой закуток. Спустя несколько минут она простучала сапогами к выходу. Наташа показалась себе невыносимо одинокой.

Вдруг зазвонил телефон. «Петя! — Она засмеялась. — Вспомнил!»

— Квартира Красикова? — спросил женский голос. —

Наталья Федоровна? Петр Ананьевич в Совете?

Наташа узнала Стасову и очень смутилась.

— В Совете, Елена Дмитриевна. Будет ночью, обещал. Звоните, пожалуйста.

— Мне нужны вы, Наталья Федоровна.

— Я?

— Ваша машинка в исправности? Просьба к вам. Не перепишите ли для нас некоторые материалы?

— Отчего же? А где их взять?

— Вам занесут. Будете дома?

— Буду, Елена Дмитриевна. Непременно. Нужно было дать «отбой», а она все держала трубку, прижимая к уху. Ждала, не скажет ли еще чего-нибудь Елена Дмитриевна Стасова. Вот оказывается, что имел в виду Петя. Нашлось дело и для нее! Ей позвонила сама Елена Дмитриевна…

III

Разум просвещенного человека отказывался понимать действительность. Это было из рода чудес. Всего четыре года тому назад Россия праздновала трехсотлетие династии Романовых и всенародно желала самодержцу «многая лета» и вот в считанные дни превратилась в республику с политическими свободами, демократическим правительством, имеющим в своем составе даже социалиста — недавнего их коллегу Керенского. А в том здании, где помещалась царская Дума, ныне заседает орган, состоящий из представителей трудового народа, — Совет рабочих и солдатских депутатов. Ни одно важное политическое мероприятие последнего времени не осуществлялось без согласия Исполкома Совета. Приказ № 1 по русской армии, коим отменялись унизительные для солдата приветствия и обращения к офицерам как к «благородиям» и «высокоблагородиям», арест членов царской фамилии, дислокация армейских соединений в столичном округе и на фронте, возобновление работы трамвая, пекарен, заводов и фабрик… Все это было либо делом Исполкома, либо осуществлялось с его ведома и согласия.

Да только ли это? Приходя домой глубокой ночью, Николай Дмитриевич теперь любил устраиваться в глубоком кресле, закурить сигару — благо, с прежних времен сохранился небольшой запас — и посидеть в одиночестве, размышляя. Революция поставила его на весьма ответственное место, ведь он, Николай Дмитриевич Соколов, не просто рядовой депутат Совета, а член его руководящего центра — Исполкома. Так что от его

политической зоркости и умения широко мыслить в известной мере зависят судьбы революции и России. Не случайно ведь не кому-нибудь, а ему была доверена честь открытия первого заседания Совета, не случайно его называют автором исторического приказа № 1. Все закономерно, все естественно. Его судебная и политическая деятельность в прошлом не могли не быть отмеченными общественным мнением. И он, разумеется, оправдает доверие товарищей, как бы ни третировали его Павлович-Красиков и прочие «неистовые».

Он определенно выразил свое кредо в революции — он «внефракционный социал-демократ». И пусть Мечислав Юльевич, Петр Ананьевич называют его «соглашателем», он возражать не станет. Да, он приемлет постыдное, по их разумению, прозвище. Если угодно, он соглашатель! Он за то, чтобы в решающий для России час все лучшее, что есть в народе, боролось сообща. Пока идет война и не сошли окончательно с политической арены верные слуги самодержавия, не время для сведения старых счетов. На месте монархии возникла демократическая республика. При нынешних условиях всем партиям обеспечена свобода. Чего еще?

Непостижим человек. Нет пределов его аппетитам. Скажи Красикову месяц тому назад, что в России не станет царя, что большевики смогут работать легально и даже издавать ежедневную газету без всякой цензуры, что он и его товарищи по партии войдут в орган, контролирующий правительство, он, конечно же, согласился бы, что о большем и мечтать грешно. А сегодня этого мало. Подавайте ему, видите *288* ли, диктатуру пролетариата и немедленный — немедленный! — мир. Мы все за мир, за мир, как вы того хотите, без аннексий и контрибуций. Но не в ущерб же революции и не в ущерб России. Если мы пойдем на сепаратный мир с кайзером, это обернется против нас. Мы потеряем союзников и погубим революцию. Но Петр Ананьевич со товарищи никого слушать не желают. Для них нет ничего важнее демагогических лозунгов о мире, братании и тому подобном.

И вообще они не упускают даже самого второстепенного повода для обострения разногласий. Сегодня, к примеру, на заседании Исполкома внезапно вспыхнула нелепейшая дискуссия по ничтожному вопросу — о присяге. Разрешить спор было совсем не трудно. Ведь все очевидно: пока нет созданного Учредительным собранием правительства, войска должны присягать на верность правительству Временному. Однако бесспорное для всякого мало-мальски непредубежденного человека положение можно запутать и довести до абсурда. Товарищи большевики в этом преуспели.

Николай Дмитриевич слушал их и только руками разводил. Он поражался не столько их фанатичному упорству, сколько себе самому. Как он мог на протяжении нескольких лет сочувствовать этой политической секте и даже, случалось, называть себя «большевиком»? Он ведь никогда не был человеком крайних взглядов. Непримиримость, нежелание или неспособность с уважением отнестись к доводам оппонента — это верный признак узости.

Столь ожесточенно спорить из-за несущественных формулировок, отдавая себе отчет, что все это — и присяга, и правительство — временно, недолговечно, можно лишь либо из желания повредить плодотворной работе, либо вследствие слепоты. И как умно он их поддел! Он попросил слова и сказал все-таки то давешнее сравнение, составленное еще на предыдущем заседании: вообразите группу политических узников, бежавших из тюрьмы. Они еще не ушли от погони, в любую минуту их могут настичь и вернуть в узилище. Наши же беглецы, вместо того чтобы поскорее уходить, затевают теоретическую дискуссию о том, как лучше организовать побег. Не напоминают ли мои воображаемые герои товарищей, только что здесь выступавших? Аналогия была довольно точная, и выраженная в ней мысль, если пренебречь ложной скромностью, достаточно глубокая. Чем же ему ответили?

Первым, как водится, ринулся в бой Павлович-Красиков. Слушать его было невыносимо. В каких только смертных грехах не обвинил он бывшего учителя и товарища! И с какой желчной иронией это было преподнесено! Мол, есть среди нас люди, видящие смысл своей работы в Совете в том, чтобы примирять всех и вся: социалистов — с буржуазным правительством, разговоры о мире без аннексий и контрибуций — с идеей союзнического долга. И эти соглашатели именуют себя революционерами! Примирять непримиримое — это предательство рабочего класса.

Никогда в жизни не испытывал Николай Дмитриевич такой обиды, как во время выступления Красикова. Но он погасил раздражение и после заседания окликнул своего обидчика. Красиков подошел неохотно.

— Быть может, с соображениями партийной этики мой поступок согласуется не вполне. Но я, Петр Ананьевич, — сказал он подчеркнуто официально, — неважный политик. Я прежде всего адвокат, служитель справедливости. По моему глубочайшему убеждению…

— Вы действительно неважный политик, — перебил его Красиков. — Поймите вы, пятидесятилетний младенец,

отвлеченной справедливости нет и быть не может. Человеческая история — не уголовный процесс, и защитник подсудимого — это еще не борец за освобождение угнетенных. Вы называете себя «борцом за справедливость». Но не ведаете, какую справедливость отстаиваете.

— Но, Петруша…

— Мы еще поговорим об этом. А сейчас, простите, меня ждут.

Он быстро пошел по Литейному к Неве. Николай Дмитриевич повернул домой на Сергиевскую. Впервые он почувствовал себя пожилым и очень одиноким человеком.

Собственно, с одиночеством в общепринятом смысле Николай Дмитриевич смирился давно и умел уравновешивать его иными радостями. На первое место он привык ставить судебную и общественную деятельность. Немногие из коллег могли в этом с ним сравниться. Ни одной значительной кампании, подчас чреватой осложнениями, не прошло без участия Соколова. В работе он, в отличие от большинства коллег, менее всего руководствовался соображениями выгодности или доходности дел. Никто, пожалуй, не провел такого количества политических защит, как присяжный поверенный Соколов.

Почти столь же заметное место в его жизни занимала мужская дружба. Друзьями он был не обижен. Правда, таких, кому можно во всем довериться, едва ли насчитаешь с полдюжины. Да и эти теперь обманывают ожидания.

Вот, скажем, Александр Федорович Керенский. Еще в те времена, когда его избрали в Четвертую Думу, он возомнил себя великим государственным деятелем и на друзей стал смотреть свысока. Многие объясняли это его молодостью — в тридцать с небольшим человеку недостает еще житейской мудрости, чтобы понять суетную призрачность славы. Впрочем, подобной мудрости недостает и в более зрелые годы. Но Керенский все же чрезмерно тщеславен. Его натура ныне проявляется особенно. Сделавшись министром Временного правительства и заместителем председателя Исполкома, на недавних товарищей он и вовсе не обращает внимания. С лица его не сходит маска бессмертия. В наклоне головы, в рукопожатии, в приветственной улыбке — во всем театральность и отрепетированность, рассчитанные на взгляд со стороны, на фотографов и газетных репортеров.

Неужели так уж оскудела Русь, что нет среди ее интеллигенции людей, достойных министерских портфелей? Право же, их достало бы с избытком. Но так устроен род человеческий, что людям нравится, когда ими командуют провинциальные лицедеи.

И все же более всего горечи на душе Николая Дмитриевича

было из-за теперь уже несомненного разрыва с бывшим помощником. В Петре Ананьевиче ему импонировало буквально все: и прямота в словах и поступках, и редкостная интеллигентность, и даже привычка резко поворачиваться всем туловищем к говорящему, если ему было не по душе то, что он слышал…

Разумеется, Николай Дмитриевич и в мыслях не сравнивал себя с ним по части заслуг перед революцией. Но ведь и он, Соколов, тоже кое-что делал. Пусть не сидел он в Петропавловской крепости, не бывал в ссылке, не эмигрировал за границу, но сколько политических обязаны ему десятками лет свободы, а то и жизнью! О деньгах, переданных для эсдеков, и о нелегальных, скрывавшихся у него от охранки, он и не вспоминает, ибо не видит в этом никакой заслуги. Так поступали все порядочные русские интеллигенты. К сожалению, их было меньше, чем хотелось бы…

В прежние времена Красиков при всей своей бескомпромиссности все же не считал зазорным дружеское общение с Соколовым. Конечно, же, между ними не все было гладко… Случалось, помощник, а позже — коллега, в разговоре с Николаем Дмитриевичем внезапно вскидывал голову, щурил глаза и, пренебрегая добрыми отношениями, набрасывался на него, как на врага. Но во всем его поведении была такая убежденность, что Николай Дмитриевич не мог обижаться. Напротив, он обыкновенно делал первый шаг к примирению. В прежние времена это удавалось. Они не были тогда так далеки…

Сегодня и в квартире все производило на него впечатление чего-то потустороннего, явившегося сюда из иной жизни. Аптечка на стене, вешалка, еще более бесполезная оттого, что на ней заброшенно висело единственное пальто, составленные в ряд пустые стулья, номера «Нивы» из дореволюционного времени.

Шкатулка с сигарами с незапамятных времен стояла на подоконнике в кабинете. Ее полированной поверхности касались десятки людей. Но только Николай Дмитриевич способен был оценить содержимое этой шкатулки. Едва ли не у всех присяжных поверенных были свои слабости. У одного — карты, у другого лошади, у третьего — женщины. Слабостью Соколова издавна были сигары. Он знал в них толк и всегда имел про запас две-три сотни первоклассных гавани. Даже в войну не перешел он, подобно некоторым коллегам, на папиросы или трубку. Сигары для него добывал каким-то образом знакомый таможенный чиновник.

А вот после революции и таможеннику оказалось не под силу доставать сигары. И Николай Дмитриевич, открывая заветную

шкатулку, всякий раз огорченно думал, что очень скоро увидит на дне последнюю…

Хлопнула дверь в конце коридора, щелкнул выключатель, полоска света от неплотно притворенной двери рассекла кабинет. Из коридора послышались шаги. Николай Дмитриевич не изменил позы, лишь вяло удивился: «Мечислав Юльевич? Зачем пожаловал?»

В прежние времена появление Мечислава Юльевича Козловского только обрадовало бы его. Козловский вступил в адвокатскую корпорацию Петербурга в конце восьмого года. Он был мягок и уживчив с людьми. С ним у Николая Дмитриевича едва ли не с первого дня установились ровные дружеские отношения, не омраченные никакими размолвками, если не принимать в расчет, разумеется, естественных для мыслящих людей споров по всевозможным отвлеченным поводам. И надо отдать должное Мечиславу Юльевичу — никогда не выходил он из границ. При самых твердых большевистских убеждениях он, в отличие от Красикова, не позволял себе оскорбительных выпадов, щадил самолюбие противника, стараясь гасить пламя, а не раздувать его.

Во всяком случае, когда у Мечислава Юльевича возникли трудности с помещением для кабинета, Николай Дмитриевич предложил молодому коллеге вести прием в одной из пустующих комнат своего обширного жилища. И вот уже почти десять лет на двери его квартиры рядом висят две таблички из бронзы: «Присяжный поверенный Соколов Н. Д.» и «Присяжный поверенный Козловский М. Ю.» А в стене белеют две кнопки электрических звонков.

В последние недели Козловский появлялся здесь всего два-три раза. Работы у присяжных поверенных убавилось. Новый суд лишь рождался, адвокаты занимались политикой. Козловский, как и прочие большевики, в свободное от заседаний Совета и Исполкома время пропадал в заводских районах, митинговал, а быть может, занимался в своем кругу выработкой каких-то тайных большевистских планов. На Сергиевскую он приходил только в сопровождении кого-нибудь из своих. Они все по отношению к Соколову держались отчужденно. Сам же Козловский всегда был приветлив и ровен. Редкостный нрав у человека!

— Здравствуйте. — Николай Дмитриевич вышел в коридор.

Мечислав Юльевич, не оборачиваясь, молча кивнул.

— Глазам своим не верю: вы сегодня один? — Досадно было чувствовать, как губы сами собой растягиваются в искательной улыбке. Но вернуть лицу приличествующее моменту независимое выражение не хватало сил. Хотелось дружеского участия.

— Не догадывался, что вы дома, — не ответил на реплику Козловский. — Света в окнах нет, в квартире — ни звука. Прежде не знал за вами тяги к уединению в темноте. — Мечислав Юльевич вошел в кабинет. Невысокий, широкий в плечах, приподнявшись на носках, он искал что-то в книжном шкафу. — Нашел наконец-то, — сказал удовлетворенно. — Старые записи. Жаль было потерять. — Мечислав Юльевич спрятал найденное в портфель, повернулся. У него было круглое простецкое лицо. Пенсне казалось чуждым на нем. — Зайду за книгами. В кабинете нужды нет, а книги могут понадобиться.

— Комната все равно пустует, — удрученно произнес Николай Дмитриевич. — Зачем вам отказываться от нее?

— Видите ли, следует смотреть правде в глаза. Я не хочу вас обидеть, но если прежде мы могли работать рядом, не возбуждая взаимной неприязни, то впредь… Теперь многое изменилось. Вот вы перестали считать большевиков своими. Ваши товарищи — социал-патриоты, наши противники. Как же…

— Ничего подобного! — перебил его Николай Дмитриевич. — Мы с вами остались товарищами. Я ведь не настаиваю на вашем отречении от взглядов. Полагаю все же, что это не значит во всех вопросах автоматически следовать указаниям вождей. Но вы сами на протяжении многих лет отталкивали меня, не питали ко мне… — Соколов неловко умолк. Козловский внимательно на него поглядел и покачал головой:

— Николай Дмитриевич, Николай Дмитриевич! Вам ли так рассуждать? Разве в партию вступают по приятельскому принципу? В том-то и сила нашей партии, что мы, несмотря ни на какие заслуги, критикуем ошибки товарищей. И менее всего озабочены, обидят ли кого нелицеприятные речи. Петр Ананьевич, к примеру, — вы знаете не хуже меня — способен довести до белого каления кого угодно. Так что не все у нас причисляют его к друзьям. А вы говорите, мы вас отталкиваем. Большевика от партии не оттолкнешь.

— Я все же не способен вас понять, — Соколов пожал плечами.

— Потому-то вам и ближе Чхеидзе и Скобелев, чем мы.

IV

Александр Федорович Керенский совмещал обязанности министра и заместителя председателя Исполкома. В первые дни после Февраля не найти было в столице другого столь же занятого политического деятеля. Он сутками не бывал дома на Загородном проспекте.

И на заседания Исполкома Керенский попадал не всегда. Конечно, Совет — это важно. Но не поставишь ведь его на одну доску с правительством. Любому искушенному политику понятно, что, как только положение стабилизируется, роль Совета будет сведена к нулю. А пока не улеглись страсти, надо с ним считаться. Это орган масс.

Александр Федорович, образованный юрист-государственник, не обманывался относительно дальнейшего развития русской революции. Россия не первой вышла на этот головоломный путь, когда день равен годам спокойной жизни. Достаточно вспомнить Францию конца восемнадцатого века. Там тоже первоначально власть была у масс. Но постепенно река государственной жизни вошла в естественное русло. То же со временем будет и в России…

Ныне же Александр Федорович знал, что нельзя игнорировать Совет, и старался, по возможности, посещать все заседания Исполкома.

Присутствие Керенского действовало на членов Исполкома подстегивающим образом. При нем старались не нарушать регламент, воздерживались от реплик. Прежде чем начать рассмотрение очередного вопроса, Чхеидзе неизменно совещался шепотом с Александром Федоровичем, иными членами президиума пренебрегая. Наклона головы Керенского бывало довольно, чтобы председатель приступил к делу.

Уже до заседания Исполкома тридцать первого марта все были настроены на воинственный лад. После того как на Всероссийском совещании меньшевики и эсеры вотировали свою резолюцию о войне, большевики откровенно готовились к неизбежному столкновению с ними. Перед началом заседания они группой курили в коридоре, хмуро переговаривались. И в комнату Исполкома они вошли вместе. Молча устроились в своем углу, не глядя на прочих членов Исполкома. Те в свою очередь сделались озабоченными и как бы заняли боевую позицию.

Последними появились Чхеидзе и его ближайшие сподвижники. Заняли места у стола президиума. Чхеидзе встал с

листиком бумаги в руке:

— Товарищи!

Внезапно вошел Керенский. Наклонив голову вперед и заложив руку за борт пиджака, он пересек пространство от двери до президиума, сел между Чхеидзе и Авксентьевым. Чхеидзе посмотрел на него вопрошающе. Керенский наклонил голову:

— Продолжайте, пожалуйста.

— Товарищи! — повторил Чхеидзе. — Прежде чем приступить к повестке дня, предоставляю слово товарищу Церетели.

Ираклий Церетели порывисто поднялся и, волнуясь, сообщил о приезде Георгия Валентиновича Плеханова. «Великий изгнанник», как называли его в приватных разговорах члены Исполкома, возвращался после сорокалетней эмиграции. Покинувший Россию юношей, он стал теперь закаленным в политических схватках вождем социал-демократии и признанным всей Европой теоретиком марксизма.

Исполком проникся волнением Церетели. «Удалось-таки президиуму увести от полемики об отношении к войне», — негодовал Петр Ананьевич. И действительно, Чхеидзе сразу приступил к выбору депутации для торжественной встречи Плеханова. Для приветствия от Совета на Финляндский вокзал делегировались Чхеидзе, Скобелев и Церетели.

Пока обсуждались детали торжественной встречи, Красиков наблюдал за Керенским. Губы Александра Федоровича кривились в усмешке (что ему какой-то там Плеханов!), но иногда он спохватывался, и на лице его вновь появлялось выражение монументальности.

Заседать закончили к вечеру. Депутация отправилась на Финляндский вокзал, а остальные спустились в Екатерининский зал, где работало Всероссийское совещание делегатов Советов. Солдатские гимнастерки, офицерские мундиры, косоворотки, студенческие тужурки, чиновничья форма различных ведомств, адвокатские костюмы — участники совещания образовали несколько разнородных групп, по-разному реагировавших на столь же разнородные речи с трибуны.

Около полуночи дворцовый зал огласился таким ревом, словно к стенам Таврического вплотную приблизился грохочущий океан: в президиуме появился Плеханов. Красиков с любопытством наблюдал за ним. Он еще втайне надеялся на возвращение Плеханова к большевикам и с тревогой ожидал, что скажет он, возвратясь на родину.

Услышать программную речь Плеханова ему случилось лишь второго апреля. Пока Георгий Валентинович говорил о гордости

за народ его страны, о том, что сбылось его предсказание: «русское революционное движение восторжествует, как движение рабочего класса, или оно никогда не восторжествует», о своей роли в подготовке революции, Красиков был спокоен. Петр Ананьевич ждал главного: каким видит Плеханов текущий момент, на чьей стороне его симпатии? И вот он услышал:

— Товарищи, я не хочу, чтобы между нами оставались какие-нибудь недомолвки, и, обращаясь сегодня к вам впервые, я не могу не вспомнить, что меня не раз называли социал-патриотом… Что значит социал-патриот? — Человек, который имеет известные социалистические идеалы и в то же время любит свою страну… И когда я признаюсь в этой любви, разве кто-нибудь обвинит меня в преступлении? Я всегда был за освобождение русской трудящейся массы от ига ее домашних эксплуататоров. Но когда я увидел с полной ясностью, что к числу Романовых, к числу их приспешников, к числу всех тех, которые стояли жадною толпой у трона, к числу угнетателей домашнего происхождения спешат присоединиться Гогенцоллерны, спешат присоединиться немцы, то я сказал наша обязанность — защищать весь русский народ также от немцев, от Гогенцоллернов…

Вот ведь на какой демагогический ход пошел марксист Плеханов. Спасти Россию и «русскую трудящуюся массу» от империалистических планов Гогенцоллернов! А наши отечественные капиталисты, оказывается, просто невинные жертвы! Они, что ж, не стремятся к захватам чужих земель, к расширению рынков? Пекутся о благе «русской трудящейся массы»? Ах, Георгий Валентинович, Георгий Валентинович! То, чего может не понимать блуждающий всю жизнь в политических потемках господин Пешехонов, не можете не понимать вы!

Тринадцать лет, со времени Амстердамского конгресса Второго Интернационала, не встречался Красиков с Георгием Валентиновичем и теперь с большим волнением смотрел на Плеханова, ревниво вслушивался в его слова. Но чем дольше говорил Георгий Валентинович, тем горше становилось на душе у Красикова. Даже наружность Плеханова вдруг представилась враждебной: бывший учитель и товарищ казался высокомерным и чужим…

— Теперь мы сделали революцию, — продолжал Плеханов, — и должны помнить, что если немец победит нас, то это будет означать большую вероятность восстановления старого режима. Вот почему нам необходимо всемерно бороться как против врага внутреннего, так и против врага внешнего.

Петр Ананьевич с горечью подумал: «Нет, в одном ряду с большевиками Плеханов уже никогда не будет». Это была одна из

многих невосполнимых утрат на его долгом пути революционной борьбы…

Экая досада! Болезнь заточила его дома. Выбежал разгоряченный после стычки с Ногиным во время обсуждения вопроса о Временном правительстве, и вот результат. Горло жжет, голова раскалывается, знобит. Врач распорядился ни под каким видом не вставать с постели. Что он понимает, врач? Если душа не знает покоя, станешь ли печься о теле? Что происходит сейчас там, на совещании делегатов Советов? Соглашатели и без того имели ощутимый перевес над большевиками. А после возвращения Плеханова — пусть растерявшего и революционность свою, и прежнюю силу влияния на массы, но все же Плеханова! — преимущество оборонцев заметно возрастет. Сумеют ли товарищи дать им бой? Важно не дрогнуть перед их объединенной силой. Революцию творят не те, кто избегает опасности и риска.

На его плечо легла Наташина рука. Он повернулся к жене. Она таинственно улыбалась.

Вот уже недели две как Наташа сделалась добровольной помощницей Стасовой и выполняла всевозможные поручения Секретариата ЦК большевиков. Переписывала на машинке тексты листовок, материалы для рассылки по районам и на периферию. Случалось, ее приглашали поработать в редакции «Правды» на Мойке.

Петра Ананьевича радовало, что Наташа не осталась в стороне от событий, что у нее появилась пусть техническая, но все же партийная работа. Это ее основательно встряхнуло, настроение стало лучше, ровнее. Наташа почти ежедневно бывала на митингах, на собраниях, сделалась своим человеком во дворце Кшесинской. На похоронах жертв революции она шла в колонне большевиков.

— Опять лекарства? Не буду. Надоело! — решительно отказался Нетр Ананьевич.

— У меня новости. — Наташа по-прежнему улыбалась. — Получено письмо с фронта от… Петра Красикова.

— От Петьки? — Петр Ананьевич сел на диване, поспешно взял конверт, прочитал адрес. — Садись-ка, Наташа, давай читать.

— Я сама потом, — возразила она мягко. — Сейчас некогда. От Елены Дмитриевны скоро придут, а я еще не управилась.

Она ушла, и из ее комнаты спустя минуту донесся стрекот пишущей машинки.

Вскрывая конверт, он подумал, что сегодня ей не грех было

несколько пренебречь усердием в работе. Не так уж часто в их жизни случаются события, подобные нынешнему. Он получил первое в жизни письмо от сына! А она убежала к машинке…

Петр Ананьевич развернул сложенный вчетверо лист бумаги.

«Дорогой отец!

Прежде не давал о себе знать, за что прошу извинения. Понимаю хорошо, незачем было отмалчиваться. Только так уж вышло. Я ведь тебя почти не помню. Навязываться было неловко. А на днях в моем полку (меня недавно выбрали командиром полка) откуда-то появились „Известия Петроградского Совета“. Читали мы газету в штабе. Вообрази, какое было удивление, когда товарищи увидели в числе членов Исполкома „Петра Красикова“ (это ведь и мое имя!). Насели на меня, и ничего не оставалось делать, как рассказать о тебе и наших семейных делах. Закончилось это тем, что меня едва ли не силой заставили взять отпуск и отправиться в столицу, чтобы повидаться с отцом и расспросить его, тебя то есть, что думает новая власть о мире. Не знаю, как ты к этому отнесешься. Не помешаю ли тебе, не стесню ли? В иные времена не посмел бы приехать без приглашения. Ныне же все по-другому. Подробно поговорим при встрече. Буду числа десятого.

Фронтовой привет от сослуживцев.

Целую, твой сын поручик

Петр Красиков».

Десятого Петька будет в Питере! Чудак человек, о чем он тревожится? «Не помешаю ли, не стесню ли?» Если бы он знал, какую радость доставило отцу его письмо!

За стеной стучит машинка. Петр Ананьевич теперь признателен Наташе. При ней неловко было бы поднять повлажневшие глаза. Он пошел с письмом в ее комнату и объявил с порога:

— Десятого он будет здесь!

Наташа оторвалась от работы, посмотрела на него с улыбкой. Под ее взглядом он почувствовал себя поглупевшим от счастья. Она произнесла таким тоном, словно внезапно сделалась намного старше мужа:

— Вот и хорошо. Познакомлюсь и я с твоим сыном. Интересно, похож ли он на тебя? — и спросила строго: — Зачем встал?

— Петьке двадцать пять… двадцать пять… — Петр Ананьевич закурил и принялся ходить по комнате. — Совсем взрослый сын! А ведь я вовсе его не знаю. Не знаю родного сына…

— Ступай-ка ложись. — Наташа взяла его под руку и настойчиво потянула к двери. — Приедет сын, а ты с температурой. Хорошо же встретишь его! Пойдем-ка, пойдем.

Едва только они вошли в кабинет, как зазвонил телефон. Трубку взяла Наташа. Петр Ананьевич обратил внимание, что после первых же услышанных фраз изменилось выражение ее лица. Оно сделалось растерянным и беспомощным.

— Сегодня? Вы говорите — сегодня? — переспрашивала Наташа. — Нет, нет, я передам. Вот этого не знаю. У него температура.

— Что случилось? — Он едва дождался конца разговора.

— Сегодня приезжает Ленин.

— Сегодня? В котором часу?

— Ночью. После одиннадцати. Все собираются у дворца Кшесинской к семи вечера.

— Дай костюм.

— Петя!?

— Наталья! Дай костюм!

Весна! Теплынь! Людей на улицах — тьма. Повсюду флаги, флаги, флаги. От красного рябит в глазах. Идут отряды красногвардейцев с винтовками, в пулеметных лентах, по мостовым катят извозчики. У закопченных стен Судебной палаты митингуют.

Обыкновенная жизнь революционного Петрограда… И ведь пока никто на улицах, должно быть, не знает о приезде Ленина. Петр Ананьевич останавливается у толпы митингующих и, улучив минутку, громко объявляет:

— Товарищи, сегодня приезжает Ленин.

К нему поворачиваются едва ли не все головы.

— Сегодня? Почему мы ничего не знаем?

— Приходите к Финляндскому вокзалу к десяти.

Во дворце Кшесинской суматошно. Дворец наводнен шумом, беготней и выглядит не таким деловито-спокойным, каким привык его видеть Петр Ананьевич. Голоса звучат громче, чем всегда. Хлопают двери, трещат пишущие машинки, кто-то надрывается у телефона:

— Телеграмму в Кронштадт! Да, телеграмму! Бронедивизион мы известим сами. Сами! Собираться в семь. Здесь!

Петр Ананьевич здоровается за руку с Еленой Дмитриевной Стасовой, Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем. Все в

приподнятом настроении. Лишь Елена Дмитриевна, по обыкновению, не отвлекается от повседневных дел. Просматривает бумаги, подписывает документы, дает указания машинисткам, отвечает на телефонные звонки. И тем не менее она спрашивает Красикова:

— Что это с вами? Опять компресс?

— Да вот… — он разводит руками.

— Не знаете, Наталья Федоровна закончила? Нужно все хвосты обрубить сегодня. Завтра, скорее всего, будет не до этого.

— Кажется, закончила, — отвечает он и просит: — Елена Дмитриевна, пусть ее позовут сюда. По-моему, ей следует пойти с нами к вокзалу.

— Передам.

Снизу доносится гул голосов и чьи-то команды. Там, очевидно, начинает собираться народ. Бонч-Бруевич обращается ко всем:

— Товарищи, семь часов. Пора!

Шли небольшой колонной человек из двухсот. Пели «Марсельезу», «Интернационал», «Варшавянку». Рослый рабочий-путиловец в черной кожаной куртке нес развевающееся на ветру знамя. Разговоры не смолкали. Говорили о чем-то постороннем, но все думали об одном — о том, что с приездом Ленина начнется новый этап революции.

Ближе к Финляндскому вокзалу улицы сделались как бы теснее от людских толп. Рабочие колонны с красными флагами, воинские — с оркестрами — все сливалось в один сплошной поток. По Литейному мосту медленно двигались броневики. На тротуарах скапливались любопытные. Кое-кто из них пристраивался к шествию.

Из толпы на тротуаре выбежала Наташа и пошла рядом с мужем.

— Ничего подобного никогда не было. Весь город вышел. Никогда не видела столько народа на улицах.

— Чему удивляться? — Обернулся идущий впереди рабочий. — Ленин приезжает. Ленин!

Площадь у Финляндского вокзала являла собой людское море, а высокие дома вокруг — неприступные берега, встающие на пути штормовых волн. Тысячи людей запрудили площадь, и казалось немыслимым пробиться к вокзалу. Колонна большевиков пристроилась в хвост медленно ползущему броневику. Толпа неохотно расступалась, давая путь стальной махине.

Совсем стемнело. В городской мрак с высоких крыш вонзились яркие прожекторные лучи. Они скользили по людской массе, выхватывали из темноты флаги, плакаты, лозунги,

задерживались ненадолго на неподвижных телах броневиков.

Петр Ананьевич и несколько большевиков из Исполкома прошли в парадные комнаты вокзала. Прежде доступ сюда имели лишь члены царской фамилии и их свита. Сейчас здесь был почти весь Исполком. Появились представители районных комитетов, газетные репортеры и фотографы. Несколько меньшевиков и эсеров о чем-то договаривались в уголке…

В половине одиннадцатого вышли на перрон. Народу и здесь было порядочно, однако в сравнении с площадью он казался пустынным. Сюда доходил лишь стойкий отдаленный гул да в освещенных окнах вокзала видны были прильнувшие к стеклам лица — многие надеялись хотя бы из окна увидеть, как будут встречать Ленина.

В одиннадцать часов в черной стене ночи возникло круглое светящееся пятно. Оно быстро увеличивалось. Раскатисто прозвучала команда:

— Станови-ись!

Народ сдвинулся с места, зашумел. И на площади, за вокзалом, возрос гул. Все слышнее и слышнее шипение паровоза, все светлее и светлее ночь.

Громадная, пышущая жаром железная масса локомотива, ослепляя светом фонаря и оглушая свистом пара, медленно подползла к вокзалу и замерла. Пространство огласилось исчезнувшими было человеческими голосами:

— Товарищи, сюда! К пятому вагону!

— Скорее, скорее!

— Куда, куда вы?

— Не отставайте! Поторопитесь же!

Петр Ананьевич быстро шел вдоль вагонов с тускло освещенными окнами. У пятого вагона в четком строю замер почетный караул. Все взволнованы и молча ждут. И вот — наконец-то! Первым по ступенькам сходит Ленин. На лице улыбка, смущенная и как будто растерянная. Глаза еще не свыклись с темнотой, и он щурился, вглядываясь в лица. Внезапно перед ним вырос начальник почетного караула и, взяв под козырек, четко отрапортовал. Ленин отдал честь. Бонч-Бруевич о чем-то шепотом напомнил Владимиру Ильичу. Ленин кивнул и обратился с приветствием к встречающим.

Петр Ананьевич слушал знакомый голос, незабываемые интонации и с трудом преодолевал мальчишеское искушение подойти поближе, всмотреться в лицо Ленина, заглянуть в глаза. Владимир Ильич умолк и направился к встречающим, здороваясь со всеми за руку. Петр Ананьевич в волнении дожидался своей очереди. По мере приближения Владимира Ильича беспокойство

его возрастало.

И вот они друг против друга. Ленин кивнул, улыбнулся, подал руку. А на лице такое выражение, словно бы он говорил: «Вот видите, мы снова вместе. Это хорошо, что вы здесь».

В парадных комнатах Владимир Ильич выслушал многословное приветствие Чхеидзе.

Петр Ананьевич стоял сбоку и неотрывно смотрел на знакомый профиль Ильича не в силах погасить счастливую улыбку. Он слушал фальшивую насквозь речь Чхеидзе и думал снисходительно: «Пусть витийствует. Всем нам ясна цена его слов».

Площадь была той же, какой они видели ее, двигаясь к вокзалу с черепашьей скоростью за броневиком. Те же несметные массы народа, те же скользящие по людскому морю с гребнями красных флагов и плакатов прожекторные лучи, те же застывшие тела броневиков. И все же площадь была не та. От тысячеголосого ликующего «ура» зазвенели стекла в окнах зданий, весь огромный город, казалось, вздрогнул. Из эмиграции возвратились уже и Засулич, и Дейч, и Чернов, и Плеханов, однако ничего подобного эта площадь еще не видела…

Их, вышедших вместе с Владимиром Ильичем, пропустили к броневикам. Ленин шел впереди. Петр Ананьевич старался не отстать и не упустить ни одного его движения. Удивительно прежним, удивительно молодым и крепким остался Ильич. В каждом его шаге, в каждом жесте угадывались уверенность и целеустремленная воля.

Площадь затихла.

Ленин говорил о бессмысленности войны для трудящихся, о значении победы русского пролетариата для успеха революции в международном масштабе, призвал рабочий класс не останавливаться на полпути.

Петр Ананьевич никогда еще, пожалуй, не испытывал такой слитности с народом, как в эту апрельскую ветреную ночь. И это ощущение растворенности своей в массе словно бы возвратило его к тем, теперь уже очень далеким годам, когда все — от рабочих-кружковцев до известных социал-демократов — видели в нем, Красикове, своего товарища. Он чувствовал себя помолодевшим на десять лет.

V

Невская вода мелкими волнами слабо шлепала по отвесным гранитным берегам. По-весеннему полноводная река поднялась

выше обыкновенного уровня и заливала нижние ступеньки каменной лестницы, спускающейся от набережной к воде. По Литейному мосту шли люди в распахнутых пальто, без шапок. Вспугивая воробьев, катили на Выборгскую сторону и обратно синие и зеленые трамваи…

Это сделалось едва ли не обязательным ритуалом: по дороге из Таврического домой Петр Ананьевич сворачивал к Неве и стоял над рекой, пока не остывал разгоряченный злой полемикой мозг. На ум приходили не высказанные вовремя слова, самые убедительные, самые неотразимые, перед глазами вставали лица юродствующих обывателей, тех, что именуют себя рабочими депутатами и щеголяют изысканными речами. Крикливый Дан, лицемерно доброжелательный Чхеидзе, бесстыдно угодничающий перед министрами Церетели, ненавидящий большевиков Богданов…

После возвращения Ленина вся эта прежде непоколебимо уверенная в прочности своего положения публика стала обнаруживать нервозность. О чем бы ни шла речь в Совете, эсеро-меньшевистская верхушка выказывала поразительное единодушие. Так было и четвертого апреля, когда исполкомовские соглашатели попытались устроить нечто вроде суда над Лениным и его спутниками. Как, мол, они посмели возвращаться в Россию по территории вражеской державы?! Богданов так и сформулировал: «Осудить!» На заседание пригласили и Владимира Ильича. Он отвечал на вопросы внешне вроде бы спокойно. Однако те, кто знал его не первый год, видели — возмущению Ленина нет предела. Впрочем, он принадлежал к той редкой разновидности политиков, которым гнев не туманит рассудка, а напротив, делает их более собранными, более способными к логическому мышлению. Ленин так укладывал на лопатки своих обвинителей, что тем не оставалось ничего другого, как «судить» его только взглядами.

Зато на следующий день, уже без Ленина, исполкомовское большинство попыталось взять реванш. На повестке дня стоял один из самых больных вопросов: отношение Совета к Временному правительству. Кабинет отклонил требования о выделении десятимиллионного фонда на нужды Совета и отказался от обмена интернированных германских граждан на русских политических эмигрантов. Менее всего озабоченный сутью дела, пекущийся главным образом о собственном престиже, Церетели разыграл крайнее негодование по поводу произвола правительства. Но видно было по всему — в глубине души он благодарен министрам. Петр Ананьевич внес предложение, чтобы впредь переговоры Временного правительства с контактной

комиссией Совета проводились бы гласно и протоколировались. Казалось бы, ничего кощунственного, ущемляющего Совет в этом предложении не было. Но как взбеленились «ревнители свободы и народовластия»! Красиков дал им время всласть набушеваться и сказал, что вообще Исполком периодически ставит вопрос об отношении к правительству. Ведь совершенно ясно, что большинству Исполкома по душе поведение «господ министров», которые проводят одну линию с меньшевиками и эсерами. Правые взорвались топотом и свистом.

К трибуне выбежал Дан и срывающимся голосом закричал о безобразном поведении товарища Красикова, об «оскорблении человеческого достоинства революционеров». Даже его товарищ по партии Чхеидзе почувствовал, что Дан пересаливает. Он остановил оратора и предложил говорить по существу.

Дан склонил голову:

— Не возражаю. Существо дела таково, что принятие предложения товарища Красикова уничтожит самый смысл контактной комиссии.

Разумеется, большинство проголосовало против предложения Красикова. «За» было подано семнадцать голосов, «против» — двадцать один. Было от чего впасть в уныние…

И вот сегодня…

Большевики настояли на выделении Исполкомом специальной делегации для посещения казарм Волынского полка. Делегации вменялось в обязанность рассеять ложные слухи, распространяемые контрреволюционерами о предполагаемом аресте Ленина.

Едва только было принято решение, как Дан вновь разразился речью. Ему, видите ли, непонятно, почему Совет не выразил до сих пор своего отношения к факту проезда группы политических эмигрантов с Лениным во главе по территории Германии.

Глядя на этого тщедушного беспокойного человечка с фанатично пылающими глазами и слушая его исполненное скандальной драчливости выступление, Петр Ананьевич едва сдерживался, чтобы не прервать его выкриком с места. Но уж когда тот выговорился, он ответил ему должным образом.

— Меня, товарищи, менее всего удивило бы, если бы стало известно, что в числе тех, кто сеет смуту в казармах революционных войск, не последнюю роль играет рабочий депутат — неистовый Дан…

— Вы меня не оскорбите! — выкрикнул тот.

— И не пытаюсь, — ответил Красиков, успокаиваясь. — Дело не в вас. Если бы все сводилось к очередному скандальному выступлению товарища Дана, я не стал бы отнимать времени у

Исполкома. Но я намерен сказать о другом. Кое-кто из называющих себя революционерами, социалистами и даже марксистами мечтали бы остановить революцию на нынешнем уровне. Им нет дела до незыблемости положения буржуазии и помещиков, до нищеты и темноты народной, по ним война пусть продолжается хоть до нового потопа. Потому-то им выгодно хоть в чем-нибудь опорочить Ленина, единственного на сегодня в революции, кто способен поднять массы на решительную борьбу…

— Новый мессия?! — выкрикнул Дан.

Эсеро-меньшевистское крыло извергало ругательства. Тряс колокольчик Чхеидзе. Петр Ананьевич стоял у трибуны, не без удовольствия наблюдая за распоясавшимся исполкомовским большинством. «Ничего подобного прежде не бывало, — думал он. — Теряют контроль над собой „товарищи революционеры“. Аргументов больше нет, остались истерические крики, свист и топот. Пока Владимир Ильич был далеко, они так не беспокоились».

Он услышал голос председателя:

— Продолжайте, товарищ Красиков. Но попрошу впредь не переходить на личности. Это вносит ненужную нервозность.

— Учту. Собственно, все ясно каждому. Поэтому я вношу предложение: признать, что разговоры об осуждении товарища Ленина и его попутчиков, с риском для жизни пробравшихся на родину через Германию, так как иного пути не было, считать недостойными Совета рабочих и солдатских депутатов и впредь не допускать их на заседаниях.

Против этого предложения выступить никто не посмел, и оно было принято без голосования. Но физиономии у членов Исполкома на эсеро-меньшевистских скамьях и в президиуме были весьма кислые…

Наклонившись над гранитным парапетом, Петр Ананьевич устало смотрел на черную в глубине невскую воду. «Какой смысл в такой работе? — размышлял он. — Надо драться, срывать с них маски борцов за народное дело. Главное, ни в чем не поступаться правдой. Правда в каждом действии, в каждом слове обеспечит нам доверие масс. Партии нет нужды ни в чем — ни в большом, ни в малом — отступать от правды. Мы не делали этого прежде, не делаем сейчас и не станем делать в будущем. Можно разглагольствовать о мире, продолжая войну, можно называть себя борцами за социализм и клясться трудами Маркса, оставаясь при этом мелкобуржуазными обывателями, можно обещать землю крестьянам, но и не помышлять об изъятии ее у помещиков, — можно все это делать неделю, две, месяц. Но любая ложь

непременно рано или поздно обнаруживается. Революция для этой публики лишь ярмарка, где можно выгодно продать свои заслуги и убеждения. И пока купля-продажа идет весьма прибыльно. Не сегодня-завтра Россия обогатится новыми последователями Керенского, новыми отечественными Мильеранами. Что же, чем раньше, тем лучше…»

Петр Ананьевич бросил в воду докуренную папиросу и направился на Шпалерную. Сегодня заседание закончилось, не в пример обыкновению, задолго до наступления темноты. И едва ли не первый раз он наблюдал жизнь города при свете дня. Если не обращать внимания на обилие красных флагов, на нескончаемый митинг на углу Литейного и Шпалерной, у закопченных стен Судебной палаты, город был таким же, как в апреле прошлого года. В извозчичьих пролетках и автомобилях катили подвыпившие офицеры, проходили стайки гимназистов и гимназисток, с афишных тумб крикливо зазывали в свой кафе-шантанный рай белозубые размалеванные певички.

Отпирая дверь, Петр Ананьевич услышал незнакомый мужской голос в квартире и моментально сообразил: Петька! Сердце приостановилось, рука обмякла — едва не выронил ключ. Приехал сын!

В самые напряженные моменты — во время жарких схваток в Совете, когда он слушал речи товарищей и врагов и когда сам выступал, не помня, казалось бы, ни о чем, кроме существа полемики, в душе не переставала звучать задетая письмом сына высокая струна.

Петр-младший оказался высоким сухощавым офицером в перетянутой портупеей и ремнем вылинявшей гимнастерке с полевыми погонами, когда-то зелеными, а ныне блекло-желтыми, и до блеска начищенных сапогах. Судя по его виду, он чувствовал себя стесненно и, должно быть, волновался, ожидая отца. Сейчас он с беспокойством всматривался в Петра Ананьевича, не решаясь шагнуть навстречу. Да и отец в первое мгновенье оказался в тисках непривычной скованности. Наташа переводила взгляд с одного на другого. Отец и сын безмолвно разглядывали друг друга, не в силах перебороть неуместную в их возрасте застенчивость.

— Да поцелуйтесь же! — не выдержала Наташа.

И Петр Ананьевич, словно бы только и ожидавший толчка со стороны, бросился к сыну, шагнувшему наконец навстречу, и, вдыхая запахи махорки и вокзалов, обнял своего Петьку.

За обедом они немного выпили. Наташа каким-то образом сумела раздобыть бутылку «смирновской». Петр-младший освоился и, как выяснилось, был человеком словоохотливым и

смешливым. Рассказывал о товарищах, о настроениях в солдатской среде. Но судил обо всем, как показалось Петру Ананьевичу, несколько поверхностно, находя в повседневных событиях чаще всего забавные несоответствия.

«Чему удивляться, — с горечью думал отец. — В семье Кусковых мальчишка мог научиться только жажде благополучия…»

После обеда Наташа ушла к себе, и из ее комнаты донесся знакомый стрекот пишущей машинки. Отец и сын остались вдвоем.

— Рассказывай. — Первым заговорил отец.

— О чем?

— Разве не о чем рассказать?

— Не знаю, что тебе интересно.

— О вас мне все интересно. Как дома, как мать, Гоша? Мирно ли живете с отчимом? Давно ли ты в армии? О чем мечтаешь?

— Конечно, я понимаю. — Петр-младший взял протянутую отцом папиросу, закурил. — Дома что же, как у всех — ничего особенного. Мать здорова. На ней дом держится. Отчим зарабатывает недурно, но на прислугу не хватает. К нам он в общем хорош. С Гошей беда… Болеет. Но фронта и ему не миновать.

— Что с ним? — встревожился Петр Ананьевич, сознавая, однако, что эта новость затронула его слабее, чем должно было быть. «Младшего я ведь вовсе не знаю. Петька хоть лет до семи при мне рос. А Гоша с первых шагов по их правилам жил». — Какой он сейчас, Гоша? — Петр Ананьевич присматривался к сыну, находя в нем некогда дорогие черты Виктории.

— Какой? Молчальник, тихоня… А так со стороны, что же, парень как парень. В гимназии учился недурно. Лучше меня. Любит романы разные читать. Девицам нравится. Но слишком робок. Вообще не от мира сего. Ничего, станет солдатом, поумнеет…

— Это в каком смысле?

— В каком? Да во всех. Человеку нельзя полагаться на доброту других. За себя надо драться…

— Только за себя? — Петр Ананьевич пристально вгляделся в сына. — Ты ни к какой партии не принадлежишь?

— Партий много, отец. И все как будто правильные слова говорят, все как будто за народ выступают. А присмотришься — всякий человек первым делом о себе думает. Вот приезжал к нам один, эсер. Очень сильные речи говорил. Шинель на нем офицерская, погоны полевые. Ребята мои взяли его в оборот: из какой части, мол, где воевал. А он и на фронте-то не был. В

университете лекции читал.

— Большевики у вас есть?

— Где их теперь нет? Есть и большевики.

— И что же? Они тоже о себе в первую голову думают?

— Я знаю, отец, ты — большевик. Но душой кривить не хочу. Не во всем я с вами согласен. С чем не согласен? Время трудное, война идет. Хлеба не хватает, с оружием плохо. Царя выгнали, а порядка пока нет. Время такое, что всему народу надо сообща за дело браться. Войну кончать, от голода Россию спасать. А вы сами все желаете перевернуть. Нет чтобы все вместе — одни, сами!

— Интересно! — воскликнул Петр Ананьевич и подумал: «Не так-то он прост, мой сын». Вслух же сказал: — По-твоему, что же, мы хотим продолжения войны, а Временное правительство, меньшевики и эсеры добиваются мира? Они царя выгнали, а мы при сем присутствовали и наблюдали — руки в брюки?

Петр Ананьевич нервно прошелся по столовой, не глядя на сына. А тот сидел с погасшей папиросой во рту, подавленный. Он пошел на войну добровольно, полагая, что для русского человека защита отечества — священный долг. Воевал храбро. Был награжден анненским оружием и Владимиром с мечами и бантами. Политики же сторонился. Ему казалось, что сейчас надо не между собой драться, а попробовать договориться. Не чужие все-таки — свои, русские, православные. И отцу намеревался сказать об этом по-хорошему. А сказал с вызовом, воинственно, ожесточенно. И как это вышло?

Он поворачивал голову, следя за расхаживающим по комнате отцом. В его душе боролись два чувства: впервые в жизни пробудившееся сыновнее чувство и отпугивающее почтение к политическому деятелю, чье имя появляется в газетах, о чьих речах спорят.

Отец остановился, спросил:

— Я понял тебя так: ты пока намерен выждать, не станет ли ясно, кто возьмет верх?

— Не совсем так. — Тон отца, требовательный и холодный, задел Петра-младшего. — Я вовсе не собираюсь оставаться в стороне. Просто не во всем еще разобрался. Слов слышу много, а что за ними, не всегда понимаю. Да и один ли я? У меня в полку, если хочешь знать, некоторые по три раза из партии в партию переходили за весьма короткий срок. По-твоему, это хорошо?

— Я бы не сказал…

— Вот и я думаю, надо все до конца понять и только тогда выбирать, с кем тебе по пути. Этим шутить нельзя.

— Странно, что ты, фронтовик, до сих пор не постиг разницы между большевиками и прочими партиями. Фронтовикам, я

полагал, понятно, что если бы Временное правительство и заправилы Совета на деле хотели мира, большевики не стали бы помехой.

— Спорите? — В двери стояла Наташа. — Что вы за люди, мужчины! В кои веки отец и сын встретились и не находят ничего умнее, как спорить. Нельзя ли хотя бы на завтра отложить?

— Завтра нам навряд ли придется поспорить, — сказал Петр Ананьевич и улыбнулся сыну. — Утром уйду в Совет, и как знать, когда возвращусь. А не спорить сейчас нельзя. Верно, Петя?

— Получается, — согласился сын без энтузиазма. Его покоробила перемена в настроении отца, мгновенно повеселевшего при виде жены. — Время такое….

Ужинали рано. Наташа расстаралась — стол по: трудным временам был весьма обильным. В отличие от обеда, за ужином почти не разговаривали. «Кто я для него? — уязвленно размышлял Петр-младший. — Чужой, один из тысяч. А если я еще не большевик, то меня и сыном незачем признавать. Как хочешь, а стань таким, как он желает». А отец припоминал давнее, когда он любил сажать первенца на колени и, наслаждаясь его захлебывающимся хохотом, подбрасывать «удалого ямщика». Вырос Петька, с ним уже не потешишься детскими играми.

Обстановку за столом пыталась оживить одна Наташа. Но ее усилия оставались тщетными. Мужчины отвечали неохотно, а то и отмалчивались, оставаясь хмурыми и отчужденными. К концу ужина за столом воцарилось полное молчание. И когда у входа позвонили, все обрадованно встрепенулись.

Открывать пошла Наташа. Возвратилась она с Федуловым. Гость, в новенькой гимнастерке, с Георгием на груди, картинно поклонился:

— Наше нижайшее честной компании, — и спросил: — А это сын Петра Ананьевича? Угадал?

— Еще бы! — засмеялась Наташа. — Садись есть, пока не остыло.

— Благодарствую, некогда. Я на минутку.

— Садись к столу, — указал на стул Петр Ананьевич. — Надеюсь, у тебя разговор не секретный?

— От кого таиться? Все свои, как я понимаю. — Федулов поглядел на Петра-младшего и подвинул к себе тарелку. — Ну и пахучие щи у тебя, Наташа! Лучше нигде не ел.

— Ешь, ешь, герой!

— А я, товарищи, только что Ленина слушал, — сообщил Федулов. — На митинге в Измайловском полку был. Сказать невозможно, что там творилось! Эсеры пришли со своим Онипкой, бой дать хотели. Так их и слушать никто не стал.

Слыхали бы вы, как Ленин говорил! Можно сказать, всему Измайловскому полку мозги перевернул.

— Что же он такого сказал? — спросил Красиков-младший.

— Что сказал? — Федулов поглядел на него с любопытством. — Сами понимаете, всего я не упомнил. А если вообще сказать, то по-нашему говорил, по-пролетарски. Кто, спрашивает, власть в России после революции к рукам прибрал? Буржуи. А чего они хотят? Хотят они, говорит, чтоб своему брату капиталисту жилось не хуже, чем при царе. Правильно? Такое, выходит, на сегодняшний день положение. Должны, спрашивает, солдаты, рабочие и крестьяне-бедняки это терпеть? Не должны! Так что делать? Надо, чтоб вся власть к Советам перешла, чтоб не было полиции, а за порядком и законами следил сам народ, чтоб чиновников царских в шею гнать, чтоб землю помещичью крестьянам отдать. Кто на земле работает, тому и хозяином быть. Верно?

— Это-то верно, — вяло согласился поручик Красиков. — А вот о мире что говорит Ленин?

— О мире? Это я запомнил. Правительство у нас, говорит товарищ Ленин, на сегодняшний день капиталистическое. И у немцев — тоже. И тем и этим война на пользу. Народу от войны достанется голод, смерть, сироты, калеки, а в карманы буржуев набивается золото. Рабочему классу, солдатам, мужикам нужен мир. Потому войну может кончить только то правительство, что рабоче-крестьянский интерес будет помнить. Солдаты-измайловцы и весь прочий народ на митинге товарища Ленина поняли очень хорошо…

Приход Федулова расшевелил Петра-младшего. Петр Ананьевич видел: слова солдата произвели на сына куда более сильное впечатление, чем его отцовские рассуждения. Во всяком случае, пока гость не заторопился в часть, Петр с интересом расспрашивал его о солдатской секции Совета, о настроениях в столичном гарнизоне, о видах на заключение мира. Федулов отвечал, несколько важничая, но все же обстоятельно и в общем толково.

Когда он ушел, отец и сын вновь уединились в кабинете. И на сей раз почувствовали, что отчужденность между ними тает. Сын сознался, что до прихода Кости полагал, что отец на простого человека смотрит свысока. Теперь же видит, что ошибался, и это для него много значит. Отец робко коснулся рукой плеча сына и растроганно произнес:

— Петька, Петька! Обидела нас с тобой судьба…

— Ты и вообразить не можешь, отец, что значит для меня эта наша встреча. Я ведь пока только знал, что где-то на свете есть

мой родной отец, как человек знает, что на небе есть бог. А каков он, этого никто и вообразить не может. Всю жизнь человек живет, верит в бога, но не представляет, как он выглядит. Вот и я, если бы не случай, может, никогда и не встретился бы с родным отцом…

— Оставим. Теперь мы встретились и постараемся друг друга никогда не терять, так ведь?

— Постараемся, отец.

После заседаний Совета Петр Ананьевич теперь торопился домой. Там был дорогой гость. Они обыкновенно засиживались в кабинете до глубокой ночи, и понимать друг друга им становилось все легче. Солдатский депутат Федулов чаще прежнего появлялся на Шпалерной. С Наташей пасынок стал держаться без той с трудом скрываемой враждебности, какую обнаруживал в первые дни. Да и ей не приходилось играть роль равно приветливой со всеми хозяйки дома, совершенно безразличной к тому, как относится к ней взрослый сын мужа.

Все было хорошо, покойно, дружно. Атмосферу эту в семье отравляла, однако, постоянно присутствующая во всем — в разговорах, воспоминаниях, планах на будущее — мысль о скорой разлуке. Петру Красикову предстояло ехать на войну. Они все, однако, старались гнать прочь эту ядовитую мысль.

Первого мая день выдался великолепный — солнечный, безоблачный. Легкий ветерок развевал полотнища бесчисленных флагов на зданиях, столбах, памятниках, над морем демонстрантов. Народ стекался к центру — к Дворцовой, Исаакиевской и Сенатской площадям. Но многолюднее всего было на Марсовом поле. Неподалеку от могил жертв революции, похороненных здесь при таком же стечении народа, были установлены трибуны от различных партий. На каждой из трибун стояли руководители партий. Повсюду были портреты Маркса, Энгельса, декабристов, казненных народовольцев.

Петр Ананьевич с женой и сыном стояли неподалеку от большевистской трибуны и, возбужденно переговариваясь, наблюдали, как Марсово поле заполняется все новыми и новыми колоннами демонстрантов. Лозунги над этими колоннами были самого разного свойства: «Вся власть Советам!», «Да здравствует анархия — мать порядка!», «Да здравствует мир без аннексий и контрибуций!», «Разгромим империалистическую кайзеровскую Германию!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Да здравствует Бунд — единственный революционный представитель еврейского пролетариата!»

В два часа дня на большевистской трибуне появился Ленин.

Весь народ с Марсова поля стал сдвигаться к тому месту, где стояли Красиковы. Вскоре они оказались прижатыми друг к другу, придавленными к шершавым доскам трибуны. Ценой нечеловеческих усилий им удалось протиснуться в монолитную толпу, откуда можно было видеть стоящих: на трибуне товарищей. Петр Ананьевич отвечал на множество вопросов сына и жены, назвал всех, кто был на трибуне. Но вот к деревянному бортику подошел Владимир Ильич, и площадь затихла.

В речи Ленина для него не было, казалось бы, никаких новых открытий, и в манере произносить речь перед огромной массой народа не обнаружил Петр Ананьевич ничего неожиданного. А слушал так, что позабыл о самом себе и о тех, кто стоял рядом. Лишь в то мгновенье, когда Владимир Ильич произнес последнюю фразу, Красиков оглянулся на сына. Тот не сводил с Ленина глаз и тянул нескончаемое «ура»…

Месяц спустя Петр Ананьевич и Наташа провожали Петра-младшего на Варшавском вокзале. Залы ожидания, кассовые помещения, проходы, лестницы, перроны — все было запружено солдатами и офицерами. Вокзал походил на военный лагерь.

Красиковы уединились в укромном уголке между закрытым на замок деревянным рундуком — с него, должно быть, когда-то торговали мороженым — и дверью с табличкой «Дежурный по станции». Мужчины курили. Наташа заговаривала то с одним, то с другим, словно бы опасалась, что они, опечаленные предстоящей разлукой, позабудут сказать друг другу самое необходимое.

Петр Ананьевич достал карманные часы на цепочке, приподнял крышку, посмотрел и сказал:

— Пора тебе, сын, — вздохнул: — Недолго гостил.

— Ничего, война кончится, — невесело улыбнулся Петр-младший, — приеду погостить подольше.

— Пойдем, сейчас подадут состав, — сказал отец.

— Давайте здесь попрощаемся, — предложил Петр. — Там толчея, шум, выражения… не для ушей Натальи Федоровны…

Расцеловались. Петр раскурил трубку, отцовский подарок, посмотрел, прищурившись, как подползает к перрону состав из коротких зеленых вагонов. К ним с криками и руганью рванулись люди в шинелях, с заплечными мешками, винтовками. У вагонов забились, завертелись серые людские водовороты.

— Все, побегу, — сказал Петр. — Приеду — тотчас напишу. Спасибо вам за приют и ласку. Не зря, совсем не зря приезжал к вам. Поумнел. Будет что товарищам рассказать о Петрограде. О Ленине расскажу, о тебе, отец, о солдатском депутате Федулове. Понравился мне Костя. Увидите — привет передавайте. Ну все,

пора.

Петр Ананьевич и Наташа остались на том же месте, смотрели, как поручик Красиков подбежал к серой беспокойной толпе у вагонов, как растворился в ней. Прошло еще несколько минут, и поезд медленно пополз прочь от вокзала. На перроне осталось не более десятка одиноких солдатских фигур, словно бы потерянных поездом.

— Вот и уехал. Незаметно дни промелькнули. — Петр Ананьевич печально смотрел в ту сторону, где скрылись вагоны. Затем усмехнулся: — А ведь он верно сказал: не зря побывал в Петрограде. Во всяком случае, наша правда еще одним путем дойдет до фронта.

VI

Около полудня ему в Совет позвонила Наташа и сказала, что ее просят прийти на Мойку, поработать в редакции «Правды». Там сейчас много дела, а переписывать материалы на машинке почти некому. По голосу жены Петр Ананьевич понял, что она горда и довольна, и спросил:

— А мне зачем звонишь? Посоветоваться хочешь?

— О чем советоваться? Я уже одета, убегаю. Ты, если не слишком поздно освободишься, приходи в «Правду». Вместе домой пойдем.

Заседать они закончили сравнительно рано. Было еще далеко до поздних июньских сумерек, и Петр Ананьевич отправился из Таврического в редакцию «Правды» на Мойку.

В последние месяцы там случалось бывать часто. Ему нравилась редакционная суматоха, забивающие друг друга телефонные звонки, пулеметный треск пишущих машинок, громкие голоса в коридоре и комнатах, мелькание репортеров, редакторов, типографских рабочих, стойкий запах табачного дыма. Но самое главное, здесь, как и во дворце Кшесинской, можно было встретиться с товарищами, узнать последние новости партийной жизни, рассказать о делах в Совете. Здесь едва ли не постоянно находился Владимир Ильич, и, сталкиваясь с ним в коридоре, можно было не сомневаться, он тебя остановит и непременно спросит о том, что действительно необходимо обсудить и ради чего ты, быть может, и явился в редакцию «Правды».

Задумавшись, он шел мимо здания Певческой капеллы. Там, в этом изысканном сооружении, по их сведениям, засели офицеры-монархисты и прочий контрреволюционный сброд,

группирующийся вокруг Комитета увечных воинов. У парадного входа Капеллы постоянно дежурил солдат с карабином. О разорении этого осиного гнезда большевики не раз говорили в Совете, но это пока ни к чему не привело. С крыльца Певческой капеллы сбежал рослый офицер и, едва не натолкнувшись на Красикова, остановился. Петр Ананьевич поднял голову и застыл от изумления. Перед ним в гимнастерке с Георгием на груди стоял заметно постаревший Михаил Гордеевич Трегубов. Густая черная борода его была разукрашена нитями седины. Отливали позолотой погоны капитана. Он, в свою очередь, удивленно уставился на Красикова:

— Здравствуй. Не ожидал встречи в этих краях, да еще в столь поздний час. Газеты пишут, что вы ночи напролет заседаете в своем Совете. А оказывается…

— Что же оказывается?

— Не пойму я, Петр, как это русский — ты-то ведь русский! — может быть заодно с теми, кто бесстыдно предал отечество. Не пойму…

— Ты всегда многого не понимал. А теперь уж возраст твой не позволяет надеяться, что когда-нибудь что-нибудь поймешь. Особенно если принять в расчет здание, из которого ты только что вышел.

На этом, собственно, разговор и закончился. Но с того дня всякий раз, когда он попадал на Мойку, у него появлялось ощущение, словно из окон Певческой капеллы за ним неотступно следят исполненные ненависти глаза Михаила Трегубова.

Наташа ушла за провизией, а он засел за работу. Ему поручили подготовить проект резолюции для Совета — с тем расчетом, чтобы она попала в официальную печать, — по поводу июньского наступления на фронте, предпринятого по воле военного министра Керенского и не принесшего народу ничего, кроме новых жертв и нового позора.

По тому, как быстро открылась и захлопнулась дверь, как часто застучали в коридоре каблуки Наташиных туфель, Красиков догадался: случилось нечто из ряда вон выходящее. Он оставил перо в чернильнице и вышел навстречу жене. Наташа определенно была не в себе — глаза смотрели испуганно, из-под косынки выбились темные пряди волос.

— Что делается! — воскликнула она. — Черная сотня хозяйничает на улицах, словно и революции не было. Корней объявил, что теперь к нам никого не станет пускать.

— То есть как?

— А вот так. «Побаловались, — говорит, — и довольно!»

Большевиков немецкими шпионами называет и Ленина — тоже. «Ваш Ленин, — кричит, — кайзеру Россию за двадцать миллионов продал. Теперь до вас, иуды, доберемся!» Возле него какие-то подвыпившие типы стоят, посмеиваются. По улицам автомобили с пьяными солдатами ездят. В руках у всех винтовки, в народ целятся, ругаются скверно. «Бей жидов и большевиков!» — орут. Я и в лавку не пошла. Прибежала рассказать.

— Да-а, — протянул Петр Ананьевич. Закурил и, возвратившись в кабинет, стал шагать из угла в угол. Наташа следила за ним от двери. Он остановился перед ней, заговорил, сохраняя внешнее спокойствие: — Они погрязли в войне и во лжи и ищут выхода. Им никак не выйти из тупика. Но они цепляются за власть, надеются остановить массы, поссорить их с нами…

Чего он, собственно, всполошился? Это должно было случиться. Многие из них, участников совещания во дворце Кшесинской, вчера еще, когда начались волнения, предсказывали, что, если не удастся остановить стихийное выступление масс, власти обрушатся на революционный пролетариат и будут поощрять самые темные черносотенные силы. Потому-то большинство совещания высказалось против преждевременного выступления или, по крайней мере, за то, чтобы свести его к мирной демонстрации. И все-таки, должно быть, момент был упущен. Вчера Петроград выглядел полем битвы. То и дело вспыхивали перестрелки, по улицам скакали казачьи разъезды, текли многолюдные демонстрации, сооружались баррикады, народ митинговал.

Петр Ананьевич звонил во дворец Кшесинской, разговаривал с Михайловым-Политикусом. Тот сказал, что принимаются все меры, чтобы приглушить волнения масс. Но если, что вероятнее всего, с этим справиться не удастся, большевикам надо будет возглавить демонстрации, чтобы придать им организованный и мирный характер. Петру Ананьевичу он посоветовал отправиться в Совет и попытаться использовать все свое влияние, чтобы Исполком удержал правительство от крайних мер.

Едва Красиков положил трубку, как телефон вновь зазвонил. Он сразу узнал голос Федулова:

— Алё, алё! Петр Ананьевич! Я, я это, Костя. Слыхали, чего началось? Буза везде. Чего звоню? Письмо получил от Петра Петровича. В партию его приняли. Хорошее письмо. После покажу. А пока некогда — бегу в Первый пулеметный, оттуда в Гренадерский. Солдат агитировать надо, правду объяснить, чтоб малость бузу приглушить.

Наташины сведения оказались верными. В парадном Петр Ананьевич встретил дворника Корнея, краснолицего дядьку с

большой бляхой на полотняном переднике, в компании каких-то типов, напоминающих филеров из охранки. Корней зловеще ухмыльнулся:

— Господину большевику наше почтение.

Его дружки захохотали. Петр Ананьевич прошел мимо и быстро зашагал к набережной. «Неспроста это, — размышлял он. — Кто-то подал им сигнал, приказал действовать». «Вожди революции» стараются во что бы то ни стало спровоцировать большевиков на открытое выступление, чтобы одним ударом покончить и с ними, и с самой революцией…

Петроград было не узнать. Красные флаги растворились в массе бело-зеленых кадетских знамен. На углах толпились группами дворники с бляхами, швейцары в форменных фуражках, какие-то подозрительные личности черносотенного толка. Слышались ругательства, проклятья, угрозы.

Петр Ананьевич шел быстро, едва ли не бежал. В голове почти непроизвольно складывались убийственные речи. Их предстояло выслушать его «коллегам по Совету». Они, все эти «революционеры», должно быть, потирают сейчас руки. Дождались своего часа! Их революция свершилась!

Почти одновременно с Красиковым во дворец явились представители Путиловского завода и Первого пулеметного полка, вручили требование рабочих и солдат — «немедленно взять власть в свои руки и объявить Временное правительство низложенным!»

Массы были неуправляемы. Провал наступления на фронте, бесхлебье, лицемерие правительства и «вождей» Совета, демонстративный уход в отставку министров-кадетов с намерением навязать кабинету свою волю — вся эта цепь измен делу революции исчерпала запас народного терпения.

В комнате Исполкома сидели люди с бледными и растерянными лицами. Все они то и дело поглядывали в окна, словно ожидая от народа, волновавшегося за стенами дворца, внезапного взрыва, направленного против них, «народных депутатов».

Речь произносил Дан. Он был на сей раз особенно возбужден. Приходилось внимательно вслушиваться в поток наталкивающихся друг на друга слов, чтобы уловить суть его речи. Петр Ананьевич, разумеется, понимал, что от меньшевистского оратора ничего, кроме хулы большевикам, не услышишь. Но ярость Дана была чересчур уж безрассудной.

— Это они, со своим Лениным во главе, предающие отечество, сумели использовать наивную доверчивость русского пролетариата и пробрались в Советы и различные комитеты.

Пробрались, имея в виду одну лишь цель — способствовать легкой победе кайзера. Позор! Позор им и всенародное презрение! Их будет судить народ. Он будет справедлив!

— Позвольте? — спросил Петр Ананьевич у председателя и встал. — Изобличать господина Дана в контрреволюционности я полагаю излишним. Он это сделал сам, сделал весьма красноречиво. Не нахожу уместным также полемизировать по поводу установления истинных виновников нынешних событий, ибо у меня с большинством присутствующих здесь совершенное несовпадение точек зрения. Для чего же я говорю? Разумеется, вовсе не для того, чтобы убедить большинство Исполкома в том, что события последних дней — это реакция народных масс на политику Временного правительства, контролируемого нашей «контактной комиссией» и тем не менее продолжающего империалистическую захватническую войну в угоду буржуазии, своей и англо-французской. В этом вопросе быть понятым вами я не надеюсь. Хочу сказать об ином. В Петрограде подняли головы черносотенцы, вполне вероятной стала угроза насильственных действий…

— Давно бы так! — выкрикнул Дан.

— От вас, господин «социал-демократ», я ничего другого и не ожидал услышать. Но вы все же здесь не один, и мне хочется верить, что среди ваших сподвижников есть люди и более трезво мыслящие. Вот к ним-то я и обращаюсь. Обстановка с каждым часом становится все более угрожающей. Демонстрации черносотенцев — это первый акт открытой контрреволюции. На очереди следующие. Но если вы, члены Исполкома, искренне называете себя представителями трудового народа, я призываю вас: попытайтесь использовать все свои связи и все свое влияние, чтобы предостеречь правительство от кровопролития!

В помещении воцарилась тишина. И когда он смотрел на кого-нибудь в упор, тот опускал глаза.

Петр Ананьевич поднялся на третий этаж, где совещались большевики Совета. Он рассказал им о разговоре с Политикусом, о том, что видел на улицах, о столкновении с Даном на Исполкоме. Было решено связаться с дворцом Кшесинской, посоветоваться с товарищами из ЦК. Оказалось, там тоже понимали тщетность попыток изменить ситуацию. Было окончательно решено возглавить движение, с тем чтобы придать ему мирный, организованный характер. Большевики, депутаты Совета, отправились на заводы и в воинские части.

Петру Ананьевичу предстояло попасть на Путиловский. Рабочие этого крупнейшего в столице завода были настроены самым решительным образом. На Путиловском ему приходилось

бывать раньше: в пятом году он много раз выступал там перед рабочими. Там, должно быть, его еще помнили.

Его попутчиком оказался Костя Федулов. Он направлялся в Гренадерский полк, расквартированный неподалеку от Путиловского. Ехали в трамвае. Здесь, как и на улицах, все свидетельствовало о крайней степени наэлектризованности народа. Кондуктор свирепо ссорился с пассажирами. Какая-то деревенская тетка с большой корзиной у ног визгливо кричала на до смерти испуганную гимназистку. За окнами Петроград выглядел словно бы изготовившимся к драке. На тротуарах толпились обыватели, у самого трамвайного вагона текли исполненные угрожающей решимости демонстрации. Яркое июльское солнце делало все еще более значительным.

— Что делается! — воскликнул Костя, поблескивая глазами. — Жалко, рано начали. Не то бы…

Он стоял рядом с Красиковым и смотрел на него снизу вверх.

— Большевик? — Вскрик прозвучал внезапно и чересчур громко, так что все пассажиры повернулись в их сторону. — Вот он, иуда! Солдатом вырядился, сволочь! — Кричал стоящий рядом с ними пожилой господин с морщинистым лицом в синеватых прожилках. — А вы, гражданин, — повернулся он к Петру Ананьевичу, брызнув слюной ему в лицо, — зачем слушаете его? Или вы, может быть, с ним заодно? Господа…

— В чем дело? — пробасил кто-то у передней площадки. — Дай пройти, мамаша!

К ним пробирался пожилой человек с темными неотмываемыми пятнами металлической пыли на руках и лице. Он басил:

— Кто тут иуды, кто большевики? Мы их сейчас… — Он подошел и обратился к морщинистому господину. — Что с ними делать? До смерти убивать или, может, отпустим? А вы, господин, в пятом году что с ними делали? Убивали? Может, это и на Дворцовой площади их, иуд…

Спустя минуту в перебранке участвовали все пассажиры. А Петр Ананьевич и Костя, сопровождаемые темнолицым рабочим, выбрались из вагона и продолжали путь пешком.

Красиков шел в колонне путиловцев. По Невскому двигались в пугающем безмолвии. А всего час тому назад на заводском дворе рабочий митинг тысячеголосо требовал смерти предателям. Заводским большевикам и Петру Ананьевичу понадобилось изрядно повоевать, чтобы хоть в малой степени унять ярость путиловцев. И вот теперь рабочие шли по центральному проспекту и безмолвно несли затаенную ненависть. Впереди под

красными флагами, без песен, без громких команд, желтовато-зелеными волнами гимнастерок покачивался строй Гренадерского полка. На тротуарах толпились обыватели. Долетали возгласы:

— Немецкие шпионы!

— Будьте прокляты…

Впереди ударили выстрелы. Сначала — винтовочные, затем — сверху, с крыши или чердака — пулеметные очереди. У Гостиного двора перестрелка длилась минут пятнадцать. Гренадеры, нарушившие было построение, вновь образовали колонну. Над ней взвилось: «Вы жертвою пали…» Песню подхватили, и над Невским поплыла печально-светлая мелодия. Обывателей словно ветром сдуло с тротуаров. На углу Садовой гренадеры подбирали раненых и убитых товарищей. Невесть откуда появились двуколки с красными крестами…

Сна не было всю ночь. Он искурил, должно быть, целую пачку папирос, шагая взад-вперед по кабинету, перебирая в памяти события минувшего дня и: пытаясь предугадать, что ждет их в будущем.

Едва забрезжил рассвет, Петр Ананьевич вышел из дому. Нева спокойно текла между гранитными берегами, лениво отражая наливающееся голубизной предутреннее небо. Он шел вдоль гранитного пара-лета, слушая легкий плеск невских волн. Не понять было, когда и зачем свернул он с набережной, как оказался на Мойке. Ноги будто сами вели его к редакции «Правды».

На Мойке было пустынно. Даже на крыльце Певческой капеллы не маячил солдат с карабином. Лишь несколько поодаль, у двери редакции «Правды», толпился какой-то народ. Предугадав недоброе, Красиков заторопился, предусмотрительно перейдя, однако, на противоположную сторону, к бетонному парапету. Подошел, увидел, что у редакционного подъезда суетятся озабоченные офицеры и солдаты. Скрываются внутри, выбегают, снова исчезают. Зазвенело выбитое из окна стекло, и тотчас на улицу белыми птицами вылетели какие-то редакционные бумаги…

Петр Ананьевич остановился у старой липы с таким расчетом, чтобы толстый ствол дерева скрывал его от глаз военных, беснующихся в помещении «Правды» и под его окнами. Из редакционного подъезда вышло несколько типографских рабочих с опущенными головами, вслед за ними — две девушки-машинистки. Эти, не оглядываясь, заторопились прочь. Затем на тротуар выскочил плотный, чуть седоватый человек в солдатской гимнастерке. Красиков узнал в нем выпускающего редактора «Правды» Константина Степановича Еремеева.

Константин Степанович сошел на мостовую, оглянулся на закрывшуюся за ним дверь, поднял голову, стал смотреть на окна. Оттуда то и дело вылетали изорванные в клочья бумажные листы, фотографии, газетные полосы.

Внезапно раздались выстрелы. Со стороны Певческой капеллы, гремя каблуками по мостовой, бежала группа солдат человек в тридцать. Впереди прочих торопился чернобородый офицер. Петр Ананьевич узнал в нем капитана Трегубова и подумал: «Вот, Михаил, ты и нашел свое место». Трегубое между тем что-то приказал подбежавшему к нему унтеру и исчез в здании. За ним последовали и его подчиненные.

— Константин Степанович, — негромко позвал Красиков.

Еремеев вертел по сторонам головой, пока не увидел Красикова. Еще раз оглянулся на редакционную дверь и пересек мостовую.

— Совершенный разгром учинили, — сообщил он удрученно. — Набор последнего номера рассыпали, все материалы погубили, людей арестовали. Меня вот отпустили. Почему? Солдатская форма выручила. Приняли, должно быть, за курьера. Это все дело рук ваших коллег по Совету и их друзей из правительства.

Петр Ананьевич молчал. Теперь все определилось. Власти получили предлог для открытого гонения на большевиков. «Ну что же, господа, — подумал он, — действуйте. Посеете ветер — пожнете бурю».

— Пойду во дворец Кшесинской, — сказал Еремеев и, оглянувшись еще раз на здание, где до нынешнего утра работала редакция «Правды», горестно добавил: — Там, наверное, еще ничего не знают…

VII

Июль принес большие перемены. Временное правительство и соглашательская верхушка Советов сбросили с себя маски поборников демократии и политических свобод. Вслед за разгромом «Правды» по приказу командующего столичным военным округом генерала Половцева был разгромлен ЦК большевиков во дворце Кшесинской. Как и в царские времена, в тюрьмах оказывались противники власти. Временное правительство отдало распоряжение арестовать Ленина.

Совет перебрался в Смольный к концу июля. Почти все бывшие его «вожди» получили теперь министерские портфели или же сделались товарищами министров. На заседаниях Совета

и Исполкома велись теперь беспредметные дискуссии, казуистические споры. Те, кто не утратил еще надежды выбиться в министры, произносили угоднические речи. Возражали ораторам лишь их соперники в борьбе за министерские кресла. После июльских событий Совет рабочих и солдатских депутатов являл собой жалкую тень бесправной дофевральской Думы.

Николай Дмитриевич Соколов — Красиков теперь встречал его только в Смольном — более даже не стремился выглядеть сторонником большевиков. Он откровенно примкнул к меньшевикам-оборонцам и держался общества новых своих друзей, соглашателей. Прежде, до июля, Николай Дмитриевич иногда вступал в разговор с бывшими товарищами.

Когда Совет еще помещался в Таврическом дворце, Николай Дмитриевич первым сообщил Красикову об аресте Козловского. При этом он деликатно намекнул, что и Петру Ананьевичу грозил арест. Избежал его он по той лишь причине, что некто замолвил за него словечко Александру Федоровичу. В тоне Соколова явственно проскальзывали интонации осуждения — он считал повинным во всех бедах и сложностях последнего времени бывшего своего помощника и его товарищей.

— Надеюсь, арестом Мечислава Юльевича вы не слишком огорчены? — хмуро спросил Красиков. — Кстати, я никого не уполномочивал ходатайствовать о моей неприкосновенности. А если уж господин Керенский намерен играть роль милостивого властелина, то почему бы ему не распространить великодушие свое и на остальных большевиков, брошенных в застенки? На это он не пойдет? Разумеется! Вот и не следовало печься обо мне, если вы предали моих товарищей!

— Зачем вы так? — Соколов обиженно закусил губу. — Меня вы можете упрекать бог весть в чем. Но в предательстве?..

— Это уж кто как на это смотрит, — неприязненно возразил Петр Ананьевич. — Я, например, не знаю, каким иным словом назвать молчание человека, именующего себя поборником справедливости, если у него на глазах власти творят произвол по отношению к его недавним товарищам. Что же, по-вашему, предательство, если не это?

— Поразительный вы человек! Возраст не делает вас терпимее.

— Спасибо за лестные слова.

С той поры они не раскланиваются. При виде стоящего в одиночестве отрешенно-задумчивого Николая Дмитриевича, мимо которого прохаживаются по смольнинским коридорам оживленно беседующие депутаты, у Петра Ананьевича, случается, пробуждается невольная жалость к этому чересчур мягкотелому

человеку. Но Красиков тотчас подавляет ее — революция поставила их с присяжным поверенным Соколовым по разные стороны баррикады.

С товарищами по партии Петр Ананьевич открыто почти не встречался, исключая, разумеется, большевиков — депутатов Совета. Теперь они виделись только на конспиративных явках, а взамен «Правды» выпускали большевистскую газету «Рабочий и солдат». Ленин и еще несколько товарищей скрывались в подполье. Меньшевистские и эсеровские издания беззастенчиво именовали большевиков «изменниками», «преступниками» и «контрреволюционерами». Отовсюду слышались голоса, требующие физической расправы над Лениным.

С середины июля политическая ситуация в стране стала изменяться с необыкновенной быстротой. На Путиловском заводе при перевыборах депутата Совета прошел большевик. На Второй общегородской конференции большевиков представители Измайловского и Петроградского полков заявили, что солдаты раскаиваются в своей слепоте и просят публично объявить, что их обманом вовлекли в разгром большевистского ЦК во дворце Кшесинской. Партийное размежевание шло среди самокатчиков, и основная масса встала на сторону большевиков. То же самое происходило в Преображенском, Гренадерском полках, на Трубочном заводе, на Франко-Русском, на «Новом Лесснере».

На заседании Совета Петр Ананьевич узнал от Молотова, что его, Красикова, делегируют на Шестой съезд партии с совещательным голосом. О предстоящем съезде было объявлено в газетах, однако из конспиративных соображений не указывалось место его заседаний. Поэтому Петр Ананьевич спросил:

— Мне куда являться?

— За вами сегодня зайдут. — Молотов говорил негромко, стараясь, чтобы его не услышали прогуливающиеся по коридору депутаты. — Побываете на предварительном совещании. Там все уточнится.

Перед вечером на Шпалерную явился Костя Федулов. Был он крайне озабочен и, не вступая в посторонние разговоры, важно объявил:

— Пойдете со мной. Собирайтесь поживее, сведу в одно место, — и строго посмотрел на Наташу: — Ничего не спрашивай. Дело секретное. — Когда Петр Ананьевич вышел вслед за ним на улицу, все так же значительно пояснил: — К восьми надо попасть на Выборгскую.

Прежде было просто: Наташа да Наташа. А вот Елена

Дмитриевна с первого дня стала называть ее Натальей Федоровной. Слышать это было странно и непривычно. Она иной раз и не откликалась, будто не к ней обращались — не так уж много лет ей, чтобы по отчеству величать. Но вслед за Еленой Дмитриевной и остальные Петины товарищи стали называть ее Натальей Федоровной.

Она сама с некоторых пор чувствовала себя вовсе не той молоденькой дамочкой, адвокатской супругой, какой была в первые два года замужества. Ее признали своей, товарищем такие люди! Раньше и подумать было невозможно, чтобы они приняли ее в свое общество. И в редакции, и в Секретариате она, можно сказать, постоянный сотрудник. И не просто машинистка, а человек понимающий, умеющий сказать разумное слово, когда речь идет о переписанном на машинке материале. У нее, случалось, спрашивали совета даже секретари редакции.

Дома она всегда все рассказывала Пете и видела: он доволен ею. Бывало, муж принимается расспрашивать о редакционных делах, она отвечает, и душа ее полнится радостью. Наконец-то совершилось то, о чем мечтала столько лет!

Как-то Наташа уговорила мужа пойти с ней в цирк Чинизелли на митинг, созванный редакцией «Работницы». В цирке она когда-то бывала довольно часто: то Васю, то Саню, а то и обоих вместе водила туда с получки. Мальчики вообще не знали большей радости, чем цирк. Да и у нее, признаться, захватывало дух при выступлениях акробатов и гимнастов. Поразительно, что способен сотворить со своим телом человек! Любопытно было наблюдать, с какой непостижимой ловкостью жонглеры успевают подбрасывать ввысь и ловить на лету по нескольку цветных шаров, колец или булав одновременно. Как и братья, она до слез смеялась над клоунскими проделками. В цирке Чинизелли в те далекие времена вообще все радовало — яркий свет, смех, музыка…

Ныне же цирк выглядел совсем по-иному. У входа толпилась уйма народа, большей частью женщины. Внутри, в центре манежа, стояла трибуна. Ряды для публики были заполнены тоже преимущественно женщинами. Но были среди них и мужчины — рабочие и студенты, матросы и солдаты. И уж если народ аплодировал оратору, то колыхался плюшевый занавес у выхода на арену, а если публика взрывалась негодованием, то от криков, свиста и топота, казалось, вот-вот рухнет сам цирк.

После выступления господина в строгом темном костюме — Петя сказал ей, что это член Исполкома Совета меньшевик Богданов, — муж быстро сбежал вниз и спустя минуту сам уже стоял у трибуны с поднятой рукой. Под сводами еще не смолкли рукоплескания, топот, свист и улюлюканье, когда Петя

выкрикнул:

— Товарищи!

Затем она с ревнивой гордостью вслушивалась в заинтересованную тишину, воцарившуюся в громадном помещении, и в неузнаваемо звенящий голос мужа, хотя от волнения не понимала ни слова. Затуманенными от переполнявших ее чувств глазами вглядывалась в Петино вдохновенное лицо и испытала радостное облегчение, когда внезапно, как ей показалось, от рукоплесканий заколыхался весь зал.

В следующем после мужа ораторе она узнала, банковского чиновника Александра Всеволодовича Мигаева, своего давнего постоянного партнера в любительских спектаклях. Наташа вся обратилась в слух. Очень уж любопытно было, кем стал теперь человек, в которого она когда-то была даже чуточку, влюблена. Но заинтересованность испарилась после первых двух-трех фраз Мигаева. Она поняла: у трибуны стоит отъявленный кадет, злобный враг большевиков. И сейчас, на митинге, Мигаев оставался посредственным героем-любовником из любительской труппы, то и дело закатывал глаза, прижимал руки к сердцу, внезапно понижал голос до трагического шепота. Сейчас Мигаев почти кричал:

— Русский народ за тысячелетнюю историю свою достаточно настрадался от черных измен всяческих князей Курбских, продажности министров Сухомлиновых и прочих, кто продавал отечество за тридцать сребреников. Теперь на смену им пришли большевики.

Не помня, себя от возмущения, Наташа пошла вниз, на арену. Там, у трибуны, стояла какая-то женщина с красной повязкой на рукаве. Она вопросительно посмотрела на Наташу.

— Можно мне сказать? — Наташа не слышала даже, что та ей ответила, она уже заняла место ушедшего под свист и топот публики Мигаева. На нее со всех сторон выжидающе и, как ей чудилось, насмешливо уставились тысячи глаз. Наташа глубоко вздохнула, как бывало когда-то перед выходом на сцену, и произнесла не слишком громким, но ясным голосом, так, что ее хорошо услышали все в цирке: — Где вы, господин Мигаев?

— Я здесь, — донеслось откуда-то сверху.

— Хорошо, что не ушли. Хочу спросить, помните ли вы, что говорили в банке после расстрела рабочих на Лене? Я-то запомнила ваши слова: «Они получили то, что заслужили». Вспомнили? Теперь спрошу о другом. Кто же предает свой народ? Большевики, бьющиеся за интересы рабочего человека, или вы и вам подобные, посылающие рабочих и крестьян проливать кровь

за тех, чьи деньги хранятся у вас в банке?

Она хотела еще что-то сказать. Ее переполняла ненависть к этому нестареющему господину с аккуратным пробором на голове. Но в цирке вдруг случилось нечто такое, чего она никак не ожидала. Публика бурно зааплодировала, откуда-то донесся свист. Она стояла у трибуны растерянная и оглушенная и несколько испуганно вглядывалась в стену лиц, пытаясь отыскать там Петю. Но никак не находила. Через гром рукоплесканий и криков до нее донеслись возгласы:

— Ай да дамочка.

— Отбрила по-нашему!

Глубокой ночью они вдвоем с Петей шли по безлюдным петроградским улицам. У нее в душе была удивительная умиротворенность. Хотя время было все еще тревожным, она не испытывала никаких опасений перед будущим. Держала мужа под руку, и ей хотелось говорить и говорить, весело и бесстрашно.

— Ты у меня молодчина, Наталья Федоровна, — сказал Петя. — Трибун! Весь митинг воодушевила. Не испугалась…

— Чего мне бояться? — засмеялась она в ответ. — Я ведь артистка. Привыкла к аплодисментам. Публика меня не пугает…

— Пора тебе подумать о вступлении в партию.

— Думала. Да боюсь, не рано ли.

Она смолчала, что об этом у нее был разговор с Еленой Дмитриевной. Не созналась потому, что хотела теперь достичь всего самостоятельно, вступить в партию Натальей Федоровной Стратилатовой, а не женой большевика Петра Ананьевича Красикова.

Сегодня перед вечером явился Костя Федулов. Очень уж важничать он стал в последнее время. Слова не скажет просто так — прежде наморщит лоб, задумается, а лишь затем что-то изречет. А на сей раз прибежал и прямо-таки вцепился в Петю: живей да живей! Она и спросить не успела, куда это они так торопятся. Должно быть, однако, не спросила из-за того, что по Петиному да по Костиному лицу догадалась, что дело у них совершенно секретное.

Ушли они, а она включила свет, достала из книжного шкафа «Развитие социализма от утопии к науке» Энгельса, стала читать и делать выписки, как учил ее Петя. Занималась она с удовольствием. Ее радовало и то, что муж специально для нее где-то добывает книги, и особенно то, что она сама без чьей-либо помощи читает Энгельса и, можно сказать, почти все превосходно понимает.

Петя возвратился за полночь. Был он — она сразу угадала по его лицу — чрезвычайно взволнован. Молча кивнул, закурил и

принялся выхаживать взад-вперед по кабинету. Ходил, ходил, затем вдруг остановился перед ней, заговорил:

— Хочешь спросить, где я был? Побывал я, Наталья, в собственной молодости. — Он опять прошелся по кабинету, возвратился к ней, помолчал в задумчивости, усмехнулся: — Не понимаешь, о чем говорю? Сегодня я особенно почувствовал, как партия защищает от старости. Сейчас я молод, как двадцать лет тому назад. Мы тогда это начали, и было нас во всей России плюс заграница ничтожно мало, горстка. Теперь же, хотя большевиков травят и бросают в тюрьмы, партия сделалась более чем двухсоттысячной. Вообрази, в России двести тысяч большевиков!

— Где же ты все-таки был? — спросила Наташа.

— Завтра открывается Шестой съезд. Знаешь, что меня особенно порадовало сегодня? Не менее половины совещания были рабочие и военные. А во времена Второго съезда рабочих социал-демократов можно было сосчитать по пальцам. А теперь в наших рядах все лучшее, что есть в русском: рабочем классе. Потому-то и верит нам, и идет за нами трудовая масса.

Он все более увлекался и минутами забывал, что перед ним только один слушатель — жена. Она угадывала: он счастлив, что его вновь, как и в далекие, вовсе неведомые ей времена, позвали туда, где определяется будущее, и ему чрезвычайно лестно это уважение товарищей. Она была рада за него, гордясь вместе с тем и собой. Ведь он говорил с ней как с товарищем, понимающим его заботы и мысли.

С того вечера их жизнь стала похожа на ту, какую они вели в первые недели после Февраля. Петя исчезал из дому утром, не предупреждая, когда возвратится, и появлялся лишь к ночи, чаще всего раздраженный, озабоченный, ушедший в себя. Заговаривать с ним определенно не следовало. Лишь однажды, на второй или третий день после открытия съезда, он в ее присутствии стал рассуждать вслух:

— Уму непостижимо, как можно было даже мысль допустить о явке Ленина на суд Временного правительства! Это значит обречь его на физическую расправу. Можно ли этого не понимать? Владимир Ильич очень метко назвал их «революционный» суд «юридическим убийством из-за угла».

И тем не менее день ото дня Петино настроение заметно менялось. Он приободрился и повеселел. Приходя домой, даже, бывало, что-то удовлетворенно насвистывал и напевал. А в четверг, возвратясь со съезда ранее обычного, достал скрипку и стал играть какую-то веселую мелодию. Она зашла к нему. Он опустил скрипку:

— Закончили, Наталья! Превосходный съезд! С сегодняшнего

дня дело пойдет по-иному. Трепещите, господа!

Довольный, засмеялся и опять поднял смычок…

Как-то в перерыве между заседаниями Исполкома к Красикову обратилась девушка из канцелярии:

— Депутация солдат-фронтовиков хочет встретиться с одним из членов Исполкома. Но только обязательно с большевиком. Вы не подскажите, к кому бы им обратиться?

Он спустился на первый этаж, взял ключ от одной из многих пустующих комнат Смольного и позвал с собой солдат-окопников. Их было человек десять, сопровождаемых двумя офицерами. Солдаты шли за Красиковым, с любопытством глядя по сторонам. Когда оказались в комнате, Петр Ананьевич пожал всем руки, стараясь рассмотреть каждого из них. Ничего, кроме усталого безразличия, не увидел на их лицах. Зато младший из офицеров, совсем юный прапорщик с мальчишеским пушком над верхней губой, встретил взгляд большевистского депутата откровенно враждебно. Товарищ его, офицер более солидного и интеллигентного вида, посмотрел на Красикова равнодушно и отошел в сторонку.

— Какие, товарищи, у вас ко мне вопросы? — спросил, остановившись у залитого чернилами стола, Петр Ананьевич.

— Такое дело, товарищ большевик, — несмело заговорил пожилой солдат. — Такое дело… Водили нас давеча во дворец… этот… как его… Мариинский, что ль. С гражданином Некрасовым, братом доктора нашего, свели. Спрашиваем, как дальше будет? Ригу германец захватил и на Питер прет. А мы как сидели в окопах при царе, так и без его, все одно. Как было право расстреливать солдата, так и обратно есть. А патронов и снарядов и ране не хватало, и ноне недостает. Может, спрашиваем, без толку воюем? Объяснил нам гражданин Некрасов. Складно говорил. Дескать, надобно за Русь-матушку живота своего не щадить, спасать отечество от германца. Ноне, дескать, первейшее дело — это… как его… «порядок, жертвы и оборона». Кофеем нас потчевал, чашечки махонькие лакей подавал. Ничего не скажешь, красиво принял нас гражданин Некрасов, не погнушался нами, окопниками. На прощанье ручку подавал. А мы вышли от его да засомневались, с чем обратно-то ехать?

В помещении становилось нечем дышать. Махорочный дым и запахи пропитавшейся потом амуниции густо напоили воздух. То и дело хлопала дверь. Входили, задерживались на минутку депутаты и, не находя ничего любопытного, возвращались в коридор. У каждого из них было немало подобных встреч. Больше того, что скажет солдатам Красиков, они сказать не могли, и

больше того, что слышали они от других солдат, здесь им было не услышать.

Появился и Николай Дмитриевич Соколов. Он с минуту потоптался у двери и вышел. «Кажется, он хотел сообщить что-то важное, — мелькнула мысль у Петра Ананьевича. — Хотя… Что он мог сообщить?»

А разговор в прокуренной комнате между тем продолжался. Солдата поддержал его товарищ помоложе, с попорченным оспой лицом. Этот держался посмелее.

— Егор верно доложил, — бойко заговорил он. — Господин Некрасов он вот еще про что сказал: Советы, дескать, им больно мешают. Вот мы и засомневались — как так? В Советах-то кто сидит? Рабочие и солдаты, верно? Ежели они господам из Временного правительства не угодны, надо ли нам жизней не щадить? Ты депутат, ты нам растолкуй!

Окопники одобрительно загудели. Прапорщик — Петр Ананьевич успел заметить его быстрый взгляд — осуждающе посмотрел на второго офицера. Тот согласно кивнул в ответ. На его погонах Красиков рассмотрел эмблемы медицинско-санитарной службы. Это, оказалось, и был брат товарища министра-председателя Николая Некрасова.

— Видите ли, товарищи. — Петр Ананьевич старался не замечать нацеленных на него офицерских глаз. — По-моему, вы в общих чертах и сами до всего своим умом дошли. Вы отлично понимаете, что министрам Временного правительства, восстановившим смертную казнь для солдат и бросающим в тюрьмы рабочих, нет дела до ваших судеб, до ваших жен и детей…

— Скажи, товарищ, — перебил его рябой солдат, — чего вы тут думаете насчет того, чтоб войну кончать?

— Верно! Когда замирение выйдет?

— Долго ли еще в окопах сидеть? Солдаты заволновались.

— Я думаю, товарищи, вы все приветствовали революцию и свержение в России самодержавия. Но пока, как видите, сделано лишь полдела. Царь затеял войну. Прогнав его, трудовые массы имели в виду закончить кровопролитие. Никому из вас, к примеру, не нужна земля в Германии или, скажем, Австро-Венгрии. Я не ошибаюсь?

— Чего там? — отозвался один из солдат. — На кой ляд она нам? По домам бы быстрей, по деревням своим…

— А вот господа из Временного правительства, и тот же товарищ министра-председателя Некрасов, у кого вас чашечками с кофе лакеи обносили, никак не желают от царских планов отказаться и отступить от заключенных царем тайных договоров.

Что им сироты и вдовы!

— Чего же делать? Скажи, товарищ, чего делать-то?

— Пока господа Керенские и Некрасовы не собираются думать о мире, подумать о нем следует вам самим. Каким образом? Сейчас есть лишь один путь — братайтесь! Перед вами такие же рабочие и крестьяне, как и вы. Они так же хотят мира.

— Да это предательство, измена, черт возьми! — Прапорщик все же не сдержался. Оба офицера вскочили и стояли, пребывая в затруднении, оставить ли солдат без присмотра с опасным большевиком и уйти или самим продолжать слушать его кощунственные речи. — За такие слова, — задыхаясь, выговорил прапорщик, — полагается… к стенке!

— Вы, гражданин прапорщик, не того, не больно. — Рябой солдат угрожающе шагнул к офицеру.

— Господа, господа… — Военный врач заволновался.

— Вы как хотите, — прапорщик брезгливо посмотрел на него. — А я здесь не останусь более ни минуты. Сделайте любезность, проводите меня вниз. Слушать тех, кто продает отчизну за тридцать сребреников, не желаю. А с вами, — повернувшись к Красикову, пригрозил он, и лицо его побелело от ярости, — нам еще придется встретиться. Русский народ не простит вам предательства, а я…

— Молодой человек, — усмехнулся Красиков, — офицеру следует уметь владеть собой. Мы вас не задерживаем. Вот дверь.

— До встречи! — Прапорщик щелкнул каблуками и, по-уставному повернувшись, прошагал к двери. За ним последовал врач.

Спустя полчаса Петр Ананьевич проводил солдат. Они вышли в сад перед Смольным. Август был на исходе. На деревьях появились первые желтые и красные листья. Близилась ранняя северная осень…

Солдаты были возбуждены. Они наперебой расспрашивали большевистского депутата о его партии, о Ленине. Когда Красиков сказал, что знаком с Лениным уже двадцать лет, окопники прониклись еще большим почтением к нему и стали называть на «вы». Принялись выспрашивать, каков Владимир Ильич по наружности, откуда родом, из каких людей будет. И очень оживились, услышав, что Ленин закончил университет («шибко ученый!»), а еще больше, — когда узнали, что его старшего брата тридцать лет тому назад повесил царь.

— Слыхали! — высказался рябой солдат. — Я вам еще когда про это говорил. А вы сомневались…

VIII

Николай Дмитриевич вышел словно из засады. Петр Ананьевич подряжал извозчика до Шпалерной. Соколов спросил:

— Позвольте мне поехать с вами? Необходимо переговорить.

Красиков удивленно посмотрел на него. У Соколова был вид человека потерянного и беспомощного. Голос его прозвучал так просительно, что Петру Ананьевичу не хватило твердости оттолкнуть его:

— Что же, поедемте. А в чем, собственно, дело?

— Подождите, сядем. — Соколов кивком указал на извозчика.

Как только пролетка тронулась, Николай Дмитриевич тотчас подвинулся к соседу вплотную и зашептал на ухо:

— Утром виделся с Александром Федоровичем. Положение в стране критическое, чреватое опасными последствиями. Официально он меня ни о чем не просил. Но я понял, ему нужна наша помощь…

— Чья это, «наша»?

— Вы не горячитесь, выслушайте. Именно наша — людей, способных мыслить широко, по-государственному. Я понимаю, мы с вами скорее противники, чем союзники. Но сегодня, сейчас, когда все революционные завоевания на волоске, да еще при таких неудачах на фронте…

— Вы можете говорить яснее?

— Не хотите ли пройтись пешком? — спросил Соколов.

— Пожалуй.

Петр Ананьевич отпустил извозчика, и они двинулись по предвечернему Петрограду к Невскому. Город обезлюдел, словно ждал больших потрясений. Редкие прохожие двигались торопливо, по-мышиному проскакивая в подворотни и парадные. Флагов — и красных, и бело-зеленых — на фасадах осталось ничтожно мало. Петроград словно бы вновь обретал дофевральский облик.

— Так в чем же дело? — прервал томительное молчание Красиков.

— Не догадываетесь? Нет? Странно. — Николай Дмитриевич заговорил в наставительной манере: — Вот уже недели две я с изумлением прислушиваюсь к тону ваших газет. У меня — да если бы только у меня! — складывается совершенно недвусмысленное впечатление, что большевики имеют в виду взять реванш за июль.

— И ради того, чтобы изложить мне эти свои тонкие наблюдения, вы стащили меня с пролетки и заставили идти пешком? — не скрывая иронии, поинтересовался Петр Ананьевич.

— Напрасно иронизируете. Дело обстоит гораздо серьезнее, чем вы полагаете. — Соколов поведал ему, что утром был

приглашен в Мариинский дворец и Керенский приватно сообщил ему о мерах, намеченных кабинетом и Ставкой в ответ на приготовления большевиков. Генерал Корнилов передал министру-председателю требование объявить в столице военное положение и реорганизовать правительство, введя в кабинет более твердых людей. На пост военного министра предложен Савинков. Керенскому обещан портфель министра юстиции.

— Он, что же, огорчен возможным понижением в должности?

— Вы опять шутите? — Николай Дмитриевич обиделся. — Я понимаю, Керенский — не самая светлая звезда на нашем политическом небосклоне. Но даже он, поверьте мне, сейчас тревожится не только за себя. Положение на фронте ужасающее, и внутренняя междоусобная война в этих условиях будет на руку врагу. Она, вы понимаете, поставит под угрозу все наши революционные завоевания…

— Вы выступаете в качестве парламентера?

— Как я уже говорил, никаких официальных полномочий у меня нет. Но из разговора с Александром Федоровичем я понял, что сейчас он пошел бы с вами на компромисс. Он очень встревожен. Да и можно ли оставаться спокойным? — И Соколов принялся рассказывать о назначении генерала Крымова главнокомандующим Петроградской отдельной армией, наделенным полномочиями обезоружить гарнизон столицы, причем «против неповинующихся лиц, гражданских или военных, должно быть употреблено оружие без всяких колебаний или предупреждений». По приказу Крымова на столицу двинута «Дикая дивизия». Прибыть ей надлежит не позже первого сентября. Приказом население будет предупреждено, что «войска не должны стрелять в воздух». — Это уже военная диктатура…

— Вы правы. Но почему вы говорите об этом со мной?

— Признаюсь, я долго колебался. И все же решил, что не дело печься о самолюбии, когда на карту поставлены судьбы России и революции. Я полагаю, Петр Ананьевич, сейчас надо забыть о партийных разногласиях и объединиться в борьбе против контрреволюции Корнилова и Крымова. Ваша партия не может остаться в стороне…

— Не беспокойтесь, мы не останемся в стороне, — ответил Петр Ананьевич. — Но я не думаю, что мы сможем забыть о партийных разногласиях даже перед лицом, как вы выразились, «контрреволюции Корнилова и Крымова». Наша партия встречалась в последние месяцы не только с генеральской контрреволюцией. И сейчас некоторые наши товарищи остаются в тюрьмах, и не отменен приказ об аресте Ленина.

— Петр Ананьевич! — Соколов даже за руку его взял. — Разве

вы не понимаете, что сегодня Керенский примет любые ваши условия?

— Сегодня, быть может, примет. А завтра? Ему бы только удержаться у власти, и он опять станет бросать большевиков за решетку и расстреливать солдат.

— Не понимаю, — горестно произнес Николай Дмитриевич. — Как вы, адвокат, интеллигентный человек, можете быть столь непримиримы, столь ослеплены ненавистью? Петр Ананьевич…

— Прощайте.

Отойдя на несколько шагов, Петр Ананьевич обернулся. Соколов стоял на том же месте. «Полгода вели дело к генеральскому мятежу, все делали для торжества военной диктатуры, — негодующе подумал Красиков. — А теперь заметались между Корниловым и большевиками. Поздно, господа! Посеяли ветер — пожнете бурю…»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Право на справедливость

I

Петр Ананьевич и Наталья Федоровна сутками не бывали дома. Красиков потерял в эти дни ощущение времени: он участвовал в заседаниях Совета и Исполкома, где большевики стали единственной реальной силой, выезжал в Кронштадт на губернскую конференцию Советов, принявшую резолюцию о крахе соглашательской коалиционной политики. Еще в августе на выборах в Петроградскую городскую думу он прошел гласным по большевистскому списку. Поэтому он присутствовал и на первом заседании изобретенного кабинетом на манер прежней Думы Предпарламента и покинул его вместе с остальными большевиками. Он был делегатом Северного областного съезда Советов, почти единодушно призвавшего к свержению Временного правительства и передаче всей власти Советам…

Наталья Федоровна — она уже больше двух месяцев была членом большевистской партии — работала в канцелярии Совета, выполняя одновременно всевозможные поручения только что созданного Военно-революционного комитета. Она словно бы сделалась намного старше своих двадцати восьми лет. Похудела, избавилась от былой робости, хотя и не стала более разговорчивой. На лице ее со впалыми теперь щеками появилось и как бы приросло к нему выражение сосредоточенности и деловитости. Встречаясь изредка с женой во все более наводняющихся людьми коридорах Смольного, Петр Ананьевич не без удовлетворения отмечал про себя, как просто и естественно вошла Наташа в жизнь партии.

Пятнадцатого октября на закрытом заседании Петербургского комитета все высказались за немедленное вооруженное восстание. А на следующий день, уже в присутствии Ленина, в тесноватом помещении Лесновско-Удельнинской районной думы проходило расширенное заседание ЦК совместно с исполнительной комиссией Петербургского комитета и большевистской фракцией Петросовета. План восстания обсуждался конкретно. Выступали представители воинских частей и заводов. Яков Михайлович Свердлов довел до сведения присутствующих, что численность партии достигла четырехсот тысяч и что влияние ее в массах, особенно в Советах, армии и

флоте, значительно возросло.

Выступил Владимир Ильич:

— Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо диктатура пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Из всего этого ясен вывод, что на очереди то вооруженное восстание, о котором говорится в резолюции ЦК. Если политически восстание неизбежно, то нужно относиться к восстанию, как к искусству. А политически оно уже назрело.

Двадцать четвертого октября Смольный походил на военный лагерь.

На третьем этаже, где уже недели три размещались Центральный Комитет большевиков и Военно-революционный комитет, было многолюдно, шумно и накурено. Сюда снизу приходили командиры революционных отрядов, получали инструкции и убегали по мраморной лестнице вниз. В коридоре в ожидании распоряжений обсуждались последние события.

В ВРК стекались все сведения о положении в городе. На рассвете юнкера Второй Ораниенбаумской школы прапорщиков совершили налет на типографию большевистской газеты «Рабочий путь», разбили стереотипные отливы, увезли готовые номера, опечатали помещение и оставили охрану. Но в десять часов к типографии подошли отряды солдат Литовского полка и Саперного батальона, направленные ВРК. К одиннадцати часам вышел очередной номер газеты «Рабочий путь» со статьей Ленина «Новый обман крестьян партией эсеров». На случай разгрома Смольного было намечено организовать запасной штаб восстания в Петропавловской крепости. Принимали меры к установлению постоянного контакта с Москвой. Из Кронштадта в Петроград вызвали боевые суда и моряков. ВРК предписал комиссару и полковому комитету Гренадерского полка привести часть в боевую готовность и направить пулеметную команду для охраны Смольного и мостов.

К населению Петрограда ВРК обратился с особой листовкой:

«…Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов берет на себя охрану революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений.

Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и бесчинств. Население призывается задерживать хулиганов и черносотенных агитаторов и доставлять их комиссарам Советов в близлежащую войсковую часть. При первой попытке темных элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи, поножовщину и стрельбу — преступники будут стерты с лица земли. Граждане! Мы призываем вас к полному спокойствию и

самообладанию. Дело порядка и революции в твердых руках».

Обо всем этом Петр Ананьевич узнал, возвратившись в Смольный к полудню. С утра он побывал у Нарвских ворот на заседании Петербургского комитета, где была принята резолюция о немедленном свержении, правительства и передаче власти Советам, указывающая на необходимость «перейти в наступление всей организованной силой революции, без малейшего промедления, не дожидаясь, пока активность контрреволюции уменьшит шансы нашей победы…»

В два часа дня началось заседание фракции большевиков Второго съезда Советов.

И в докладе о политическом положении и в выступлениях делегатов о взятии власти говорилось в, совершенно конкретной плоскости: назывались вставшие на сторону большевиков полки, подсчитывалось количество пулеметов, броневиков и винтовок, разрабатывалась тактика агитационной работы в городе и деревне, в войсках и среди студенчества. Потом наметили кандидатуры ораторов по различным вопросам на заседаниях съезда.

После заседания фракции. Петр Ананьевич натолкнулся в смольнинском коридоре на Костю Федулова. Солдат был красен от возбуждения, проталкиваясь сквозь неумолчную людскую толчею. Увидев Красикова, он обрадовался:

— Петр Ананьевич! Вы, тут, выходит. — Протиснулся поближе и сообщил; — Меня, к гренадерам, комиссаром поставили. Только вот привел в Смольный ребят из пулеметной команды. Целый день с юнкерами воевали. Мосты разводить надумали. Мы попросили их по-хорошему, пулеметы показали. Словом, договорились. Вы из Смольного никуда? Значит, повидаемся еще. А то мне совсем некогда. К товарищу Урицкому надо спешно попасть, о мостах доложить.

И он тотчас растворился в беспокойной толпе.

Ночью события нарастали. Отряды Красной гвардии, моряки и солдаты Кексгольмского полка заняли Главный почтамт, овладели редакцией «Биржевых ведомостей». Войска ВРК захватили Балтийский и Николаевский вокзалы. Отряд матросов занял Государственный банк. На рассвете кексгольмцы и красногвардейцы овладели Центральной телефонной станцией…

К утру двадцать пятого октября столица была в руках восставших.

На половину третьего назначили открытие экстренного заседания Петросовета. Протолкаться в актовый зал к сроку

оказалось делом весьма нелегким. Предвидя нечто чрезвычайное, сюда собрался весь народ из Смольного, люди стояли в проходах, у стен, сидели на подоконниках. Красиков едва успел пройти к сцене и занять место в президиуме, как председательствующий огласил сообщение о том, что Временное правительство низложено, Предпарламент распущен, что революционные войска контролируют положение в столице.

И вдруг актовый зал и коридор за распахнутой дверью взорвались аплодисментами и громовым «ура!»: из боковой двери вышел Ленин. К потолку полетели ушанки, бескозырки, кепки. Председатель поднял руку, но овация не утихала. Едва удалось объявить, что слово предоставляется товарищу Ленину.

Петр Ананьевич повернул голову и увидел Владимира Ильича. Ленин совершенно не изменился. Он кивнул товарищам в президиуме, лицо его было торжественным и сосредоточенным. Владимир Ильич вышел на авансцену, повернулся к залу:

— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. — Притихший было народ вновь зааплодировал, вновь полетели к люстре шапки и бескозырки. Ленин поднял руку. Овация медленно и неохотно угасала. Дождавшись тишины, Владимир Ильич продолжал:

— …Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. — И вновь гремели под сводами актового зала Смольного рукоплескания — победители ликовали.

С таким же энтузиазмом рабочие, матросы и солдаты приветствовали написанную Лениным резолюцию Совета. Зал слушал, не пропуская ни одного слова:

— «Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, организацию, дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании…

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов призывает всех рабочих и все крестьянство со всей энергией беззаветно поддержать рабочую и крестьянскую революцию. Совет выражает уверенность, что городские рабочие, в союзе с беднейшим крестьянством, проявят непреклонную товарищескую дисциплину, создадут строжайший революционный порядок, необходимый для победы социализма…»

Сотни рук взметнулись над головами. «За» голосовали не

только депутаты Совета, «за» голосовал весь пород!

II

По ночному Петрограду шел офицер в шинели и глубоко надвинутой фуражке. Шел медленно, прислушиваясь к зловещим звукам. Чудилось, ветер приносит их отовсюду — с улиц и переулков, с набережных и из подворотен зданий. Он вглядывался в черную темноту. Ветер упирался ему в грудь, словно бы силясь остановить. Под ногами шуршала неубранная опавшая листва, смешанная с обрывками газет и прокламаций. По-морскому грозно билась о гранит взволнованная Нева. В прорехах черных облаков изредка появлялась луна, обливая кладбищенским светом здания, гранитный парапет, мостовую…

По набережной неведомо куда шел капитан Трегубов. Он знал твердо лишь одно: нельзя попасться на глаза ночным патрулям. Заметив поодаль вооруженных матросов или красногвардейцев, он входил в ближайшую подворотню и затаивался там в полной тишине, Прижавшись к стене.

Как случилось, что он, бывший марксист и революционер, оказался с теми, кого нынешняя рабоче-крестьянская власть имеет безусловное право поставить к стенке? Пусть власть эта недолговечная и, надо думать, не успеет натворить чересчур много бед, но все же народ, русский народ, ныне идет за ней. Почему же он ей враг? В том ли причина, что ему предстояло унаследовать миллионное состояние, или в том, что он роковым образом ошибся в людях, представлявшихся ему до последних дней мудрыми и проницательными в политике?..

В августе, когда на Петроград шел генерал Корнилов, офицеры, добровольные узники Певческой капеллы, поняли наконец правоту комиссара, Временного правительства на Балтфлоте эсера Федота Онипко, опекавшего их и твердившего еще с весны, что главная опасность для революции в большевиках. С наступлением осени в комнатах-казармах Певческой капеллы многое переменилось. Офицерам более не выдавали водки, у двери внизу удвоили караул, и выходить без пропуска за подписью Онипко или кого-то из его окружения не разрешалось.

В ночь на двадцать шестое октября они видели из окон мелькающие лучи прожекторов, слышали орудийный выстрел, винтовочную и пулеметную перестрелку. Около полуночи появился Онипко с незнакомым полковником, приказал взять оружие и следовать за ними к Дворцовой площади. Но было уже

слишком поздно. Офицеры сделали по нескольку выстрелов и, убедившись, что наступающих не остановить, под покровом ночи возвратились в свое убежище.

Федот Онипко и полковник исчезли.

А утром «комиссар» появился с ворохом газет разных направлений, и они узнали, что Временное правительство низложено, едва ли не все министры: арестованы, а сам Керенский бежал. Власть захватили большевики.

— Дождались… — высказался по этому поводу кто-то из офицеров. — Теперь-то они нас прихлопнут.

— Без паники! — прикрикнул на него Онипко. Он достал золотой портсигар, закурил и внушительно произнес: — В самом скором времени для нас непременно будет настоящее дело.

— Скорее бы!.. — простонал кто-то.

— Молчать! — Онипко рассвирепел. — Офицеры вы или бабы?! Есть сведения, что Керенский ведет части с фронта. Нам приказано ждать сигнала и выступить здесь. Они — с фронта, мы — с тыла, и большевикам — каюк. Пока же, до срока, — ждать!

Но отсидеться «до срока» в Певческой капелле не удалось. Дня три спустя к вечеру под окнами появились вооруженные красногвардейцы с каким-то солдатом во главе. Послышался шум у входа, прозвучал выстрел, по лестнице затопали сапоги. Пока офицеры хватались за оружие и переворачивали столы и кровати, чтобы забаррикадироваться, Онипко схватил топтавшегося рядом Трегубова за руку и вывел в коридор. Потайным ходом они пробрались во двор и скрылись. Федот увел его на Васильевский, в богатую квартиру какой-то длинноволосой барыньки, не выпускающей изо рта папиросы, и прожили они там около недели.

Онипко по утрам исчезал из дому и возвращался к исходу дня злой и взвинченный. С Трегубовым он почти не разговаривал. Иногда лишь сообщал новости, одна другой прискорбнее: о том, что всех их товарищей по Капелле взяли красногвардейцы и препроводили в Следственную комиссию Военно-революционного комитета; о фантастических декретах новой власти, о провале наступления Керенского. Бывшего министра-председателя, товарища по партии, Онипко называл теперь не иначе, как «песий хвост». Излив таким образом свою желчь, Федот уходил на ночь в спальню длинноволосой хозяйки…

Однажды Онипко привел с собой господина с блестящей лысой головой и курчавой жесткой бородой, в очках. Лицо его показалось знакомым. Когда же Михаил Гордеевич наконец узнал его, то задохнулся от изумления. Это был думский депутат, знаменитый вождь черносотенцев Пуришкевич.

Как выяснилось, теперь он именовался господином Евреиновым. Беседовал гость главным образом с Онипко, лишь между делом обращаясь к сидящему чуть поодаль Трегубову. Разговор шел о какой-то боевой организации. Они называли незнакомые имена, говорили об оружии. Михаил Гордеевич слушал невнимательно и горестно размышлял: «Вот, господин капитан, угодили мы в товарищи к Пуришкевичу. Дожили, можно сказать».

Об этом и сказал Онипко, когда гость ушел:

— Довоевались мы с тобой, дальше некуда. Сегодня с Пуришкевичем, завтра с Романовыми одно общество составлять будем.

— Это ты брось! — вскинулся Федот. — Владимир Митрофанович — монархист по недоразумению. Хотя честно говоря, я предпочту иную монархию большевистской анархии. А Пуришкевич — что ж? Он всегда был русский патриот и всегда ненавидел большевиков.

С той ночи жизнь пошла по-новому. К ним заходили люди Пуришкевича, переодетые офицеры и штатские. При зашторенных окнах заполняли чистые бланки документов, снаряжали людей на Дон к Каледину, подсчитывали запасы оружия из тайных складов.

А вот сегодня Онипко явился к ночи не в себе: комиссары схватили их человека в штабе округа, взяли барона де Боде, штабс-капитана Душкина, братьев Парфеновых и самого Пуришкевича. Комиссары вновь устояли.

А ночью Михаил Гордеевич, суетясь и с опаской поглядывая на дверь, собрался, надел шинель и ушел. Ему ничего не было жалко: ни офицерского общества, ни надежного крова, ни отданных Федоту денег… У него ни гроша не осталось и не было, можно сказать, ни одного близкого человека. Все потерявший, бесприютный, шел он ветреной ноябрьской ночью по набережной, не зная, куда держит путь.

— Стой! — словно бы гром ударил. — Пропуск!

К нему шли вооруженные люди. В свете вынырнувшей из-за облаков луны он рассмотрел тех, с винтовками. Народ был штатский, с красными повязками на рукавах. Один, должно быть старший, в шинели и ушанке, грозно окликнул:

— Кто такой?..

— Капитан Трегубов, инженер, — наугад ответил он.

— Куда идете?

— Домой, на Лиговку.

— На Лиговку-у? — вмешался один из них. — Как же так, товарищ Федулов? Лиговка — где, а он — куда? Ясное дело,

офицер…

— Сомов, спокойно! — приказал старший и потребовал; — Документы предъявите, гражданин. При вас документы?

— Нет со мной документов. Дома они, — соврал Михаил Гордеевич. На память пришли слова Федота: «Поставят к стенке. Большевики — это вам не песьи хвосты из компании Керенского. Они нянькаться не станут». Он поежился. — Дома документы мои…

— Проверим, гражданин, — сказал Федулов. — Пройдете в Смольный. Сомов! Отведи!

К дверям Смольного им пришлось проталкиваться сквозь огромный людской водоворот. Сомова, приземистого медлительного человека с винтовкой наперевес, то и дело окликали, спрашивали, что за «контру» он ведет. Сомов смеялся: «Их благородие документы позабыли дома…»

В свете, падающем из окон, мелькали оскаленные не то в смехе, не то в злобе лица. И глядя на них, Михаил Гордеевич все более и более сознавал свою обреченность. Из толчеи этих вооружившихся свирепых людей никогда уже ему не выбраться на волю, не оказаться в отцовском доме на Воскресенской в Красноярске. «Поделом тебе, старый черт! — осудил он себя. — Россию спасать вздумал? А Россия — вот она, скалится на тебя, винтовку наперевес взяла…»

У входа стоял солдат-часовой в папахе, с карабином. Из проема соседних дверей стволами на город были нацелены орудия и пулеметы. Там толпились матросы, готовые по команде открыть огонь.

— Куда? — спросил часовой.

— В пятьдесят шестую, — объяснил Сомов. — Контру туда водим.

В груди Михаила Гордеевича что-то сдвинулось вниз, оставив на своем месте холод. Надежды на спасение не было…

Они поднимались по лестнице — он впереди, Сомов сзади, — а вокруг бурлила неоглядная людская масса: шинели, матросские бушлаты, кожанки. Один, в кожанке, шел им навстречу по лестнице. Бородка клинышком, строгие глаза за стеклами пенсне — он чем-то походил на прилежного служащего, но была в нем какая-то пугающая властность.

Человек в кожанке вгляделся в Михаила Гордеевича и, приостановившись, полюбопытствовал у красногвардейца:

— Кого ведете, товарищ Сомов?

— Да вот, Яков Михайлович, поймали господина капитана среди ночи без документов. Приказ имею сдать в пятьдесят шестую. Там узнают, что за птица.

— Там узнают, — согласился человек в кожанке и сбежал по ступеням.

— Это кто с вами разговаривал? — спросил Михаил Гордеевич у Сомова. — Начальник ваш?

— Начальни-ик! — возмутился красногвардеец. — Темнота! Товарищ Свердлов это, Яков Михайлович. Только царя да Керенского знаете. Давай, давай шагай! Некогда мне агитировать вашего брата.

В тесной приемной пятьдесят шестой комнаты Смольного у стен стояли скамьи. На них сидели задержанные самого разного вида. Пожилой мужчина в шубе, молодой офицер — он почему-то всячески старался не встречаться глазами с Трегубовым, — старик в полковничьей шинели, девица в шляпке и высоких зашнурованных ботинках. Михаила Гордеевича посадили напротив двери в кабинет. Она поминутно открывалась, и Трегубов, сидя возле Сомова, всякий раз видел освещенную электричеством, наполненную табачным туманом комнату и смутно угадываемых там людей.

Наконец наступил черед Трегубова.

— Шагай, ваше благородие, — сказал Сомов. Они оказались в комнате с одним столом в углу и дюжиной расставленных в беспорядке стульев. Михаилу Гордеевичу показалось, что здесь находится и одновременно говорит не меньше двадцати человек. Лиц их он сперва не различал. Все растворилось в густом табачном облаке. Из облака вынырнул молоденький матрос с маузером.

— Кого привел? — спросил он у Сомова.

— Офицер без документов, товарищ Алексеевский. Федулов приказал привесть для выяснения личности.

— Выясним! Туда его. — Матрос указал в сторону стола.

Трегубова посадили на стул. Сомов опять устроился рядом. Был он, судя по лицу, расстроен тем, что принужден пребывать в Смольном.

У противоположной стены кто-то однотонно допрашивал девицу в шнурованных ботинках. Она часто всхлипывала. Тот, кто допрашивал, голоса не повышал:

— Вот и ответьте, знаете его или нет?

— Зна-а-аю.

— А твердили, что не знаете.

— Зна-а-аю-у-у… — Девица заревела белугой.

Кто-то быстро прошел мимо Михаила Гордеевича, и спустя мгновенье у стола возник человек. Трегубову почудилось, что это сон. На него изумленно уставился Петр Красиков.

— Ты?! — вместе с папиросным дымом выдохнул Петр.

— Я, — не менее удивленно отозвался Трегубов.

— Где задержали? — спросил Красиков у Сомова.

— К Марсову полю шел, а сказал — на Лиговку. И документов у них не было, Петр Ананьевич, — объяснил красногвардеец. — Вот и…

— Правильно, товарищ Сомов. Без документов, говорите? Любопытно, куда и зачем гражданин офицер направлялся ночью без документов? — Этот вопрос предназначался уже Трегубову.

Оказавшись лицом к лицу с Петром Красиковым, капитан Трегубов несколько успокоился. Уж до расстрела-то земляк не допустит. Но столкнувшись с беспощадными глазами Красикова, он вновь ощутил холод в груди.

— Товарищ Сомов, вы свободны, — сказал Красиков.

— Можно, я к Федулову обратно? Мы с ним в патруле.

— Конечно, идите, — отпустил Красиков солдата и повернулся к Трегубову. — Официально я тебя допрашивать не могу — старые знакомые. Этим займется другой товарищ. Если хочешь, дам совет: не скрывай ничего. Полное признание — единственный твой шанс.

Постарел Петр Красиков, постарел. Голова седая, и в бородке серебра предостаточно. Лицо в морщинах, под глазами — тени, худ, будто голодающий. «Видно, не сладка их жизнь, — подумал Трегубов, — хоть и власть у них. Нет, не сладка…»

— Да успокойтесь же! — возвысил голос тот, что допрашивал барышню. — Вы свободны. Но имейте в виду…

«Мне бы так! — тоскливо подумал Михаил Гордеевич. — Я бы тотчас домой укатил. Услышать бы…»

— Вот что, Петр, — начал он, еще не зная, чем закончит фразу, — вот что… Никому меня не передавай. Тебе я во всем откроюсь.

— Откроешься? — Красиков посмотрел на него пристально и отчужденно. — Мечислав Юльевич! — крикнул он через комнату. Подошел невысокий плотный мужчина с темными, свисающими книзу усами, в пенсне. — Со старым знакомым встретился. Обещает открыться. Быть может, в самом деле…

Затем он отозвал комиссара Козловского в сторонку, они о чем-то поговорили, и усатый Мечислав Юльевич сел на место Красикова.

— Продолжим. — Он положил перед собой лист бумаги. — Я слушаю. Что вы собирались нам сообщить?

Голос у него был ровный и, как показалось Трегубову, равнодушный. «От этого добра не жди, — еще больше затосковал капитан и поискал взглядом Красикова, в ком одном видел надежду на спасение. Не нашел его, и на душе сделалось вовсе

беспросветно. — Худо дело. Погубят они меня…»

— Я бы лучше тому… товарищу вашему… — заворочал непослушным языком Трегубов. — Давно знакомы… Земляки…

— Это мне известно. Так в чем вы хотели открыться?

— Не… не поймете вы… Я бы лучше тому… товарищу вашему.

— Да что с вами? Возьмите себя в руки! — рассердился комиссар. У Михаила Гордеевича захолонуло сердце. — Вы офицер. По большевикам, надо думать, стрелять не боялись?

«Поставят к стенке. — Теперь уж сомнений не было. — Не без причины Петр-то убежал от греха. Что же делать? Что делать? Как смягчить сердца их каменные?..»

— Вы что, расстрелять меня намерены? — спросил он.

— Расстрелять? — Козловский усмехнулся. — Не для того мы власть брали, чтобы восстанавливать царские порядки. Хотя… Может быть, вы за собой какую вину знаете?..

— Нет, нет! Никакой особой вины.

— В чем же все-таки собирались открыться?

— Лучше бы мне тогда на бумаге написать, — проговорил Михаил Гордеевич.

— Как будет угодно, — холодно сказал комиссар и крикнул: — Мешков! — Из табачного облака вынырнул матрос. — Отведите гражданина офицера в арестантскую. — Затем сказал Трегубову: — Он даст вам перо и бумагу.

III

В первых числах ноября Красикова разыскал Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. По лицу его Петр Ананьевич догадался: предстоит серьезный разговор. В комнате на втором этаже, не занятой пока ни одним комиссариатом или комиссией, они устроились на кожаном диване. В помещение все время входили матросы, солдаты, рабочие с винтовками, о чем-то спрашивали и уходили по своим делам.

— Поговорить с вами мне поручил Владимир Ильич, — сказал Бонч-Бруевич. — Решено назначить вас редактором «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства». Для этого тонкого и сложного дела нужен опытный партиец, владеющий пером и способный не потерять головы в нынешней ситуации. Владимир Ильич считает вашу кандидатуру наиболее подходящей. Забот у вас будет предостаточно. Знающих дело работников из наших людей предложить пока не можем. В ваше распоряжение перейдут сотрудники бывшего «Вестника

Временного правительства» и бумажные фонды, оставшиеся от него. Сами понимаете, дело потребует гибкости и твердости. И все же Владимир Ильич надеется на вас, Петр Ананьевич.

— Передайте Владимиру Ильичу, я налажу газету.

Обещать, как выяснилось, было гораздо легче, чем выполнять обещание. В редакции бывшего «Вестника» его встретили, мало сказать, неприветливо — встретили как врага. Почти все сотрудники, исключая лишь типографских, новую власть не признавали. Редактора — «комиссара», к тому же недавнего присяжного поверенного, приняли, как принимают парламентера победившей стороны — с демонстративно подчеркнутым достоинством поверженных. Один из редакторов, со скуластым худым и длинным лицом, так и сказал:

— Терять нам нечего. По вашей милости мы потеряли все: свободу, надежды, родину. Да, да, родину. Вы погубили ее. Россия сделала первый шаг в будущее, и явились вы, чтобы все остановить, погубить, разрушить. И вы надеетесь найти в нас помощников?

— Отнюдь. Но работать вам придется. У нас хватит сил обуздать саботажников. А на вопрос о том, кто что разрушил и погубил, ответит время. Я не уполномочен вести с вами политические дискуссии. Совет Народных Комиссаров поручил мне наладить выпуск «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства». И я сделаю все, чтобы она выходила при вашем участии.

— Но мы не признаем этого вашего правительства…

— Ничего, признаете. И чем скорее, тем лучше для вас.

Петр Ананьевич задумался: как говорить с этой публикой? Упрашивать, уговаривать, внушать?

Вдвоем с Наташей они сутками просиживали в редакции. Он диктовал ей официальные материалы Совнаркома, разных комиссариатов и комиссий, передовицы и редакционные статьи. Потом сам нес в типографию к наборщикам. Как-то зашел представитель от редакционных служащих бывшего «Вестника». Удостоверившись, что газета выходит и без их услуг, саботажники капитулировали.

Все, казалось бы, налаживалось. Но уже третий номер не на чем было печатать — кончилась бумага. Петр Ананьевич сообщил об этом Бонч-Бруевичу. В тот же день Красикова пригласили к Ленину.

На столе перед Владимиром Ильичем лежали вышедшие номера газеты. На полях Петр Ананьевич увидел многочисленные пометки. Владимир Ильич поднял на Красикова утомленные глаза, некоторое время молчал, о чем-то размышляя. Затем

сказал:

— Захватите эти номера. Посмотрите, пожалуйста, мои пометки. В основном товарищи и я газетой довольны. Но… Впрочем, не ошибаться нам пока трудно. Новое дело у всех, и уроки брать не у кого. Так что промахи вполне естественны. И все же лучше обходиться без промахов. Так что посмотрите, пожалуйста, мои пометки.

С того дня Владимир Ильич часто приглашал к себе Красикова, обсуждал с ним материалы, справлялся насчет бумаги, финансового положения. Однажды завел разговор о рекламе. Заказы посоветовал получать от разного рода кредитных и акционерных обществ, даже от владельцев крупных капиталистических предприятий.

После встреч с Лениным Петр Ананьевич обыкновенно испытывал неодолимую тягу к работе. Возникало странное для его возраста мальчишеское желание услышать похвалу от Владимира Ильича. Во всяком случае, газета налаживалась, и Петр Ананьевич все более входил в это дело.

И вдруг случился разговор в ВРК. Красикову объявили, что его решено назначить комиссаром Следственной комиссии Военно-революционного комитета. Сейчас, объяснил Подвойский, это чрезвычайно важно, а людей в комиссии не хватает. Подготовленных большевиков там, по сути, только двое — Козловский и Стучка.

И вот он — комиссар Следственной комиссии при Военно-революционном комитете! Вчерашний адвокат, защитник преследуемых, он призван участвовать в арестах, допрашивать. И неизменно оставаться трезвым и осторожным, стараться в каждом — даже в противнике — видеть личность. И если есть хотя бы малая надежда сохранить кого-то для пролетарского дела, следует употребить все средства для этой цели, быть на высоте справедливости. Но как трудно, немыслимо трудно удержаться на этой высоте в столь бурное, неустоявшееся время!

Сколько врагов у Советской власти! Где найти средства одолеть их? Вражеских агитаторов, саботажников, заговорщиков? Бойцы красногвардейских отрядов, прикомандированных к Следственной комиссии, приводят и приводят офицеров и генералов, политиков и чиновников, а то и обыкновенных уголовников и громил.

Допросы, допросы, допросы… Дни и ночи напролет приходится смотреть в глаза людям, ослепленным страхом и злобой. Они трусят, полагая, что большевики не станут вдаваться в тонкости, а будут просто расправляться с арестованными.

А на страницах все еще издающихся меньшевистских и эсеровских журналов и газет большевиков именуют «узурпаторами» и «вампирами». Сами расстреливали рабочих в июле, восстановили смертную казнь для солдат, сами саботируют все усилия Советской власти по спасению страны от голода, заключению мира и упорядочению внутренней жизни, а «авантюристами» именуют большевиков!

Генерал Маниковский с первой встречи произвел на Петра Ананьевича впечатление человека порядочного. Этот старый солдат с витыми золотыми погонами, досконально изучивший артиллерию и дело армейского снабжения, ревностно служил и Романовым, и Керенскому. Поклонялся же он единственному богу — русской армии. До февраля генерал Маниковский был комендантом крепости Кронштадт, перед Октябрем сделался важной фигурой — товарищем военного министра в кабинете Керенского.

Двадцать пятого октября генерал вместе с прочими членами правительства был арестован в Зимнем и препровожден в Петропавловку. На другой день к нему явился член коллегии только что созданного Наркомата по военным делам прапорщик Крыленко и предложил служить новой власти. Тот согласился, и его тотчас освободили. В должности управляющего военным министерством он пробыл, однако, недолго.

В середине ноября его вновь арестовали, обвинив в саботаже. Вина Маниковского состояла в том, что он отдал телеграфный приказ всем тыловым военным округам: «Никто не может быть отстранен от должности без моего ведома и согласия». Рабоче-крестьянское правительство проводило линию выборного начала в армии, и приказ бывшего царского генерала представлял собой вызов Советской власти.

Дело Маниковского расследовал Красиков. Генерал на допросах держался с подчеркнутым достоинством, однако без высокомерия, обнаруживаемого его коллегами. Отвечал он обстоятельно, хотя и по-военному лаконично. Во всем его поведении угадывалась растерянность. Генерал никак не мог осознать своей вины. Если он поставлен во главе военного министерства — таков был ход его рассуждений, — то как можно допустить смену командования без его ведома и согласия? Как существовать армии без единоначалия?

Петр Ананьевич не сомневался в искренности генеральского недоумения и терпеливо втолковывал ему, что революция сметает до основания прежние государственные устои. Это не минует и войска.

— Простите, гражданин комиссар, но я вас все-таки не понимаю. Вы что же, намерены оставить Россию без армии?

— Да нет, пока это, к сожалению, невозможно. Идет война. А в несколько отдаленной перспективе такая вероятность не исключена. Свое государство станет защищать вооруженный народ.

— С этим я никак не могу согласиться. — Глаза генерала неприязненно смотрели на Красикова. — Вооруженный народ! Необученная, не знающая воинской дисциплины толпа — вот он, ваш «вооруженный народ». При столкновении с мало-мальски подготовленным неприятелем эта толпа…

Дверь пятьдесят шестой резко распахнулась. Стремительно вошел Владимир Ильич. Огляделся, некоторое время стоял молча, наклонив голову, словно припоминая, зачем пришел. Затем кивнул Красикову, приблизился к столу. Вгляделся в генерала, приготовился слушать. Но комиссар и допрашиваемый молчали. Маниковский, должно быть, догадался, кто этот человек, и, вскинув голову, независимо встретил любопытный взгляд вождя большевиков.

— Петр Ананьевич, — сказал Владимир Ильич, — у вас найдется для меня несколько минут? Весьма важное дело.

Они вышли в коридор, двинулись туда, где была квартира и рабочий кабинет Председателя Совнаркома. Ленин поинтересовался:

— Маниковского допрашиваете? И как он? По вашему мнению, как? — Не дождавшись ответа, объяснил: — Товарищи из Наркомвоендела полагают, что на сегодняшний день он может быть нам полезен как специалист. Не ошибемся, если отпустим?

— В политике, Владимир Ильич, он… как бы удачней выразиться… сущий младенец. Убежден, для нас генерал опасности не представляет. А вот полезен ли он как специалист, не скажу. У него, видите ли, в этом смысле свои принципы. Работать на новый режим согласен только с одним условием — вне политики и без какого-либо вмешательства власти.

— Вот как! — Владимир Ильич вскинул голову. — Пресловутая генеральская щепетильность? Расчет на нашу доверчивость? Впрочем, вероятнее первое. Но тоже ведь своего рода расчет: «Мы — только исполнители. А ответственность за все ляжет на вас, политиков». Ловко! Посмотрим, будет ли от него прок. Но не держать же его под арестом только за то, что он нам не сочувствует.

Петр Ананьевич возвратился в пятьдесят шестую. Генерал не изменил позы. Выпрямился на стуле, словно бы демонстрируя неубывающую воинскую выправку. Судя по его отрешенному

лицу, он бился над гамлетовским вопросом: быть или не быть? При появлении комиссара медленно отвел глаза от неба за окном и уставился на Красикова, словно бы спрашивая: «Обо мне шла речь? И что же вы решили?»

— Итак, Алексей Алексеевич, продолжим?

— Я в вашей власти…

— И в своей, — возразил Петр Ананьевич. — Уполномочен сообщить, что предложение товарища Крыленко остается в силе. Скажу больше, уже заготовлено постановление о вашем освобождении. Но прежде чем подписать его, прошу ответить на последний вопрос: как вы относитесь к Советской власти? Надеюсь на искренний ответ.

— Иными словами — «како веруешь»?

— Вот именно — «како веруешь»! Маниковский долго молчал. Петр Ананьевич, наблюдая за ним, видел шевелящиеся в беззвучном шепоте сухие губы, изжелтевшую от кабинетной службы кожу щек, ничего не выражающие, устремленные вдаль глаза, наморщенный высокий лоб.

— Я жду, Алексей Алексеевич, — негромко произнес Красиков.

— Что? — Маниковский встрепенулся. — Я понимаю… понимаю… «Како веруешь»?.. «Како веруешь»?.. Вы позволите мне еще подумать?

— Разумеется. Это ваше право.

— Я подумаю и напишу. У вас это дозволено? Утром следующего дня матрос Мешков передал Петру Ананьевичу письменный ответ генерала Матниковского. Объяснения Красиков читал вместе с Козловским и Алексеевским, бывшим матросом. Размашистым и весьма неразборчивым почерком были исписаны две страницы:

> «Мое отношение к власти Народных Комиссаров таково: я считаю, что „фактическая“ власть сейчас у них и потому при управлении военным министерством должен с ней считаться. Однако, так как эта власть — только *одной* политической партии, то я считаю, что она должна быть признана Учредительным собранием, каковое, по мнению *всех партий без исключения,* одно компетентно в решении этого вопроса. Я лично считаю, что в вопросах снабжения армии, каковым я только и ведаю, должно и можно обойтись без вмешательства политики, и при таких именно условиях я и соглашался руководить военным ведомством. Но в последнее время я прихожу к заключению, что обойтись без политики даже

в „деле снабжения“ ныне немыслимо. Я тут разумею не общую политику, а ведомственную, именно ту политическую реформу, по которой предложено перестроить нашу армию. Этой политике я не только не сочувствую, но прямо-таки не могу ее понять. И так как после 35-летней службы я, очевидно, уже ее не пойму, то для меня несомненно, что мне надо попросту уйти от этого дела, которое я мог бы вести только в „узкотехнических“ рамках. К этому же меня понуждает и вконец расстроенное здоровье, и совершенно истрепанные нервы. Я, конечно, моему преемнику готов всемерно помочь, чтобы от такой замены не пострадала армия.

Маниковский».

«Откровенно! — подумал Петр Ананьевич. — Но мы-то как должны с ним поступить? Восторгаться его „генеральской щепетильностью“?» За те дни, пока ему пришлось общаться с Маниковским, Петр Ананьевич поверил в его добропорядочность и не сомневался, что генерал согласится служить народу. Письменное «объяснение» несколько смутило его. Он спросил у товарищей:

— Что скажете?

— Чего говорить? — Алексеевский отозвался первым. — Пропитан монархическим духом ваш генерал. Я б его припугнул расстрелом, чтоб мозги прояснились.

— А если не прояснятся? — улыбнулся Мечислав Юльевич.

— Не прояснятся? Будьте уверены, еще как! А ежели и дальше станет саботировать — к стенке! А что, церемониться с ними?!

— Понятно, — сказал Красиков. — А вы, Мечислав Юльевич?

— Видите ли, пока я не прочел эти его откровения, ваша точка зрения казалась мне правильной. А сейчас я засомневался. Так ли уж безвреден для нас этот генерал? Вы что думаете?

— Думаю, нет смысла держать его под арестом. Более того, почти уверен, что он будет работать на нас. Есть в этом генерале нечто крепкое, здоровое, в высшей степени…

— Ого! Это уже на защитительную речь похоже, — сдержанно усмехнулся Козловский. Он вообще был чрезвычайно скуп в проявлениях чувств. — Но ведь мы более не присяжные поверенные, а защитники революции. Нам, я полагаю, следует чаще к твердости своей апеллировать, чем к мягкосердечию. Вы не согласны?

— Защищать революцию, товарищ Козловский, мы обязаны с

позиций справедливости. — Красиков назвал друга официально. Он делал это во всех случаях, когда товарищи оспаривали его точку зрения, как он считал, без достаточных оснований. — Ныне мы власть, сила. А справедливость по плечу только сильным. Чтобы наш спор не был праздным, скажу, что от своей позиции я не отступлюсь. Между прочим, у меня на сей счет был разговор с Владимиром Ильичем. Он придерживается той же точки зрения.

Освободить Маниковского из-под ареста, однако, было не так-то просто. Для этого требовалась санкция Совнаркома. Красикова пригласили на заседание правительства. Среди многих других в повестке дня был пункт о генерале Маниковском. Владимир Ильич на заседании отсутствовал, и это сразу навело Петра Ананьевича на мысль, что дело пойдет не так гладко, как ему представлялось. Но он решил твердо стоять на своем.

Заседание началось вечером. В зале горела одна большая электрическая лампочка. Ее света было недостаточно, и ораторы низко склонялись над бумагой, вглядываясь в свои записи. Едва ли не по каждому вопросу вспыхивали ожесточенные прения.

Один за другим решались вопросы: о продовольственном положении, перемирии, разного рода перестановках в аппарате Совнаркома, борьбе с саботажем… Присутствовали почти все наркомы и члены ВРК.

И вот председательствующий объявил выступление Красикова. Петр Ананьевич с некоторых пор обнаружил в себе странную перемену. Прежде, до революции, когда резкое или неосторожное слово могло повлечь за собой серьезные для него последствия, не замечал он в себе той нерешительности, какая сковывала его в последнее время едва ли не перед любым публичным выступлением. Это объяснялось, должно быть, тем, что тогда он рисковал только собой, а ныне от его слов более всего зависела судьба других людей. И даже здесь, на Совнаркоме, где многие товарищи знали его еще со времен «Искры», он испытал вначале чуждую его натуре робость. Впрочем, робость эта улетучилась, едва он почувствовал, что слушают его внимательно и заинтересованно.

Красиков обстоятельно рассказал о существе дела, сообщил о точке зрения комиссаров Следственной комиссии, о разговоре с Владимиром Ильичем. Затем подвел итог: он как комиссар Следственной комиссии считает целесообразным генерала Маниковского освободить.

Красикова поддержали Подвойский, Коллонтай и еще несколько товарищей. И тут попросил слова Троцкий. С присущим ему пафосом он стал говорить о потере бдительности «руководством Следственной комиссии». Он заявил, что

резолюция товарища Красикова не разоблачает «замаскированной и выжидательной контрреволюционной тактики царского генерала» и Совнарком потому не должен ее принимать.

Еще со Второго съезда, когда Красикову пришлось впервые близко познакомиться с этим человеком и по ряду вопросов сразиться в равном тогда бою, в душе у него поселилось невытравимое предубеждение против Троцкого. Не нравилась ему в людях вообще чрезмерная самонадеянность. Ему-то не нравилась, а вот после его выступления большинство проголосовало против резолюции Красикова.

Глубокой ночью Петр Ананьевич вышел из Смольного вдохнуть свежего воздуха. Помня, как легко к нему пристает простуда, он плотно укутал шею шарфом, застегнул пальто на все пуговицы. Под ногами знакомо, по-сибирски, скрипел снег. На белое пространство перед зданием падал свет из окон Смольного.

«Нет, товарищ Троцкий, — мысленно произносил не высказанную вовремя речь Красиков. — Бдительным следует быть с врагом, а не с любым заподозренным. Никаких преследований без оговоренных законом оснований — вот что такое Советская власть, товарищ Троцкий. И уж будьте уверены, мы не устанем бороться именно за такую справедливость…»

Все это убедительно и прекрасно. А пока немолодой честный человек, способный приносить пользу армии пролетарского государства, томится в арестантской, втайне надеясь на освобождение.

Два дня спустя Красиков был вновь приглашен на заседание Совнаркома, и к двум его прежним должностям была присовокуплена третья — его назначили членом коллегии Наркомата юстиции. Через несколько дней, вручая Красикову удостоверение за своей подписью, Владимир Ильич осуждающе покачал головой:

— Как же это вы, Петр Ананьевич, генерала своего не отстояли?

— Да вот, Владимир Ильич…

— Не ожидал, не ожидал от вас мягкотелости.

Драться надо невзирая на лица. Но ничего, к этому вопросу мы еще вернемся.

Двадцать пятого ноября среди многочисленных пунктов повестки дня заседания Совнаркома опять фигурировало дело генерала Маниковского. Рукой Ленина было вписано: «Доклад Красикова». Однако дело отложилось. Решили дождаться возвращения из Ставки наркома Крыленко, верховного главнокомандующего, наиболее заинтересованного лица.

В эти дни Петр Ананьевич занимался главным образом

генералом. Получил его послужной список, подшил к делу письменное поручительство сослуживцев Маниковского по Главному артуправлению, заново изучил его показания. И совершенно утвердился в собственной правоте.

Окончательно дело решилось лишь тридцатого ноября. На сей раз полемики почти не было. Троцкий быстро сориентировался и отмалчивался, ибо Владимир Ильич сразу дал понять, что поддерживает Красикова и отступать от своей позиции не намерен.

Прощание с генералом было по-своему трогательным. Алексей Алексеевич прочел постановление Следственной комиссии, поднял на Петра Ананьевича благодарные и от этого беспомощные глаза и выговорил внушительным начальственным басом:

— Все же ваша Советская власть не лишена известной… верности слову. Простите, я взволнован. Для меня это, как вам сказать… очень много значит. Можете передать прапорщику Крыленко, что я готов принять на себя прежние обязанности.

Петр Ананьевич проводил генерала вниз, вышел с ним на крыльцо, пожал на прощанье руку, а когда возвратился в пятьдесят шестую, услышал от Мечислава Юльевича:

— Вас можно поздравить.

— Не меня, а нас, — улыбнулся Красиков. — Следственная комиссия провела дело генерала Маниковского безукоризненно.

В это мгновенье появился Алексеевский. У него был вид растерянного и как будто недовольного человека. Он сообщил:

— Генерала вашего видел только что. На извозчика сел. Выпустили его, что ли, Петр Ананьевич?..

— Выпустили, товарищ Алексеевский, выпустили.

— Как же? Для чего мы тут сидим? Чтоб контру выпускать?

Красиков и Козловский молча переглянулись. Мечислав Юльевич вскоре ушел по своим делам. Красиков сел около Алексеевского, спросил:

— Вы давно в партии?

— Давно. Третий год пошел.

— А в Следственную комиссию как попали?

— Обыкновенно. Был в отряде, когда Зимний брали, товарищ Подвойский знает меня. Он меня к товарищу Урицкому послал, когда комиссаров Следственной комиссии подбирали. Я сюда первый пришел.

— Первый — это хорошо. Но вот что я хотел бы вам сказать, товарищ Алексеевский: брать Зимний — это одно, а расследовать преступления контрреволюционеров — это совсем другое. Мы не имеем права ущемить ни одного невиновного. Запомните, ни

одного. Советская власть с самого начала должна показать всему миру, что никогда и нигде не было власти более справедливой и человечной.

— Это что же, значит, с контрой нянькаться?

— Вы уверены, что Маниковский контра?

— Факт! Царю служил, у Керенского министром был.

— А вы царю не служили?

— Я? — Алексеевский недоуменно уставился на Красикова. — Тоже — сравнили! Я что? Матрос. А он — генерал.

— По-вашему, следовательно, мы должны карать за звания? Быть может, и товарища Крыленко к стенке? И он ведь офицер. Еще вот что. Вчера вы допрашивали Парфенова. Плохо допрашивали. Неуважительно. Он, разумеется, враг. Но и это не дает нам права забывать, что мы уполномочены вести следствие от имени Советской власти. Повышать голос, оскорблять никого нельзя. Хочу, чтобы вы это запомнили.

Потом в течение нескольких лет Красиков ревниво следил за судьбой генерала Маниковского. Алексей Алексеевич занимал высокие посты в Красной Армии. Ведал снабжением, был начальником Главного артиллерийского управления. В двадцатом году он погиб в железнодорожной катастрофе в Туркестане. Катастрофа, по всей вероятности, была делом рук басмачей.

Напасть на след заговорщической организации Пуришкевича помог случай. Третьего ноября в штабе Петроградского военного округа был задержан прапорщик Зелинский. Он пытался похитить чистые бланки штаба. Прапорщика препроводили к Крыленко. На допросе в Зелинском взыграла дворянская спесь, он разобиделся и в запальчивости заявил, что выполнял задание Пуришкевича. Спустя два дня в гостинице «Россия» были арестованы братья Пуришкевичи и барон де Боде. В номере барона обнаружили самое разнообразное оружие, а также письмо на имя генерала Каледина. Через несколько дней были схвачены и некоторые другие участники заговора: братья Парфеновы, штабс-капитан Душкин…

Владимира Митрофановича Пуришкевича, вождя и вдохновителя черносотенцев, лидера крайне правого крыла думских монархистов, главу созданной им «Палаты Михаила Архангела», допрашивали Козловский и Красиков. Пуришкевич держался бесстрашно, даже вызывающе.

Он заговорил первым:

— Я понимаю, пока вы хозяева положения и постараетесь воспользоваться моментом, чтобы физически уничтожить своих противников. Я не боюсь ничего, ибо знаю, что прожил жизнь честно, ко мне не пристанет никакая грязь. Я любил свой народ и

всю жизнь служил ему. Я…

— Гражданин Пуришкевич, — остановил его Козловский, — мы вызвали вас для допроса. Будьте любезны, ждите, когда вам будет разрешено высказываться. Вам еще вопросов не задавали.

Допрашиваемый метнул на комиссара взгляд, исполненный такой раскаленной ненависти, что на лице Козловского, казалось, останутся ожоги. Петр Ананьевич не удержался:

— Вы призывали к погромам, инспирировали дело Бейлиса, вы добивались осуждения русских интеллигентов, поднявших голос протеста в ответ на произвол. Ныне вы зовете в революционный Петроград казачьего генерала Каледина, чтобы, как сказано в вашем письме, «расправляться с чернью только публичными расстрелами и виселицей». Не кажется ли вам, что это несколько своеобразная любовь к своему народу!

— Первый вопрос, гражданин Пуришкевич. — Мечислав Юльевич приступил к допросу. — Где вы прятали оружие?

— На этот вопрос я отвечать не стану.

— Ваше право, — вмешался Красиков. — Но это не самая разумная для вас позиция. Оружие мы все равно найдем.

— Допускаю. — Пуришкевич ожег его взглядом. — Я только должен сказать, что мы его приобретали до октября, то есть еще в то время, когда действовали законы Временного правительства. Так что если вы имеете хотя бы отдаленное представление о праве, то понимаете, что по своим законам судить меня не можете. Закон — это известно даже гимназистам — обратной силы не имеет.

Красикову ценой нечеловеческих усилий удавалось сдерживаться.

— Второй вопрос, — бесстрастно продолжил Козловский. — На чьи средства существовала ваша организация?

— Каждый нес посильные расходы, — ответил Пуришкевич.

— Какой суммой исчисляются ваши «посильные расходы»?

— Не помню, да и не подсчитывал.

От Пуришкевича они, по сути, ничего не добились. Прочие арестованные по этому делу — Иван Парфенов, давний секретарь Пуришкевича, барон де Боде и штабс-капитан Душкин оказались более откровенными, сообщили известные им фамилии заговорщиков. Но о связях с другими контрреволюционными организациями, о складах оружия и от них точных и подробных сведений получить не удалось.

IV

«Арестантская» — одна из бесчисленных комнат Смольного — являла собой небольшое помещение с окном безо всякой тюремной решетки. При свете не слишком яркой электрической лампочки Михаил Гордеевич рассмотрел двух важных генералов, господина в шубе, знакомого по приемной пятьдесят шестой комнаты, и барона де Боде — этот всячески старался не выдать знакомства с Трегубовым. «Ишь ты! — уязвленно подумал Михаил Гордеевич. — Избегает. Голубая кровь… — Однако вслед за этой пришла иная мысль: — Дьявол его знает, может, оно и лучше? Может, не следует ничего открывать „товарищам комиссарам“?»

После полудня в арестантской появилась пожилая важная дама в дорогой шубе и простом платке. Вокруг все притихли — запахло домашней едой. В одной руке у дамы были судки, в другой — корзинка для хлеба. Она подошла к генералу, хмурому, располневшему, с нездоровым цветом лица. Они расцеловались. Дама достала из корзинки белую скатерть и беспомощно огляделась. В «арестантской» стола не было. После некоторых колебаний дама устроилась на стуле около мужа, извлекла из корзинки серебряные ложку, вилку, нож, открыла верхний судок. Запахи сделались невыносимыми. Арестованные притихли. Михаил Гордеевич, как и остальные, ощутил сосущий голод.

— Позвольте мне выйти в другое помещение поесть, — попросил красногвардейца генерал. — Здесь нет стола.

— Погодите, спрошу, — сказал тот и крикнул в дверь: — Эй, парень! Кликни-ка Мешкова.

Супругов препроводили в какую-то свободную комнату Смольного. Вслед за тем появился Мешков и объявил:

— Вот что, граждане. Нам кормить вас нечем. Я получил распоряжение водить вас по одному в смольнинскую столовку. Обед стоит рубль двадцать пять. Как, деньги у всех есть?

Арестованные молчали. Михаил Гордеевич, должно быть, от рождения так не страдал от голода, Как сейчас.

— Ведите меня. — Господин в шубе вызвался первым.

После него водили по очереди всех. Лишь Михаил Гордеевич, испытывая танталовы муки голода, сидел в углу, и ему хотелось плакать от жалости к себе.

— А вы? — Перед ним вырос Мешков. — Голодовку объявили?

— У меня, дружок, денег нет, — покраснев, сознался Трегубов.

— Ни копья? Да, дела! Погодите-ка.

Матрос убежал. Михаил Гордеевич опустил голову. Лицо его пылало, словно он окунул его в кипяток. Чудилось, будто

«арестантская» наполнилась презрительным насмешливым говором. «Сволочи сытые! — Ненависть к публике, сумевшей и под арестом приспособиться к обстоятельствам ловчее, нежели он, туманила рассудок. — Всех бы вас к стенке! Всех, до одного!»

Матрос возвратился чуть ли не через полминуты.

— Гражданин, пойдемте!

— Как же?..

— Пойдемте, пойдемте.

В смольнинской столовке было шумно, как в солдатской казарме в минуты построения. Народ бегал между столами, стучали ложки, огромное помещение было наполнено паром, словно баня.

Мешков подвел Трегубова к отдельному столу:

— Садитесь. Я — мигом.

Он исчез в клубах пара, оставив арестованного в одиночестве. «Ишь ты! — вяло подумал Михаил Гордеевич. — Не опасаются, что сбегу». Но сам понимал, бежать ему некуда.

Пока Трегубой, жадно расправлялся с пустыми щами, и какой-то кашей, Мешков незлобиво посмеивался. Затем сообщил:

— Петр Ананьевич денег дал…

Под вечер из «арестантской» увели генералов и господина в шубе. Воцарилось уныние. Все решили, что большевики начинают их «ликвидировать» с высших чинов. Арестованные не глядели друг на друга, молчали, прислушивались…

Вечером пришли за офицерами и бароном де Боде. Капитан Трегубов остался один. Тускло горела электрическая лампочка, в «арестантской» стояли не нужные теперь массивные скамьи, стулья. Была ужасающая тишина…

Михаил Гордеевич замер посреди «арестантской». Он весь напрягся, ожидая винтовочного треска.

«Вот и конец тебе, Михаил Трегубов, — содрогаясь от ясности неотвратимого, рассудил он. — Проболтался почти полвека, как дерьмо в проруби. И поделом тебе такой конец, песий хвост! — обругал он себя, озлясь. И вдруг мысль совсем иного свойства возникла в сознании: — Однако я ведь не такой, как Пуришкевич, де Боде, прочие. Для меня народ русский — не „быдло“, не „хамье взбесившееся“. Я и сам за революцию страдания принял. Петр знает…»

— Дежурный! — вскричал Трегубов и забарабанил кулаками в дверь. — Дежурный! Бумаги мне, перо, чернил!..

В «арестантскую» вошел красногвардеец. Зевая, спросил:

— Чего шумите-то? Чего надо?

— Бумаги дай, дружок. Написать я должен. Я напишу…

— Пишите. — Красногвардеец пожал плечами. — Дам чего

надо.

Менее чем за две недели существования Следственной комиссии пятьдесят шестая комната Смольного заметно пополнилась имуществом. Прибавилось еще два стола, у стен появились канцелярские шкафы, в углу стоял теперь несгораемый шкаф. Более не было нужды допрашивать задержанных у подоконника и вести протоколы стоя. Документы в последнее время составлялись по более или менее упорядоченной форме. Если прежде то и дело менялись прикомандированные к Комиссии конвойные отряды из матросов, солдат или красногвардейцев, то теперь Комиссии определили постоянный отряд — отряд под командой Кости Федулова.

Оставшись в пятьдесят шестой после заседания Совнаркома, Петр Ананьевич присел у свободного стола и задумался. Как теперь все будет? Как выкраивать время для газеты? Чем встретит Наркомюст, отданный, по сути, левым эсерам?

За соседним столом, обложившись кипами протоколов и книг, что-то углубленно обдумывал и записывал Мечислав Юльевич. Козловский тоже был назначен членом коллегии Наркомюста, и Петр Ананьевич нетерпеливо поглядывал в его сторону, ожидая, когда Мечислав Юльевич поднимет голову от бумаг. Хотелось поговорить о предстоящей работе, поделиться неотвязными сомнениями. Козловский не был человеком быстрой мысли, зато ему были свойственны основательность и практическая трезвость в суждениях. Он предпочитал не торопиться с окончательным решением и старался не тратить слов попусту. С ним Петр Ананьевич привык советоваться по всем сложностям — и в делах Следственной комиссии, и в делах житейских…

К столу Козловского подошел матрос Мешков из отряда Федулова и положил перед комиссаром два листа серой бумаги, густо исписанных чернилами. Мечислав Юльевич отложил работу, принялся читать. Лицо его сначала помрачнело, однако вскоре на нем отобразилась заинтересованность. Наконец, дочитав, он повернулся к Петру Ананьевичу.

— Трегубов разразился объяснениями. Почитайте. — Он подошел к Красикову и протянул ему серые листы. — Как вам это поправится?

Письменные объяснения Трегубова свидетельствовали о чрезвычайном возбуждении арестованного. Но сообщаемые им сведения были весьма любопытны. Оказалось, организация Пуришкевича действовала в самом тесном единении с эсерами-савинковцами, возглавляемыми не пойманным пока бывшим комиссаром Временного правительства на Балтийском флоте

Федотом Онипко. Из показаний Трегубова следовало также, что ему известны адреса некоторых тайных складов оружия.

— Это может нам помочь, — сказал Петр Ананьевич и, возвращая Козловскому трегубовские объяснения, спросил: — Как быть с автором?

— Право, не знаю, — Мечислав Юльевич задумался. — По-моему, допросим и, если не станет вилять, отпустим. У меня такое ощущение, что он сегодня для нас не слишком опасен. Как будто из мягкого воска сделан человек, а лет-то ему почти пятьдесят. К тому же очень просится на свободу. В Красноярске у него якобы старик отец, жена и дети. Лично я склоняюсь к мысли — отпустить. Вы не согласны?

— О семье он сказал правду. А вот отпускать ли? Велик риск. Не перевелись пока всяческие «спасители России»…

— Согласен. И все-таки нам его незачем держать. Мы и более опасных врагов отпускали. — Он, конечно же, имел в виду генерала Краснова, отпущенного Следственной комиссией под «честное слово» и бежавшего затем на Дон. У всех у них подспудно жила мысль, что они ошибаются, допуская снисхождение к врагам. Но слишком долго, должно быть, копили они в душе тоску по справедливости правосудия, чтобы тотчас после завоевания власти позволить себе ожесточиться. — Допросим его тщательно, — продолжал Козловский, — и, если окажется сговорчивым и даст полезные показания, пусть убирается. — Решать вам, Мечислав Юльевич.

К этому не привыкнешь. Что ни день — перемены, перемены, перемены. Вчера Наташа получила назначение на службу в банк. По нынешним временам она — специалист! Большевичка, служившая когда-то машинисткой в государственном банке, сегодня ценнее самого искушенного финансиста! Вчера также стало известно, что Следственная комиссия перемещается во дворец великого князя Николая Николаевича на Петровской набережной. Там же будет заседать и только что созданный Революционный трибунал. За Следственной комиссией сохраняется, правда, и пятьдесят шестая комната в Смольном. Здесь рядом ВРК, Совнарком, ЦИК, Владимир Ильич, Яков Михайлович, наркомы…

Петр Ананьевич объяснялся с Федуловым. Тому была поручена перевозка имущества и документов комиссии на Петровскую набережную, а дело не ладилось. Оба были взвинчены, голоса звучали, пожалуй, чересчур громко. Да и как было сохранить спокойствие, если не хватало телег, лошадей, возчиков?

Перед Петром Ананьевичем внезапно возник Трегубов. Обросший и помятый, он улучил минутку и сказал:

— Отпустили меня, Петр, пришел проститься.

— Знаю, что отпустили, — холодно отозвался Красиков. — Что намерен дальше делать? Искать Онипко или на Дон отправиться?

— Нет уж, с меня довольно, — Трегубов опустил глаза. — Домой подамся. Годы не те, чтобы на ветер их пускать. Семейной жизни хочу, оседлости, покоя…

— Посмотрим, куда тебя на сей раз кривая выведет.

— Никаких кривых более не будет. Можешь верить. Помощи просить я пришел. — Он посмотрел на стоящего поблизости Федулова и густо покраснел. — Без денег я вовсе остался — все Федот из меня вытряс. Не знаю, как сказать? Взаймы прошу, что ли. Как домой попаду, тотчас вышлю.

На другой день Красиков раздобыл в комиссариате по делам транспорта литер на проезд в Красноярск для капитана Трегубова…

Года четыре спустя случилось Петру Ананьевичу встретиться на Десятом съезде партии с делегатом от Красной Армии Константином Федуловым, прибывшим с Южного фронта. Костя, ставший командиром полка, рассказал Красикову о последних минутах жизни Михаила Гордеевича Трегубова. Повстречались они в девятнадцатом в Сибири. Трегубов был у Колчака, командовал карательным отрядом и попался в руки красным. Зверств за ним накопилось много, и трибунал приговорил его к расстрелу. Приговор приводили в исполнение бойцы из полка Федулова. Трегубов узнал Федулова, оказавшегося случайным свидетелем его освобождения из Следственной комиссии, и, не помня себя от страха и ненависти, прокричал последнюю в жизни фразу:

— Все, все вам припомнят, зверье! И тебе, и Красикову твоему. За все ответите. Будьте прокляты!

V

Более месяца они не покидали Смольный. Наташа переписывала на машинке документы Следственной комиссии, ВРК, разных совещаний — работы было довольно. О том, что у них есть свой дом, они и думать забыли. Да и не виделись почти все это время. В пятьдесят шестой жена не появлялась. Там и без того народу было с избытком. Мелькнут бывало друг у друга

перед глазами в людном смольнинском коридоре и исчезнут из виду. Дела. Не до разговоров. Даже при встречах в вокзалоподобной столовке Смольного не успевали поговорить. Обменяются издали улыбками, и каждый спешит к себе. Во время этих мимолетных свиданий Петр Ананьевич замечал по лицу Наташи, по мгновенно ускользающей улыбке, как устала она от неустроенного существования. Худющая стала, щеки втянуты, длинное платье висит, как на скелете. Он и сам устал беспредельно.

— Скудный обед в столовке — да и поесть-то там можно было в сутки лишь раз — почти не утолял голода; сон урывками где-нибудь на диване в пустой комнате не восстанавливал сил.

Никакого вознаграждения за работу никто не получал — слишком долго не удавалось взять под контроль Государственный банк. Лишь в начале декабря им овладели большевики. Наташу тотчас перевели туда. В те же дни Следственная комиссия перебиралась на новое место. По случаю переезда в воскресенье получили выходной день и отправились домой на Шпалерную.

В квартире пахло запустением. Войдя в прихожую, они некоторое время осматривались, как бы привыкая к мысли, что это их дом. Здесь все выглядело чужим, существующим в каком-то ином времени и мире. Многолюдье, шум и толчея Смольного отучили их от домашней тишины.

— Не найдется ли у нас чудом чего-нибудь поесть? — спросил Красиков.

Они зашли в кухню. Наташа открыла шкафчик, стала извлекать засохшие, покрытые плесенью хлебные куски, луковицы-уродцы. Съестного не было.

— Сбегаю-ка я в лавку на Литейный, — сообразила Наташа.

Возвратилась она так быстро, как будто и из парадного не выходила. Объявила, смеясь:

— Хоть шаром покати!

— Как же быть? Поесть-то надо.

— Придется идти в смольнинскую столовку.

— Ничего не поделаешь…

В кабинете зазвонил телефон. Это было неправдоподобно, как если бы подал голос покойник. Петр Ананьевич снял трубку:

— Алло! Слушаю!

— Наконец-то! — ворчливо произнес кто-то. — Здравствуйте, товарищ Красиков. Не узнаете? Я так и предполагал.

— Почему не узнаю? Здравствуйте, Николай Дмитриевич. Откуда вы? Из дому? Что же так? Работы сейчас предостаточно. Для такого специалиста, как вы…

— Обо мне, Петр Ананьевич, в другой раз. Просьба к вам:

хотелось бы встретиться.

— В чем же дело? Приходите. Я сегодня свободен и потому дома: Правда, мы с Наташей ненадолго уходим в Смольный. Возвратимся часа через два. И — милости просим.

Не виделись они всего каких-нибудь месяца полтора. А столкнись он сегодня с Соколовым на улице — навряд ли и узнал бы его. Поразительно изменился бывший патрон за этот короткий срок. Во что обратилась его неизменно ухоженная волнистая борода? Растрепанное мочало — иного сравнения не подберешь. А пальто, костюм? Все обвислое, измятое. Увеличенные стеклами пенсне карие глаза казались бессмысленно остановившимися…

Встретив его в: прихожей, Петр Ананьевич в первое мгновенье испугался: не болен ли? Однако беспокойства не выдал. Пожал робко протянутую, чуть подрагивающую руку и принудил себя бодро сказать:

— Рад видеть вас, Николай Дмитриевич.

— Да уж какая радость? Кончился присяжный поверенный Соколов. Бренные мощи его ползают по грешной земле. Нет ему места в новой жизни. — Он вздохнул и опустил голову.

— Вот это уже лишнее, — наставительно проговорил Красиков. — За вами такого никогда не замечалось. — Он взял гостя под руку и повел в кабинет. — Николай Дмитриевич, такие люди, как вы, Советской власти нужны. Очень. Хотите, поговорю с товарищами? Найдут подходящее дело.

— Нет, нет! — едва ли не испуганно прервал его Соколов. — Не сейчас, не сейчас. Я пришел совсем по другому поводу.

— Вы садитесь. — Они уже были в кабинете. — Вот сюда, — показал Петр Ананьевич на стул, свободный от бумаг и газет дооктябрьских времен. — Вот и хорошо. Теперь я готов слушать.

Николай Дмитриевич посмотрел на него недоверчиво: притворяешься доброжелательным или искренне рад встрече? Или, быть может, это милость победителя? Молчал Соколов чересчур долго, не решаясь, должно быть, начать разговор.

— Видите ли, дело весьма деликатное. Если бы в нашем горемычном отечестве действовали общепринятые законы, я бы с этим к вам, конечно, не пришел. Но сейчас, когда все попрано, и государственные устои, и законность, — в моем визите нет ничего дурного…

— К чему вы, Николай Дмитриевич, клоните? — угадывая за этим вступлением нечто предосудительное, нетерпеливо остановил его Красиков. — Чего вы, собственно, хотите?

— Лично я — ничего. Меня попросили товарищи, наши с вами недавние коллеги. Я ведь, Петр Ананьевич, до сих пор прежде всего считаю себя адвокатом, а уж после политиком,

революционером, членом той или иной партии…

— Вот именно — «той или иной»! — начинал раздражаться Петр Ананьевич. — Но я пока не уловил существа просьбы.

— Меня попросили обратиться к вам как к комиссару Следственной комиссии от имени петроградской адвокатуры, точнее говоря, от уцелевшей малой части ее. «Иных уж нет, а те — далече…» В чем дело? Не сомневаюсь, вам, Петр Ананьевич, известно, какой общественный резонанс вызвал арест Софии Владимировны Паниной?

— Известно, — Красиков помрачнел. — Нынешние ваши друзья возмущены «произволом» Советской власти, именуют нас «варварами», «разбойниками» и еще более хлестко. Следственную комиссию буквально осаждают ходатаи, требуют немедленного освобождения этой дамы. И никому нет дела до того, что благородная графиня в приступе ненависти к рабоче-крестьянской власти не постеснялась утаить народные гроши. А без них сегодня не на что учить детей. Так вы за нее хлопочете?

— Петруша… простите… Петр Ананьевич! Как можно? Неужели власть так ослепляет? Вы ведь интеллигентный человек, образованный юрист! Если бы я услышал это от матроса, солдата или фабричного рабочего, быть может, я бы не удивился. Но вы? Вы?!

В эту минуту Николай Дмитриевич ничуть не напоминал того потерянного жалкого человека, каким вошел в квартиру Красикова. Перед Петром Ананьевичем сидел несколько сдавший под бременем лет и житейских невзгод присяжный поверенный Соколов, увлеченный уголовным делом, красноречивый и настойчивый. Даже более настойчивый, чем в былые времена. И Петр Ананьевич понял окончательно, что разговор с ним бесполезен. Они говорят на разных языках.

— Вы что же, оправдываете саботаж? — спросил он таким тоном, что Соколову стало ясно: пора прощаться.

— «Саботаж»? — ухватился за слово Николай Дмитриевич. — В каком кодексе вы встречали этот вид преступления? У древних римлян, в уголовном праве европейских стран?

— Наш спор не принесет никаких плодов. Огорчительно, Николай Дмитриевич, что вы не понимаете очевидных вещей. Замечу лишь, что если «саботаж» как состав преступления не был описан в прежних уголовных законах, то также никакими нормами не предусматривались и встречи адвокатов со следователями на дому.

— Согласен, — кивнул Соколов. — Я о том же говорил товарищам.

— «Товарищам»! Кто ныне ваши товарищи, Николай

Дмитриевич? Кадеты, «энесы», соратники Керенского, Церетели?

— Я все же просил бы выслушать мою просьбу или, если хотите, совет. Уверяю, ничего предосудительного в этом нет. Позволите?

— Что же делать!..

— Итак, о моей миссии. Вам известно, как популярно в русском обществе имя Паниной? Вот видите. Известно, не сомневаюсь, и о том, сколь много сделала она для трудового народа. Конечно, я не знаю дела. Но вполне допускаю, что вина установлена. Но, Петр Ананьевич, мне ли вам говорить, что бывают случаи, когда высшая справедливость в том именно и состоит, чтобы не карать виновного.

— Вопрос о наказании решает не Следственная комиссия, а суд, Революционный трибунал. Так что можете сообщить своим единомышленникам о нашем разговоре примерно следующее: вы сделали все возможное, но Красиков обнаружил совершенную несговорчивость. В его понимании «высшая справедливость» вовсе не то, что имеете в виду и вы и они.

Проводив гостя до двери, Петр Ананьевич вновь спросил:

— Так как же, Николай Дмитриевич, поговорить о вас? Думаю, найдется для вас настоящее дело.

— Нет, нет. Пока подожду.

— Как угодно. Но только имейте в виду: мы взяли власть не на короткий срок, а крепко и навсегда.

— Будущее покажет. Всего доброго. Благодарю за аудиенцию.

— Не стоит благодарности. Будет нужда, приходите.

— Все может быть…

Он вновь сделался таким же, каким пришел, — жалким и потерянным. Петр Ананьевич постоял в прихожей, послушал, как медленно удаляются шаги Соколова, и сказал Наташе: — А ведь мог быть с нами…

Графиня Панина, товарищ министра просвещения во Временном правительстве, была арестована в конце ноября. Комиссар только что созданного Наркомата по делам народного просвещения Рогальский, уполномоченный принять дела от бывшего министерства, обнаружил в его кассе недостачу девяноста трех тысяч рублей. Опрошенные чиновники объяснили, что сумма эта была передана на хранение в «надежное» место — какое именно, они сообщить не пожелали — по распоряжению товарища министра Софьи Владимировны Паниной.

В дореволюционные времена графиня Панина, член ЦК партии кадетов, была весьма заметной фигурой на политическом небосклоне. Она происходила из богатой семьи и, еще в

молодости занявшись благотворительностью, снискала славу женщины передовой, бескорыстно любящей народ. Ею были созданы так называемые «народные дома»: в Петербурге и в родовых имениях — в Валуйках Воронежской губернии, Марфине под Москвой и в Крыму. В этих домах были классы для бедных детей и взрослых, бесплатные библиотеки с выдачей книг на дом. Графиня поддерживала вспомоществованиями некоторые учебные заведения и учреждала стипендии для бедных студентов.

После Февраля Панина оказалась первой женщиной в России, занявшей ответственный правительственный пост, — была назначена товарищем министра государственного призрения в кабинете Керенского, а позднее — товарищем министра народного просвещения.

После Октября, когда министра арестовали и его ближайшие помощники покинули тонущий корабль, Панина осталась во главе всего учреждения. Узнав о создании Народного комиссариата по делам просвещения, она поняла, что со дня на день могут явиться большевистские комиссары, и отдала письменное распоряжение экзекутору Дьякову отнести всю наличность из кассы в «надежное» место. Теперь она наотрез отказывалась возвратить эту сумму и заявляла, что никаких комиссаров не признает.

Графиню арестовали ночью двадцать восьмого ноября. Федулов, доставивший арестованную в Смольный, пришел в пятьдесят шестую рассерженный:

— В другой раз на женщин меня не посылайте. Вот взяли ее, а куда девать? Гражданочка капризная — с мужским полом ни за что не желает в арестантской сидеть. Что прикажете с ней делать?

— Ведите сюда, — распорядился Петр Ананьевич. — Побеседуем. Может, и держать не придется.

Он втайне слегка волновался. О графине Паниной был наслышан издавна. А в августе, когда его избрали по большевистскому списку гласным городской Думы, встречался с ней на заседаниях. Она казалась ему особой независимой и властной. Вокруг нее всегда вились репортеры и фотографы. Она обыкновенно держалась в стороне от всех, и вид у нее был важно-сосредоточенный, словно бы она не переставала думать о каких-то важных, только ей ведомых материях. Красиков ни разу не видел ее беседующей с кем-нибудь из гласных.

В комнату Панина вошла спокойно, оглядела помещение прищуренными глазами. Была она в великолепной собольей шубе почти до пят, подчеркивающей стройную для ее сорока шести лет фигуру. Конвоир Паниной Мешков казался рядом с арестованной неприметным, хотя был не так уж мал ростом.

— Мне с кем разговаривать? — спросила графиня низким голосом.

— Садитесь. — Петр Ананьевич вышел из-за стола, поставил перед ней стул. Занял свое место, придвинул чернильный прибор, приготовил чистый лист бумаги. — Итак…

— Я бы хотела знать, по какому праву, — графиня неожиданно резко вскинула голову, — по какому праву ваши люди врываются в дома, хватают людей, не объяснив причины?

— Вам непонятна причина?

— Да, непонятна! Вы именуете себя народной властью, а на народ вам наплевать. У меня в доме арестовали депутатов Учредительного…

— Гражданка Панина, сейчас речь о вас. Прочие лица ответят сами. — Петр Ананьевич строго посмотрел на нее. — Вы не догадываетесь, в чем причина вашего ареста?

— Быть может, соизволите разъяснить ее?

— Соизволю. Вами или с вашего ведома из кассы министерства похищены девяносто три тысячи рублей.

— Похищены? Вы, господин Красиков, — если мне память не изменяет, так ваша фамилия? — решили, что их похитила я?.. Ошибаетесь. — Я распорядилась передать министерские деньги в надежное учреждение и не нахожу в своем поступке ничего безнравственного. Возвращу их лишь лицам, ответственным перед народом, когда вы освободите их из казематов Петропавловской крепости. Меня поставило на пост правительство, и я подчинена только ему.

— Вашего правительства уже нет. Существует новое — Совет Народных Комиссаров. Его декреты обязательны для всех.

— Я не признаю ни этого правительства, ни его декретов. Сколько мне дано сил, буду бороться с разграблением народного добра!

— С вашей точки зрения, «народным добром» прежде всего следует именовать владения Паниной в Крыму, Марфине и Валуйках, не так ли? Уж там-то народ никогда не грабили? Там господа трудились на народ?

— Да, трудились! И народ это помнит и не забудет никогда.

— Вы ослеплены ненавистью к Советской власти, и я не вижу смысла продолжать этот разговор. Но предупреждаю, вы будете под арестом до той поры, пока не возвратите похищенных денег. Если же станете слишком долго упорствовать, ответите перед революционным судом.

Панина попыталась усмехнуться. Но усмешка получилась вымученная. «А не столь уж вы бесстрашны, госпожа! — подумал Петр Ананьевич. — Боитесь суда. Так-то лучше», — и сказал:

— Как видите, все зависит от вас. Напишите сейчас подчиненным, чтобы возвратили утаенную сумму, и мы вас освободим.

— Ни за что! — Графиня опять сделалась высокомерной, гордой. В гневе она почти бессвязно, не слыша себя, выкрикивала: — Испугать, испугать хотите?! Убить?.. Вы можете… Вы!.. Вы…

Мечислав Юльевич подал ей воды. Она оттолкнула стакан. Шуба на ней распахнулась, волосы выбились из-под шляпы, лицо пошло пятнами.

— Интеллигенты!.. Комедианты!.. Правительство!.. Вас в порядочный дом впускать нельзя… Дикари!..

— Мешков! — распорядился Петр Ананьевич. — Проводите гражданку в приемную. Дайте воды. Пусть успокоится. — И когда они остались одни, обернулся к Козловскому: — Как с ней быть? В Смольном держать негде. И отпускать нельзя. Очень уж воинственная госпожа.

— Почему же? — возразил Мечислав Юльевич. — Я бы освободил ее под залог. Пусть внесут за нее сумму, вдвое больше похищенной. И отпустим. Лающих и без нее достаточно.

— Маузер дать ей понюхать! — высказался Алексеевский. — Враз бы…

— Мы вас поняли, — остановил его Красиков и крикнул: — Мешков! Приведите арестованную!

Но Панина только съязвила в ответ на их предложение. Много, мол, вас, желающих поживиться за счет политических противников.

Пришлось отправить графиню в женское отделение «Крестов»…

VI

Пока на всем лежала печать неустроенности, беспорядка. Дворец великого князя Николая Николаевича являл собой нечто подобное военному лагерю. Со стен снимали изображения императора, великих князей, наследников, их фавориток. Приколачивали лозунги, плакаты. По промороженным лестницам и коридорам тащили шкафы, письменные столы, сейфы. Стучали молотки, о паркет гремели подкованные каблуки. Было холодно и неуютно.

Следственной комиссии отвели второй этаж. Отныне у каждого был свой кабинет. Красикову предоставили бывшую дворцовую гостиную, отделанную светлым полированным деревом. Здесь от прежних владельцев осталось несколько мягких

кресел, широкий диван, подставки для цветов. Скоро эту мебель должны будут отвезти в школы и общежития.

«Недурное место для работы», — подумал Петр Ананьевич. Опустил докуренную папиросу в серебряную пепельницу и вышел в коридор. Нужно было помочь товарищам, отдать кое-какие распоряжения и проследить, как они выполняются.

Навстречу шагал Алексеевский в своем неизменном матросском бушлате, с деревянной кобурой маузера на боку. Во рту белела погасшая папироса. Он выглядел озабоченным и важно-суровым. «Должно быть, кого-нибудь отчитывал, — подумал Петр Ананьевич. — Он специалист по этой части».

— Петр Ананьевич, — заулыбался Алексеевский, увидев Красикова. — А тут ничего, правда? Будет где с контрой разговаривать. Да, — спохватился матрос, — Жуков из трибунала вас искал. — Крикнул вниз: — Товарищ Жуков, давай сюда!

По лестнице поднимался немолодой рабочий в черном пальто и кожаной фуражке.

— Где вы пропадаете? — недовольно спросил Жуков. — Ищу, ищу… Поговорить надо. Здравствуйте. — Жуков протянул руку с широкой бугристой ладонью. — Владимир Ильич к вам направил.

С первым председателем Революционного трибунала Иваном Павловичем Жуковым, большевиком с Девятого года, Красиков уже встречался. Но вот присмотреться к этому рабочему, познакомиться с ним как следует не случилось. Время было такое, что лица мелькали перед глазами, как снежинки в метель. «Вот он какой, оказывается, председатель трибунала», — разглядывая крепкого человека с несколько угрюмоватым лицом, думал Красиков.

Родилось сомнение: удачен ли выбор? Что ни говори, а первое судебное установление Советской власти должно с самого начала убедить всех — и в России, и в Европе, — что рабоче-крестьянское правосудие не уступает юстиции «демократического общества» не только по части справедливости и гуманности, но и по составу судей и культуре процесса. Жуков не производил впечатления человека, способного стать зачинателем рабоче-крестьянского суда.

Но его кандидатура была одобрена Лениным. А Владимир Ильич — сам юрист, и уж понимает, конечно, какое место в государстве Советов должна занять вновь создаваемая юстиция. Особенно сейчас, когда на повестке дня с такой остротой стоит задача подавления классового врага. «Быть может, именно поэтому Владимир Ильич и считает подходящей кандидатуру Жукова, рабочего-большевика? — размышлял Петр Ананьевич. — Сейчас для нас классовое чутье, очевидно, важнее атрибутов

процесса».

— Что же, пойдемте побеседуем, — сказал он.

В кабинете устроились в креслах. Иван Павлович, несколько робея, стал излагать свои беды:

— Третьи сутки без сна живу. Думаю и думаю — голова пухнет. Председатель трибунала! Мне и присниться такое не могло. Грамоты, можно сказать, как надо не набрался. Университеты в тюремных камерах да ссылках проходил. Владимиру Ильичу об этом прямо сказал. Мол, выйду перед народом, а с чего начать — и ума не приложу. Посмеялся он и говорит: «Нам всем сейчас азбуке управления своим государством учиться приходится. Вы большевик и, значит, поймете, кто — враг, а кто — нет. Если же встретятся затруднения чисто юридического свойства, обратитесь еще к товарищу Красикову, он прекрасно разбирается во всех юридических вопросах». Вот я и…

Растроганно и вместе с тем несколько сурово, стараясь скрыть за этой суровостью свои чувства, рожденные словами Ленина, принялся Петр Ананьевич расспрашивать Жукова, как тот подготовился к завтрашнему судебному заседанию, изучил ли дело, ознакомились ли с ним остальные члены трибунала, определен ли состав суда.

— Все сделано, — отвечал Жуков. — Иное меня тревожит. Шум большой господа подняли из-за этой самой графини. Как быть, если они бузу завтра начнут? Народ у меня молодой, насчет контры не больно выдержанный. Опасаюсь, как бы не сорвался кто. Мы ведь судьи теперь…

— Вижу, в моих советах вы не нуждаетесь, — после некоторого молчания сказал Петр Ананьевич. — Ваши слова убедили меня, что первый председатель трибунала отлично понимает свои обязанности.

— Понимать-то понимает. А все-таки как быть, если завтра на суде и впрямь буза начнется?

— Вы председатель суда, вам и карты в руки. А. «буза»… — Петр Ананьевич произнес часто звучащее в последнее время слово. Оно резало слух анархистской окраской. — В ваших интересах не допустить в зале никакого беспорядка. Впрочем, не думаю, что они осмелятся на открытую провокацию. Да, вот еще что, — вспомнил Красиков. — Заседание следовало бы открыть повнушительнее и поторжественнее. Подумайте над вступительным словом.

— Кое-что уже придумал. Владимиру Ильичу показывал. Он посмотрел, вроде бы понравилось. Показать вам?

— Да нет, зачем же? Раз Владимир Ильич одобрил… У вас ко мне еще есть вопросы?

— Вопросов много, Вот шел сюда из Смольного, тысячами в голове на считать можно, было. А теперь все перезабыл. Хотя…, Вот вспомнил: значит, спрошу ее, графиню, куда деньги девала и по какому праву народным добром распоряжается. А она отвечать не пожелает. Как быть?

— Она — подсудимая. А подсудимый, согласно общепринятым процессуальным нормам, вправе не отвечать на вопросы суда и сторон.

— Глупые нормы, — сказал Жуков.

— Не совсем. В этих нормах отражен судебный опыт многих поколений. Суду, Иван Павлович, нельзя начинать процесс, исходя из уверенности, что подсудимый — преступник. В таком случае суд уже не суд, а орудие расправы. Вам следует помнить, что всякое лицо, оказывающееся перед трибуналом, предполагается невиновным, пока в самом судебном заседании не будет установлена его вина.

— Больно хитро это для меня. А все-таки как быть с графиней, если она с трибуналом объясняться не пожелает?

— Не пожелает — ее право. В вашем распоряжении есть написанная рукой графини бумага, говорящая сама за себя. Свидетелей допросите, и будет полная ясность.

— Теперь вот что. Значит, обвинителем у нас должен выступать товарищ Рогальский. Это хорошо, он человек с пониманием. А как быть, если кто из публики захочет слово сказать?

— Надо позволить. Пусть выступают. Вы ведь, члены трибунала, на митингах всякого наслушались. Вас не собьют с толку.

— Понятно, не собьют. А вот чего ей присудить, Паниной-то?

— Вот этого, Иван Павлович, я вам подсказать не могу. Меру наказания суду надлежит избирать самостоятельно.

— Спасибо. Прояснили малость… Теперь уж я не тревожусь — как-нибудь сладим с делом. Пойду. — Он вышел из кабинета. Из открывшейся двери пахнуло холодом…

Электрическая проводка оказалась неисправной и во дворце не было света. В коридорах люди натыкались друг на друга, чертыхались, перекрикивались лесными голосами. Петр Ананьевич с трудом разыскал Федулова, распорядился найти монтера. Следственная Комиссия в ночные часы вела обыкновенно самую горячую работу. Именно ночью доставляли арестованных и проводились первые допросы.

Возвращаясь к себе, Петр Ананьевич заглянул в кабинет Алексеевского, В освещенном слабой лампой помещении помимо

комиссара находился еще один человек. Петр Ананьевич разглядел вначале лишь широкое пальто с шалевым темным воротником. А лица не рассмотрел. Алексеевский попросил Красикова зайти:

— Вот, Петр Ананьевич, насчет дела Паниной гражданин этот повышенный интерес проявляет.

«Повышенный интерес проявляет»! — Петр Ананьевич усмехнулся в полумраке: кабинет обязывает! — подошел:

— Слушаю вас, товарищ.

— Здравствуйте, Петр… Ананьевич. — Посетитель шагнул навстречу. — Не узнаете меня? Я — Гуревич. Университет, Сибирское землячество. Неужели забыли?

— Простите, не помню. — Разумеется, он теперь узнал в этом господине с полным лицом Яшу Гуревича, когда-то молодого бойкого завсегдатая студенческих «чаев» и «вечеринок», витийствовавшего на собраниях о «первородной силе духа» русского мужика. Припомнил свои стычки с ним. Но ему казалось неуместным предаваться здесь этим воспоминаниям. Тем более что тот «проявлял повышенный интерес» к делу графини Паниной. — Так что же вас интересует?

— Я хотел бы объяснить. — Внезапно вспыхнувшая электрическая лампочка ослепила посетителя ярким светом, и он прикрыл глаза. — Мне бы хотелось…

Алексеевский что-то писал, не поднимая на них глаз. Красиков и Гуревич сидели на не отогревшихся еще стульях у стены. Яков Яковлевич рассказывал о своей миссии. Он сообщил, что к нему обратилась кузина Софьи Владимировны Паниной с просьбой принять на себя защиту графини в Революционном трибунале. Он не мог не согласиться, ибо они с Софьей Владимировной давние товарищи по партии. И вот теперь он должен ознакомиться с делом и получить свидание с подзащитной.

Красиков курил и молча слушал. «Господа действительно решили дать бой, — размышлял он. — Трибуналу будет нелегко». Он мысленно сопоставил Рогальского, вчерашнего аптечного провизора, с этим чрезвычайно образованным кадетом, изучавшим философию, историю религий и искусств, красноречивым и находчивым. «Забьет, забьет он Рогальского… Но ничего, Жуков не даст себя на мякине провести», — несколько успокаиваясь, подумал он.

— Дело передано Революционному трибуналу, — сказал Красиков. — Так что я для вас теперь лицо бесполезное.

— Нет, нет, э-э… товарищ Красиков, — поспешно возразил Гуревич. — Вы здесь единственный человек, способный трезво

отнестись к происходящему. Если бы я не знал вас по студенческим временам, не говорил бы этого. У меня очень трудная миссия, вы понимаете. Простите мне эту настойчивость, но я прошу вашей помощи.

Выхоленный господин без следов переутомления и недоедания на лице симпатии не возбуждал. Но Петр Ананьевич подавил в себе злую непримиримость и спросил:

— Какой же?

— Вы ведь недавно были присяжным поверенным. Кто, как не вы, осведомлены о препятствиях, чинимых защитнику в политическом процессе? Ведь суд над Паниной — это политический процесс, не так ли?

— Безусловно. Но задача защитника в нем не столь уж сложна. Мы вашу графиню не предавали бы суду, возврати она утаенные деньги.

— Мне необходимо ознакомиться с делом. Кроме того, я хотел бы иметь свидание с Паниной. Постараюсь уговорить ее. Вы мне поможете?

— Это вам все разрешат и без моей помощи. Обратитесь в трибунал. Дело у них.

— Весьма признателен. — Гуревич встал, потоптался перед Петром Ананьевичем, как бы колеблясь, подать ли руку. Красиков отошел к столу Алексеевского, давая понять, что время аудиенции исчерпано. — Прощайте, — сказал посетитель и вышел.

Алексеевский оторвался от работы:

— От нас, примечаете, сердечности требуют. Что значит контра! Сами расстреливали и вешали, а от нас требуют сердечности.

— Мы, товарищ Алексеевский, постараемся обойтись без расстрелов и виселиц. Мы — Советская власть.

Казалось бы, чепуха, мелочь, яйца выеденного не стоит. А вот засело в голове, будоражит память, мешает думать о делах сегодняшнего дня. Ну явился в Комиссию этот самый Яков Яковлевич Гуревич, матерый кадет. Так что ему в этом визите? Почему он, Петр Красиков, столько размышляет о нем?

В памяти одна за другой всплывают картины немыслимо далекой юности, первых месяцев студенческой жизни в сказочном Петербурге, встреч и знакомств с новыми людьми, прогулок по ночному городу, споров, мечтаний вслух, тайных сходок, первых рабочих кружков…

Гуревич никогда не был ему особенно симпатичен. В памяти, однако, засел прочно. Вместе с братом они всегда оказывались на виду. И на собраниях в университете, и в землячестве. А позднее,

когда Красикова приняли в сословие присяжных поверенных, он вновь повстречался с Гуревичами. Младший теперь был его коллегой — адвокатом, старший служил по ведомству народного просвещения.

На политический небосклон Яков Гуревич взошел после Февраля. И как взошел! Имя его то и дело мелькало в кадетской «Речи», «энесовском» «Русском богатстве». Стали появляться портреты в иллюстрированных журналах, фамилия, упоминалась в репортажах с кадетских собраний и митингов, проводимых партиями правительственной коалиции. Красикова ничуть не удивило бы, если бы Гуревич сделался товарищем министра или даже министром при Керенском.

Но почему господин Гуревич приходил именно к нему, Петру Красикову, и пытался вызвать на откровенность, ожидая чуть ли не сочувствия? Неужели они рассчитывают на его понимание? Нет, разумеется. Он для них враг, непримиримый и опасный.

И все-таки Николай Дмитриевич завидует Якову Яковлевичу! Каким бы ни был этот новорожденный Революционный трибунал, а если Гуревичу дали для изучения дело и допустили на свидание с арестованной графиней, позволив продолжительное время беседовать наедине, следовательно, новая судебная власть не имеет в виду с первых шагов отступать от принятых во всех цивилизованных странах норм уголовного процесса. Если они, судьи-большевики, намерены соблюсти хотя бы видимость объективности, то и за это надо отдать им должное, ибо царский суд в трудное для самодержавия время менее всего был озабочен соблюдением внешней благопристойности. Достаточно вспомнить «скорострельную юстицию» после пятого года.

Безусловно, убеждать судей-большевиков, судей-рабочих, что графиня, утаившая от их власти принадлежащие, как они полагают, трудовому народу деньги, достойна снисхождения, — занятие совершенно безнадежное. Осудив Софию Владимировну со всей строгостью, они по-своему будут правы.

Утром следующего дня Николай Дмитриевич вошел в уютный зал дворца великого князя Николая Николаевича. Никто из его соседей по рядам для публики не догадывался, очевидно, каким смятением охвачен присяжный поверенный Соколов.

Он в зале суда! На сцене длинный стол, покрытый красной тканью. Позади кресло с высокой спинкой для председателя. Слева и справа от него по три стула для членов суда. Левое крыло сцены отведено под скамью для почетных гостей и судей очередных смен, в правом крыле, у стены, скамья подсудимых. Друг против друга размещены столики для обвинения и защиты. Весь этот зал был для Николая Дмитриевича невыразимо

дорогим, священным местом.

Николай Дмитриевич едва ли не со слезами восторга на глазах смотрел по сторонам, вдыхал несколько сгустившийся, но все же милый сердцу воздух судебного зала и не обращал внимания на ворчливо-саркастические реплики своих соседей. Ведь разве им дано было чувствовать то, что чувствовал он?

Открытие заседания, намеченное на полдень, задерживалось. Позади Николая Дмитриевича довольно громко переговаривались двое:

— Никакого порядка!

— Совершенная истина-с! Власть — комедия, суд — комедия…

— Нет уж, Василий Николаевич! Не комедия это, отнюдь! Не комедия, Василий Николаевич, — трагедия! Во всероссийском масштабе…

— Ради бога, тише! Услышат…

На сцене появился Федулов, громко объявил:

— Встать! Суд идет!

Николай Дмитриевич поднялся. И внезапно оказался как будто в пустоте. Он удивленно повернул голову. Занимавшая места для публики интеллигенция не пожелала встречать стоя большевистский суд. Рабочие и солдаты смотрели на «господ» с угрюмой ненавистью. Николай Дмитриевич едва не крикнул: «Что же вы сидите, милостивые государи? Вы ведь в суде!» Но он смолчал, понимая, что это будет глас вопиющего в пустыне. Его уже дергал за рукав Гуревич-старший…

VII

Петр Ананьевич шагал по кабинету от окна к двери и обратно, курил одну папиросу за другой. Перед глазами появлялась то скованная льдом Нева, то резная дверь с бронзовыми узорами. Он, однако, не видел ни того, ни другого, так как мысленно был внизу, где вот уже три часа длился процесс по делу Паниной.

Утром Красиков наблюдал из окна за публикой, скопившейся у входа во дворец. Видел знакомых по университету и адвокатскому сословию. Заметил и бывшего своего патрона.

Что сейчас происходит внизу? Как ведет себя подсудимая? Толково ли выступил Рогальский? Что изрек Гуревич? Как на все это реагирует публика? Не растерялся ли Жуков? От этих прилипчивых вопросов не было спасения. Не помогал табак, нельзя было забыться в текущих делах. Мысли упорно

возвращались к неведомо как протекающему во дворцовом зале судебному процессу. Пойти бы туда, постоять, послушать! Хотя бы взглядом, жестом подбодрить, предостеречь…

Снизу доходит приглушенный каменными препонами шум, свист. Черт возьми! Ему бы сейчас туда! Поизвивались бы господа на горячих угольях правды. Он показал бы им, что значит пролетарская, большевистская прямота. Нет, не стал бы он требовать слишком суровой кары для подсудимой, но обнажил бы ее истинное лицо так, чтобы она и ее буржуазные почитатели не знали, куда девать глаза. Но нельзя, ни в коем случае нельзя отступать от тысячелетиями выработанных принципов независимости суда. Вчера вечером ему позвонил Бонч-Бруевич, пригласил к председателю Совнаркома. Владимир Ильич принялся расспрашивать, как работается Следственной комиссии в великокняжеских покоях, был ли у него Жуков, как настроен председатель Ревтрибунала перед процессом. Потом Ленин сел с ним рядом и повел речь о другом. С первой фразы Красикову стало ясно, что Владимир Ильич не удовлетворен их работой.

— Вам не запомнились высказывания маркиза ди Беккариа о смысле и роли наказания? — спросил Владимир Ильич. — Мне приходилось в свое время ссылаться на этого маркиза, и я запомнил вот это его изречение: «Следует употреблять только такие наказания, которые при сохранении соразмерности с преступлениями производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на душу людей и были бы наименее мучительными для тела преступника». Каково? — Владимир Ильич взглянул на Красикова, прошелся по кабинету, остановился перед собеседником, заложив руки за спину.

— Это я помню, — с гордостью сказал Петр Ананьевич.

— На словах-то помните. — Владимир Ильич смотрел на Петра Ананьевича, сузив глаза. — А на деле? Считаете ли вы, товарищ Красиков, удовлетворительным нынешнее положение в Комиссии? У нас есть сведения, что петроградские тюрьмы переполнены самым разношерстным народом. Среди арестованных много публики случайной, такой, что ее и нужды нет держать под стражей. Скверно, Петр Ананьевич, архискверно! Мы сейчас особенно должны помнить, что к любому нашему действию все классы — а трудящиеся в первую очередь! — присматриваются чрезвычайно внимательно, чуть ли не на зуб пробуют. Диктатура пролетариата может быть успешной лишь в том случае, если сумеет соединить принуждение и убеждение. А мы, оказывается, заключаем людей в тюрьмы без всякого основания. Сами даем пищу вражеской агитации. Согласны? Еще бы! В таком случае надо подготовить документ об очистке тюрем

от случайных лиц, не представляющих опасности для Советской власти. Я подпишу его от Совнаркома, вы — от Следственной комиссии.

Вечером Ленин и Красиков подписали два документа: приказ о немедленном освобождении из Петропавловской крепости и «Крестов» тех арестованных, против которых не было веских улик, и особый приказ об освобождении из Петропавловской крепости членов деградировавшей и потому безопасной для Советской власти войсковой рады…

В комнату, размахивая руками, влетел Алексеевский.

— Я говорил? Говорил?! — Щеки его раскраснелись, глаза устремлены были на Красикова, но безусловно не видели его. — Что же это делается? Буржуи рабочего какого-то подкупили, — факт, что подкупили! — так он ту шкуру-графиню до небес превозносил, прямо как революционерку. Контру надо — к стенке!

— Вы были в зале? — Красиков спросил так, что Алексеевский сразу пришел в себя. — Вы кто? Комиссар Следственной комиссии или… Я вам объяснял, что следователь не должен появляться на заседании?

— Так я и не заходил, — Алексеевский отвел глаза. — Возле дверей только постоял, послушал. Душа прямо закипела. Я так скажу, товарищ Красиков, хоть серчайте на меня, хоть нет. Не то мы делаем, не то, Шуточки с контрой шутим, а с нее шкуру сдирать надо.

— Что это с вами? — строго спросил Красиков.

— Нервов моих не хватает. — Голос матроса подрагивал. — Злость моя лютая сильнее всех законов.

— Нервами, товарищ Алексеевский, необходимо управлять. А законам следует подчиняться. — Петр Ананьевич тяготился этим разговором. Ему вообще с некоторых пор не по душе было пребывание Алексеевского в Следственной комиссии. — Я вот еще что хотел вам посоветовать. Человеку с вашими манерами едва ли следует оставаться у нас в Комиссии. Наше оружие, товарищ Алексеевский, — не маузер, а закон, справедливость. Мы обязаны дело свое вести так, как требует рабоче-крестьянское правительство. С врагами, конечно, нельзя шутки шутить. Но и ошибаться мы не имеем права, ибо наши ошибки непременно приведут к увеличению числа этих врагов.

Процесс близился к финалу. В заседаниях было много невиданно странного, даже противоестественного. Обвинительные речи произносились после защитительных, слово мог получить любой желающий из публики, свидетелей в

общепринятом понимании не было. И вот осталось выслушать последнее слово подсудимой, после чего члены Революционного трибунала отправятся писать приговор.

Сначала Николай Дмитриевич испытывал чувство неловкости, схожее с тем, какое случается в театре, когда исполнитель главной роли не знает пьесы или фальшиво передает чувства своего героя. Большевистские судьи определенно оказались не на своем месте. На лицах у них не было ничего похожего на ту грозную судейскую твердость, какую присяжный поверенный Соколов привык видеть за два с лишним десятилетия адвокатской деятельности. Члены трибунала — да и председатель тоже! — выглядели скорее потерянными и робкими, нежели властными и неколебимыми. Когда интеллигенция, составлявшая внушительное большинство публики во дворцовом зале, устроила восторженную овацию подсудимой и стоя приветствовала графиню аплодисментами и криками «ура» и «браво», а сама София Владимировна растроганно и благодарно улыбалась, разве что не кланяясь, подобно актрисе, на лицах судей было такое смятение, что Соколову стало даже жаль их.

Но едва только председатель Революционного трибунала начал вступительную речь, у Соколова переменилось настроение. Со сцены звучало выступление отнюдь не беспомощное, скорее напротив — исполненное достоинства и уверенности в своей силе и правоте.

— Открывая Революционный трибунал в России, позволю себе напомнить ход истории русской революции и указать на ту роль, которую сыграл революционный трибунал во время Великой французской революции шестьдесят девять лет тому назад… — Жукову, должно быть, хотелось не ударить лицом в грязь перед избалованной речами выдающихся ораторов публикой. Он говорил отрывисто, делая продолжительные паузы.

Эта ничем не примечательная речь тем не менее взволновала и растрогала Николая Дмитриевича. Председатель трибунала, рабочий, имеющий, конечно же, весьма смутное представление о судебном красноречии, толково обрисовал задачи нового судебного установления. В его словах не было и намека на ту жестокую ослепленность, какую приписывали нынешние товарищи Соколова большевикам.

К подсудимой Жуков и остальные члены трибунала обращались достаточно вежливо. Хотя графиня отвечала на их вопросы дерзко и враждебно, никто из них ни разу не вышел из себя. «В смысле умения владеть собой, — подумал Николай Дмитриевич, — они превосходят, пожалуй, любое судебное учреждение прошлого».

Лишь во время выступлений обвинителей, рабочего Наумова и комиссара по делам просвещения Рогальского, Жуков несколько раз прерывал ораторов. Заканчивая выступление, Рогальский повернулся к подсудимой и сказал:

— Нет, не сохранностью этих денег руководствовалась гражданка Панина, а другим. И имя этому другому — саботаж. Благородная графиня позабыла о своем благородстве…

И тут Жуков его остановил:

— Воздерживайтесь от чересчур сильных выражений. Здесь у нас все-таки суд.

— У них, видите ли, «суд»! — съязвил кто-то за спиной у Николая Дмитриевича.

— Понял вас. — Рогальский послушно склонил голову. — Мне больше сказать нечего. Разве только то, что весь трудовой народ будет протестовать против снисходительности к саботажникам.

В коридоре за дверью с кем-то спорил Костя Федулов. Надеясь узнать, как идет дело, Петр Ананьевич вышел из кабинета. Федулов стоял среди своих красногвардейцев. Он был так увлечен разговором, что не заметил Красикова. С ним, должно быть, кто-то не соглашался.

— А ты как бы хотел? — втолковывал Федулов оппоненту. — Чтоб трибунал одних большевиков слушал? Тогда на кой шут он, такой трибунал? Дали бы нам с тобой команду: «Попалась контра — нечего разговаривать! Без лишних слов — к стенке!» Можно так?

— Я так и не говорил. — Федулову возражал матрос Мешков. — Без разбору в расход нельзя, ясное дело. Только и буржуйские речи слушать, вроде той, что графинин защитник говорил, у нас нет полного права. Опять волю им давать?

— Темный ты человек, товарищ. Мешков! — безнадежно, взмахнул рукой Федулов. — Это тебе не уголь в топку на корабле кидать, а. Новый суд, налаживать, пролетарский суд, А он, товарищ Мешков, должен быть не в пример царскому или буржуйскому — по всем статьям выше. У нас всякому говорить позволят. Одно только будет под запретом: агитировать против Советской власти никому не дадим. Петр Ананьевич! — Федулов увидел Красикова. — Верные у меня рассуждения?

— В общем верные, товарищ Федулов, — сказал Петр Ананьевич и поинтересовался: — Приговор скоро писать пойдут?

— Пошли. Видно, к семафору уже подходят. А сперва крепко на ребят из трибунала буржуи наседать стали. Я, грешным делом, подумал, конфуз получится. Большие мастера речи говорить. Что

защитник от них, что рабочий ихний. После ничего, дело выровнялось. Теперь, Петр Ананьевич, можно не переживать — все будет как положено. Получит графиня по справедливости.

Затопали сапоги по лестнице. На второй этаж взбежал Сомов. Отыскал глазами Федулова и недовольно сказал:

— Мне только и бегать за тобой осталось! Чего это тебя сюда занесло?! Там сейчас этот… как его?.. приговор зачитают. Пошли!

— Граждане, занимайте места! Прошу встать! Суд идет!

На сей раз интеллигенция воздержалась от бесполезной демонстрации: встали все, до единого человека. Жуков подошел к столу, первым, дождался, пока займут места члены трибунала.

— Именем революционного народа! — произнес он взволнованно. Лицо его потемнело и казалось еще более суровым. — Революционный трибунал, рассмотрев дело гражданки Софьи Владимировны Паниной об изъятии ею из кассы бывшего министерства народного просвещения принадлежащей народу суммы… постановляет: оставить гражданку Софью Владимировну Панину в заключении до момента возврата взятых ею народных денег… Революционный трибунал считает… виновной в противодействии народной власти, но, принимая во внимание прошлое обвиняемой, ограничивается преданием гражданки Паниной общественному порицанию.

«Общественное порицание»! Это еще что такое? Подобных санкций в Уложении никогда не было. Но ведь такое нововведение, пожалуй, можно только приветствовать. Николай Дмитриевич посмотрел на соседей. Лица людей, ожидавших от Революционного трибунала варварской жестокости, выражали недоумение и растерянность. Одновременно эти люди словно бы чувствовали себя разочарованными. Николай Дмитриевич спросил у Якова Яковлевича Гуревича:

— Что скажете, драгоценный?

— Что же сказать? Испугались народного возмущения. Капитулировали. Да и по одному приговору трудно оценить судебную политику.

— И все-таки это разница — «кровавое судилище» и «общественное порицание»…

— Не будьте ребенком!

Когда все разошлись, Николай Дмитриевич, отстав от спутников, возвратился во дворец, чтобы повидать Красикова…

Мечислав Юльевич вошел в кабинет без стука. Красиков удивился. Козловский — и вдруг без стука! Петр Ананьевич оторвался от лежащего перед ним следственного дела и, поглядев

на вошедшего, тотчас понял: что-то случилось. Невозмутимый Мечислав Юльевич был вне себя. Он бесцеремонно — такого не бывало! — взял со стола Красикова распечатанную пачку папирос, спички и, ни слова не говоря, стал нервно закуривать.

— Чем вы взволнованы? — спросил Петр Ананьевич.

— Только что звонил Феликс Эдмундович, — голос Козловского звучал глухо, словно сел от простуды. — Вообразите, Штейнберг распорядился освободить из-под ареста членов «Союза защиты Учредительного собрания», задержанных для выяснения личности. То, что они скрылись, — не такая уж беда. Мы и без левых эсеров, очевидно, отпустили бы их. Но сам факт! Не поставил в известность ни нас, ни ВЧК. Это… это ведь самый откровенный саботаж, если не хуже.

Петр Ананьевич захлопнул дело, вышел из-за стола. В груди сделалось тесно от негодования. Левые эсеры, получившие ключевые посты в Наркомюсте, недолго играли роль верных союзников. Не прошло и недели, и вот они уже открыто действуют в угоду бывшим своим товарищам по партии — всем этим Черновым и Гоцам, Онипкам и Савинковым. Чего же ожидать от этой публики в будущем?

Петра Ананьевича так и подмывало напомнить Козловскому о разговоре после первого заседания коллегии Наркомюста нового состава (в нее теперь помимо трех большевиков — Стучки, Козловского и Красикова — входило трое левых эсеров с наркомом Штейнбергом во главе), когда Петр Иванович и Мечислав Юльевич упрекали его в чрезмерной резкости, в том, что он не сдержал обещания вести себя с левыми эсерами хотя бы на первых порах без излишней воинственности, деликатно и корректно.

Он тогда почти не защищался, потому что сознавал их правоту — обещания следует выполнять. Лишь сказал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». Вообще-то в глубине души он себя нисколько не осуждал. Можно ли было возражать мягко и дипломатично против совершенно чудовищного проекта нового наркома — подчинить ВЧК и Все следственные комиссии Наркомюсту, возглавляемому левыми эсерами? Петр Ананьевич прямо заявил, что на это большевики не пойдут ни под каким видом. Заканчивая выступление, он посоветовал Штейнбергу и его соратникам припомнить народную мудрость о «своем уставе» и «чужом монастыре».

Сейчас вполне уместно было бы напомнить Козловскому, что они с Петром Ивановичем напрасно столь строго судили его за недостаток гибкости. В иных случаях открытая непримиримость способна оказать куда более сильное действие, нежели

деликатность. Но не время было препираться. Наступил срок принимать меры безотлагательно, чтобы обуздать левых эсеров, пока они не зашли чересчур далеко.

— Совнарком поставили в известность? — хмуро спросил Петр Ананьевич. — Штейнберга пора поставить на место. Иначе они не только болтунов из «Союза защиты» станут выпускать. Надо немедленно звонить в Совнарком.

— Феликс Эдмундович из тюрьмы поехал в Смольный…

Вечером, Петр Ананьевич сидел в своем кабинете на Петровской набережной, редактировал проект декрета об отделении церкви от государства (его на днях ввели в комиссию по подготовке этого декрета, и проект надо было срочно передать в Совнарком). Около полуночи к нему, на сей раз постучавшись, опять пришел Мечислав Юльевич. Козловский сообщил, улыбаясь:

— Только что закончил заседать Совнарком. Штейнберг получил по рукам. Вынесли постановление: какие бы то ни было изменения постановлений комиссии Дзержинского, как и других комиссий, назначенных Советами, — имеется в виду и наша комиссия — допустимы только путем обжалования этих постановлений в СНК, а никоим образом не единоличными распоряжениями комиссара юстиции. Предложение, конечно, вотировано. Придется поджать хвост нашим левым эсерам. Почувствуют, что руки коротки…

— Боюсь, что не сразу почувствуют и не сразу подожмут хвост. Нет, Мечислав Юльевич, нам с ними еще предстоит хлебнуть горя.

Петр Ананьевич как в воду смотрел. Не прошло и месяца — правда, и в это время немало было столкновений с «товарищами левыми эсерами» — как в Совнарком поступила бумага, нечто вроде обвинительного акта против руководителей Следственной комиссии — Козловского, Красикова и других большевиков. Им приписывались чудовищные преступления — превышение власти, злоупотребления и даже взяточничество. Одновременно левые эсеры известили о решении своего ЦК отозвать из комиссии своих людей. Им-де не с руки работать вместе с преступниками.

Бумаге был дан ход, и Совнарком учредил специальную ревизионную комиссию из двух большевиков и двух левых эсеров для расследования «дела» Козловского, Красикова и их товарищей. На время работы ревизионной комиссии комиссары-большевики были отстранены от обязанностей.

Он вдруг оказался не у дел.

Вторые сутки отсиживался дома, дожидаясь приглашения на Совнарком. Тянуло куда-то идти, доказывать, убеждать, что происходит очевидная нелепица, что нельзя верить ни одному

слову «товарищей левых эсеров», что их провокация затеяна не столько против Козловского и Красикова, сколько против большевистской партии и Советской власти.

Наташа чуть свет уходила в банк. Она где-то разжилась миниатюрным дамским портфельчиком и, когда надевала пальто и теплый платок, брала в руку портфельчик, вид у нее был чрезвычайно внушительный и важный. Дел в банке и впрямь у них было с избытком. По утрам, провожая жену, Петр Ананьевич втайне завидовал ей.

Возвращалась Наташа обыкновенно к полуночи. Румяная с мороза, оживленная, она с притворной беззаботностью весело спрашивала:

— Киснешь, взяточник? Промотал дармовые доходы, а теперь боишься отвечать? Лучше бы деньги эти нам в банк передал…

— Оставь, Наталья! — Он понимал, она болеет за него душой и старается подбодрить. Но ему от этого не делалось легче.

— Как грозно! — не унималась она. — Но почему же не шутить? Разве в Совнаркоме не разбираются, что такое большевики и что такое левые эсеры? Вот увидишь, в самом скором времени все разъяснится и мы с тобой, как и прежде, будем встречаться только по праздникам…

Раза два забегал на полчасика Костя Федулов. Он был мрачен и ругал почем зря левых эсеров. Говорил, что без Петра Ананьевкча и Мечислава Юльевича Следственная комиссия — это не Следственная комиссия, а так, не пойми что. Без большевистских комиссаров, можно сказать, все дело там остановилось.

Позвонил Николай Дмитриевич — он теперь служил юрисконсультом в комиссариате по делам просвещения — и, наслышанный о бедах Петра Ананьевича, принялся неумело утешать бывшего коллегу. Петр Ананьевич слушал бесполезные слова и молчал.

А сегодня утром пришел Мечислав Юльевич. Молча пожал руку хозяину, устроился в кресле напротив него и, уставившись в глаза, довольно долго не произносил ни слова.

— Заходил в Смольный. Комиссия пока не представила материалов расследования. Фантасмагория какая-то! Нас обвиняют в злоупотреблениях и даже взяточничестве, и этот беспримерный злостный сговор не отвергается тотчас, а расследуется. Нас отстраняют от дела, нам, кажется, и впрямь перестают доверять!

— Никто из товарищей нам доверять не перестал! — ожесточенно возразил Петр Ананьевич. Он понимал, Козловский высказал вслух те мучительные сомнения, какие в последние дни

и его самого лишали покоя. Как легко запятнать человека и как трудно затем восстановить доброе имя! Левые эсеры это понимали превосходно.

Он убеждал не столько друга, сколько самого себя, сознавая, однако, что эти безусловно правильные слова не избавляют от горечи. Ему издавна было известно, как нетерпимо относятся большевики ко всему, что может хотя бы в малой степени опорочить их товарища, а следовательно — бросить тень на партию.

Некоторое время курили в молчании. Оба отлично понимали друг друга и отдавали себе отчет, что, пока на Совнаркоме не решится их дело, не будет ни у того ни у другого ни сна, ни покоя.

Окончательное решение по докладу ревизионной комиссии Совнарком принял только в конце февраля. Выло установлено, что левые эсеры использовали для своих целей свидетельства некоего Ржевского, известного авантюриста и проходимца, бывшего распутинского приближенного, Под прессом бесспорных фактов им пришлось отказаться от обвинений, то есть признать умышленный оговор. Совнарком постановил, что «весь поход против руководителей Следственной комиссии представляет собой часть общей злостной кампании лжи и клеветы, направленной против рабоче-крестьянской власти представителями, агентами и наемниками буржуазии». Постановление Совнаркома заканчивалось недвусмысленно: «… ответственные руководители Следственной комиссии: товарищи Красиков, Козловский… отстраненные на время расследования от работ, — возвращены на свои места».

Над Невой неслись нескончаемые снежные облака. Редкие прохожие выглядели ожившими снежными бабами. В белом кипении метели едва угадывались дворцы на набережных. Дико выл ветер. Жёсткие снежинки осыпали лицо тысячами уколов: Непогода поглотила город с утра, а сейчас, к вечеру, метель разбушевалась вовсю.

Петр Ананьевич, наклонившись вперед, пряча лицо в поднятый воротник пальто, быстро шел по Троицкому мосту. Сегодня у Наташи свободный вечер, и ему есть чем порадовать ее. Нынче знаменательный день — он и все временно отстраненные большевики вернулись в Следственную комиссию.

Они возвратились победителями. Бойцы из отряда Кости Федулова, члены Ревтрибунала во главе с председателем, секретари, курьеры, машинистки — все собрались на втором этаже. В коридоре не смолкали возбужденные голоса. Большевистским комиссарам пожимали руки, смеялись,

говорили, что теперь-то, наконец, дело опять пойдет по-прежнему.

Ветер дул с такой силой, что каждый шаг давался с трудом. И мысли о теперь уже близкой встрече с Наташей оказались отодвинутыми в какой-то дальний уголок души.

Они создают новое правосудие в новом, рабоче-крестьянском государстве. Это правосудие должно быть свободно и от жестокости всех прежних режимов и от снисходительности к врагам того строя, какой они утверждают у себя в стране.

И им нельзя, ни в коем случае нельзя отклоняться ни в ту ни в другую сторону. Нельзя, потому что плата за их ошибки — судьбы людей и, следовательно, судьба революции. Сегодня по их действиям народ судит о том, насколько дела большевистской партии отвечают ее лозунгам…

По-прежнему дико свистит ветер и над Невой неистощимой чередой несутся густые снежные облака. По-прежнему город кажется тонущим в метельном кипении. Даже ранние февральские сумерки не поглотили снежной белизны. Над революционным Петроградом бушует последняя зимняя пурга…

ЭПИЛОГ

Десять минут… Всего только десять минут утром двадцать четвертого января тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Десять минут, когда Петр Ананьевич Красиков стоял в почетном карауле у гроба Ленина…

Десять летучих и бесконечных минут. Колонный зал наполнен беззвучным шепотом, бесплотными существами, густыми запахами цветов и хвои. Десять минут. Оказывается, за десять минут можно прожить целую жизнь — и ту ее часть, что уже позади, и ту, что пока неведома. Все его прошлое связано с человеком, чье тело сейчас утопает в цветах. И будущее — тоже…

Перед глазами живой Ильич. Такой, каким он видел его в Красноярске и за границей, в Питере и Москве. Стремительный и отрешенно-сосредоточенный, резкий и обезоруживающе добродушный. Приходилось ему видеть Владимира Ильича и в минуты торжества, и в моменты неудач и тяжелых потерь. Сознание пронзает очевидная и чудовищная в своей непостижимости мысль: он смотрит на Ленина со столь близкого расстояния в последний раз. Он понимает, что надо всмотреться в каждую черточку лица, чтобы сохранить их в памяти до последнего мгновения своей жизни.

Десять минут иссякают, как иссякнет когда-нибудь вся жизнь… Кто-то касается руки Петра Ананьевича. Он вздрагивает и оборачивается. Его время истекло, в почетный караул становится очередная смена. Закончилось последнее его свидание с Лениным…

Он выходит из Дома Союзов, медленно бредет по Охотному ряду. Навстречу движутся массы людей в темных одеждах. Над головами поднимается пар, и кажется, будто в морозном воздухе клубится туман. Здесь, поблизости от Дома Союзов, улицы затоплены народом, а у Петра Ананьевича такое чувство, словно он идет по пустому, обезлюдевшему городу. Нестерпимый мороз жжет щеки, сводит судорогой подбородок, но он не ощущает ни мороза, ни ледяного ветра.

Мысленно Петр Ананьевич спрашивает себя, все ли в его жизни было так, как должно быть у большевика, начинавшего партию вместе с Лениным? И отвечает: иначе быть не могло.

Уже известно, что именно его, Петра Ананьевича Красикова, предполагают назначить прокурором Верховного Суда СССР.

Это очень высокая честь.

Когда-то, более трех десятилетий тому назад, негодование против насилия и произвола власть имущих привело его в

революцию, в партию. С той поры вся жизнь была связана с борьбой за утверждение справедливости в обществе. После Октября ему приходилось заниматься созданием новых революционных законов. Он участвовал в выработке первой конституции Республики, составлял кодексы рабоче-крестьянского государства. А теперь партия вверяет ему наиболее сложное и, по его убеждению, наиболее необходимое дело — утверждение правопорядка. Ему предстоит сделаться стражем законности великой Республики Советов.

notes

Примечания

1

Pro domo sua — между нами, в своем доме *(лат.)*.